

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ШАЙ АГНОН
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
ИЛЬЯ БАЙБИКОВ
ДМИТРИЙ БАЙДАК
УЛДЫС БЕРЗЫНЬШ
ИЛЬЯ БОКШТЕЙН
ВАЛЕНТИНА БРИО
ЯКОВ ВЕЙНШАЛ
АЛИСА ГРИНЬКО
МАРК ЗАЙЧИК
МИХАИЛ ЗИВ
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР
ОЛЬГА АВИА КАСЬЯНЕНКО
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
АЛЕКСАНДР ЛАЙКО
МИХАИЛ ЛАНДМАН
ЮРИЙ ЛЕВИНГ
СЕРГЕЙ МОРЕЙНО
СЮР ГНОМ
ВЛАДИМИР ХАЗАН
ВЛАДИМИР ХАНАН
ШУЛАМИТ ШАЛИТ

№10



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2002'10

2002

10

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

⑩ 2002

Иерусалимский журнал, № 10, 2002

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),

Семен Гринберг, Светлана Шенбрунн (редакторы-составители номера),

Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик

Ответственный секретарь – Леонид Левинзон

Художник – Сусанна Черноброва

Редактура и корректура – Маргарита Шкловская, Любовь Лейбзон

Организационное и техническое обеспечение номера – Бина Смехова,

Ольга Аксютинна, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил

Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Шауль Котлярский,

Светлана Мойбер, Антон Мухин, Илан Рисс, Борис Штейн

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Министерства абсорбции;

Министерства культуры;

Центра интеграции репатриантов –

деятелей литературы и искусства;

Отдела культуры

и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета;

Иерусалимской русской муниципальной библиотеки;



Журнал выходит ежеквартально

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2001. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net

Тел./факс: 972-2-5384914; 972-2-6720025; 972-2-6434005, 972-2-6432962

Представители «Иерусалимского журнала»:

Москва – Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru

Лия Кренцель, 4318386

С-Петербург – Сергей Григорьянц, 2948143 Ольга Крупенья, 3125465

Новосибирск – Владимир Болотин, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк – Андрей Грицман, 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго – Александр Блинштейн, 847-6761134; rmasis1@home.com

Ефим Котляр, 847-5819304; YefimK@aol.com

Бостон – Татьяна Гольдмахер, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

Париж – Владимир Смехов, vladimir.smekhov@wanadoo.fr

Торонто – Илья Липес, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. **Ариэль** – Самуил Кушниров, 03-9365452.

Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. **Герцлия** – Леонид Шейнман, 09-9502681.

Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. **Лод** – Михаил Гиль, 08-9201291.

Реховот – Марк Павис, 08- 9353758. **Хайфа** – Михаил Басин, 04-8213657.

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа

Елена Аксельрод

КОФЕ ПОД «ХРОНИКУ ДНЯ»

* * *

*У вечности ворует всякий,
А вечность, как морской песок...*

О. Мандельштам

Да, вечность, как морской песок,
Однако не у нас в пустыне,
Здесь прочности немерен срок –
Не раскалится, не остынет.
Ребенок или сам Господь
Набил здесь формочки камнями,
И опрокинутая плоть
Неуязвима под ветрами.
Песок она смахнет с плечей,
Как волосинки после стрижки.
Бесцеремонный суховей
Изнемогает от одышки.
А вечность – что ж? Слегка пылит
И потешается над нами.
И лишь саму себя сулит
Нам, мельтешащим меж камнями.

2000

СТАРЫЙ ЯСЕНЬ

1

Хроническою хворью перекошен,
Состарился, поди, тот ясень за окном.
Теперь инжир хранит наш новый дом,
Стал за пять лет красавцем бледнокожим.
Как Шива, многорук, просторные ладони
Доверчиво он к небу протянул
И к двухэтажному жилью на склоне,
Где пес в окне в ответ ему зевнул.
Вот так и сторожат покой наш прихотливый
Обрюзгший пес и девственный инжир.
А в ставни бьется злобный и визгливый
Осенний смог, и дерево дрожит.

Октябрь, 2000

2

Репродуктор заводит напев горловой
 На почти что понятном иврите...
 А вчера ураган расправлялся с Москвой,
 Да такой – не бывало сердитей.

И, ворвавшись в жилье, где давно меня нет,
 Где распахнуты окна чужие,
 Собеседник мой – ясьень – упал на паркет,
 Только листья – глаза его – жили.

Он пустую квартиру успел разглядеть
 И успел мне шепнуть: – Помогите!
 Но нигде меня нет, и его нет нигде.

За стеною поют на иврите.

2001

СТЕНА В ИЗРАИЛЕ

*Художникам, расписавшим
 стену в Иерусалимском районе Гило*

Но что же только Иерусалим
 Вселился в стену, стал неуязвим?
 Разумней было б расписать квадрат
 Из стен надежных без дверей и врат –
 На северной стене внутри квадрата
 Вода Кинерета и горы Цфата,
 Чуть поужней напишем Тель-Авив,
 Морскую рябь и малахит олив,
 Напротив Иордан в долине горной –
 Мазок небрежный кисточки проворной, –
 А море Мертвое сольем мы с Красным,
 Чтоб краски не транжирить понапрасну,
 И обозначим щегольской Эйлат,
 Чтоб завершился каменный квадрат...

Создания наши – в профиль и анфас –
 Сжимаются, вот-вот раздавят нас.
 Лишь неба незакрашенный клочок
 Вперяет в клетку строгий свой зрачок.

2001

* * *

Когда Господь меня не посещал
 (Да и поныне наши встречи редки),
 Кто мной руководил и кто прощал –
 Не вы ль – мои не узнанные предки?

Не та ль прабабушка – дагерротип
 Единственный, коричневый, бесстрастный?
 Меня старуха эта не простит –
 Остаться безымянной не согласна.

Сухая, чопорная... Муж-раввин
 Вперился в объектив суровым оком.
 Кем в самом деле был сей господин,
 Лишь в маминой фамилии* намеком.

И если, правда, вы моя родня –
 Все Рубины, все Рабины, все равы,
 За что же вера обошла меня –
 Мерцанье мирное надмирной славы?

В субботний вечер, в трепете свечей,
 Стыдясь, не нахожу, куда мне деться.
 Душе ни холодней, ни горячей,
 И чем заполнить то, что пусто с детства?

Чем жизнь моя была озарена,
 Какой светильник согревает ночи?
 Звенит и леденит среди темна
 Прилипчивый немолкнущий звоночек,

Который я, с природою хитря,
 Ее же голосами заглушаю –
 То моросью – капризом января,
 То зноем, вздыбленным навстречу маю,

То голосами тех, кого люблю,
 То окликами тех, кого любила...
 В пустую стопку хмель стиха волью,
 И будь что будет.

Или будь, что было.

2001

* Фамилия моей мамы – Рубина.

ВЕСТФАЛИЯ

Сыну

1. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В КЕЛЬНЕ

В последний, от тебя далекий час
Почудилось, что рушится отвесно
Собора знаменитого каркас
Со всюю филигранью поднебесной.

И я решилась позвонить тебе,
Вошла в грохочущий сумбур вокзала,
У тумбы круглой в очередь к судьбе,
Угрозу урезонивая, стала.

...Свою красу ненужно громоздит
Над скобкой автомата храм узорный.
Как будто не было. Снесен, забыт.
Лишь голос дрогнувший
в мембране черной.

1998

2. ИЗЕРЛОН

И вот мы вместе... Тот чрезмерный храм
Маячит в Кельне, не опасный нам.
Затерянный, безвестный Изерлон.
Дождем притушен колокольный звон,
Как в той деревне, между тех стволов,
Когда Всевышний не был к нам суров,
Хранил заблудших... Если бы и впредь...
Тропинка. Пруд. Февральская мокредь.

За шторами ни щелки, ни одной,
Густая мгла за каменной стеной.
Нетороплив прижимистый рассвет,
В нем ни посулов, ни угрозы нет.
Приветлив лжеготический фасад,
В просторном блюде нежится салат,
Улыбчивые, шумные стряпухи
Нас потчуют, хоть мы постыдно глухи.
Уютный пруд. Ленивый небосвод.
Недвижно утка чинная плывет,
Как трубка телефонная черна...
Весенний дождь. Надежда. Тишина.

2000

* * *

Пушки усердствуют, муза молчит,
Правила соблюдая.
Молчит-ворчит,
как буравчик, скворчит
Эрато моя седая.
А я уговаривать, лебезить –
Сулю в музы́ку зарыться,
Хаос дактилем отразить,
За ставнями рифм укрыться
И память ее пробудить наконец:
Опомнись, разрушили Трои,
Но песни о ней пел неюный слепец
С юной твоей сестрою.

2001

* * *

Мысль изреченная есть боль.
Я не нашла в ней лжи.
– Молчи, – ты скажешь, – не мусоль,
Себя в руках держи.
Коль не скроилось, не сошьешь.
Мысль изреченная есть ложь.

Фантазии мои и впрямь
Что кренделя на льду.
Не царство стройное, не храм –
Предчувствия в бреду,
Провал, полет, кружки, витки,
Тычок... Крепленья не крепки.
Но выпрямляемся, стоим,
Молчим, скрываемся, таим.

2000

* * *

Дует холод, ревет поддувало,
Гонит пламя из черного дула.
Опустив паранджи забрало,
Солнце гневные веки сомкнуло.
Ветер, злобою заряжённый,
Бьется, ищет, куда рвануться...
Как же мне, темнотой заражённой,
Возвратиться к себе, отвернуться

От слепящей, грозящей яви,
 На рассвете беззлобном проснуться
 Так, как будто ничто не давит,
 Так, как будто черные тени –
 Только легкий озноб вдоль тела,
 Только разума помутненье,
 Только жизнь, что на миг отлетела.

2001

* * *

Разве не славно пить кофе под «Хронику дня»,
 Разве не славно помешивать ложечкой в чашке,
 Слыша вполуха, что завтра не станет меня,
 Или не завтра и есть еще месяц в кармашке.

Блажь. Репортаж. Черный кофе.
 Последний глоток.
 Кнопку нажала. Порядок. Все тихо-спокойно.
 Тоже мне новость – Восток, и взаправду, Восток,
 Где сыспокон чуть разбойно и капельку знойно.

Гости пришли. Притворяемся все впятером:
 – Слышали? Слышали? Снова в России ненастно
 Взрыв за окном? Да помилуйте, это же гром
 Где-то в Чечне... А над нами ни облачка. Ясно.

2001

* * *

Кому – успех,
 Кому – успеть.
 Не до утех –
 Сказать, пропеть.
 Услышат ли тебя –
 Бог весть.

Словечко бы –
 от Бога весть
 Вдохнуть –
 и дух перевести,
 Чтобы откликнуться:
 – Прости!
 Чтобы вобрать, разинув рот,
 Щепоть последнюю щедрот.

2000

* * *

Тот небосклон

дождями изможден,

А этот сушью... Велико ль различье?

Подснежник – там, а здесь ро-до-ден-дрон

Подсолнечный, краснея, влагу кличет.

Пустое... Не докличется никак.

Так мы с тобой разведены, разъяты...

Но разве мы расстались хоть на шаг,

В ладони века общего зажаты?

*2000***ОТДЫХ НА СИНАЕ, 1996**

Там рыжие псы, от велика до мала,

Не сворою, а дружелюбной ватагой

Шли с нами вдоль сине-песочного вала,

Слегка орошенного теплою влагой,

Синайскою ночью, египетской тьмою,

Которая нам только утро сулила.

Кораллы играли под тихой водою,

Октябрьское солнце со сдержанной силой

Лилось на шатры, на ковры и подушки,

На блестки диванов, тарелки с форелью.

Купальников, плавок цветные ракушки,

Не споря с округой, нарядно пестрели.

С руки мы кормили осла и верблюда,

Глядели на встречных ночных без опаски...

Не знали, что эти узорные блюда –

Всего лишь восточные древние сказки.

2002

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Марк Зайчик

В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Посвящается брату

В СССР (Союз Советских Социалистических Республик) я поехал в гости в феврале 1990 года после 17-летнего отсутствия, все время которого с большим удовольствием счастья жил в Иерусалиме в разных кварталах этого белокаменного города. Сомнения не одолевали меня перед этой поездкой.

Приглашение на приезд в российскую страну, стремительно, по словам туристов, освобождающуюся от цензуры и несвободы (слова, существования), мне прислало некое кооперативное издательство, намеревавшееся издавать мою книгу под названием «Сделано в СССР». Несколько раз я говорил по телефону с Советским Союзом, с близкими мне родственниками и знакомыми, гражданами этой страны, глядя в окно на иерусалимский пустырь, поросший двухметровым бурьяном, слышимость была отличной, содержание моих бесед с москвичами и рижанами казалось невероятным. Я был очень удивлен происходящим, категорически изменившим мою размеренную жизнь.

Несколько раз я смог перевести деньги в Ленинград для брата Нени, проживавшего там, по курсу сначала один доллар к трем рублям, а потом и один к четырем рублям.

Официальное приглашение мне от брата было бледно напечатано на машинке, на четвертушке тетрадного листа в линейку, что вызывало сомнение в правильности этого документа, но он оказался настоящим, что и подтвердилось после получения мною визы в ту страну.

– Так там у них принято, в их ОВИРах, наверное, – подумал я о государственных учреждениях в СССР, как посторонний человек. Я неотчетливо вспомнил улицу Желябова в Ленинграде, какую-то нарядную лестницу неподалеку от магазина «Детский мир», мающего постового милиционера, инспектора Валентину Петровну, в синеватом приталенном мундире, в капроновых чулках с искрой, с закрытыми туфлями на каблуке, с тесно сдвинутыми сильными коленками, с прогнутой из-за мундира малоподвижной спиной, и вздохнул о своей хорошей памяти.

Россия, исчезнувшая для меня семнадцать лет назад почти совсем, возвращалась с большим трудом. Нечетко оформленная плоско-зеленая страна с кружком города в левом верхнем углу карты была еще нереальной.

Визу в ту страну я, кажется, если мне не изменяет память, получил посредством еще мало отлаженных действий энергичной гибкой девушки из турагентства со сложным названием.

Для получения визы я заполнил достаточно простую, но дрянную несколько страниц анкету, к которой подколот сделанные в фотоателье Шварца на улице Бен-Йегуда шесть моих цветных фотографий размером 3 на 4.

Меня отснял на втором этаже фотоателье с зыбким металлическим полом суровый, поджарый мужчина, усталый, так сказать, европеец, действовавший со стеклами своей японской машины сдержанно, страстно, почти презрительно.

– Так, – сказал он низким голосом, – так, замрите, вот.

Вспышка озарила на мгновение пыльное пространство строения – я был безжалостно зафиксирован таким, каким был в этот день и час, – средних лет коротковолосым мужчиной с удивленным бритым лицом наблюдателя.

Отпуск на работе для поездки мне дали с трудом, у них там были какие-то проблемы с работниками, одна хранила плод, другая его лелеяла, а третий лечил только что купленного щенка. Все же меня отпустили после того, как я сказал своей непреклонной волевой плотнотелой начальнице громким шепотом отчаянного человека, приблизив к ее необычному лицу свое простое: «Пусти, Родионовна, в отпуск в СССР, меня там ждет брат Неня». Она явно испугалась моих слов, впервые за все годы нашего рабочего знакомства, и быстро сказала: «Конечно, езжайте, Марк, о чем речь, я все подпишу. Это так трогательно». Потом она ушла по коридору прочь, не оглядываясь, хотя и была очень любопытна, верила в альтернативные методы лечения, ела кошмарные белые проростки, хотела быть всегда здоровой, королева радиовещания в черных брюках.

В день отъезда я заказал такси в аэропорт на четыре часа утра и уже не ложился спать. Шел иерусалимский февральский дождь, и из моего окна в гостиной видна была почерневшая окружная дорога, которая вела к арабским деревням. На пустыре блестело огромной дикой травой футбольное поле с тяжелыми кусками скал по бокам – у муниципального трактора не хватило сил или времени. В черной луже посередине площади отражались яркая луна и два фонаря от обочины дороги. Медленно ехал, отъезжая вдаль, стуча двигателем, фургон, вероятно, синего цвета, ведомый, судя по манере вождения, местным любителем малоконтролируемых скоростей.

В моем доме все чада уже спали, отговорив между собой и по телефону, отсмотрев телевизор, отписав скудные уроки, попросившись с папкой и мамкой поцелуями и рукопожатиями, спев популярные песни вполголоса и в полную силу. Заснула и жена, которая несколько растерянно проверила два моих бессмысленных чемодана, их содержимое и прочность, и фирменную сумку атлетического клуба, которую я взял на время у старшей сестры. Я сидел у открытой двери на балкон перед весело и громко секущим по стене дождем, пил чай, курил (я тогда курил), смотрел на черно-серый бегущий свод неба от горы и до долины, с удовольствием и напряжением ждал наступления часа икс.

Позвонили во входную дверь, по-мужски сильно и резко. Гостей в половине третьего ночи я не ждал. Взявшись за балконную дверь, я поднялся открыть звонившему, нервных сил на удивление у меня не было. Перед входом в дом стояла женщина, коротковатая, сбитая, в шапке и советском пальто – было довольно прохладно. Февраль, Иерусалим, ночь, дождь. Женщина тревожно оглядела меня и шагнула вперед сильной ногой в боте.

– Вы Марк? – спросила она. Я кивнул и посторонился. Она осторожно прошла, успев наследить по полу ботами и водой, сыпавшей с ее псевдомехового воротника от движения. Брызги казались желто-сиреневыми на как бы взвешенном свете ночной лампы в кухне. Коленкоровая сумка с надписью «Polska» на выпуклом боку была облита дождем. Лицо женщины клубилось от нервного напряжения.

– Вы, извините, ленинградец? – спросила она бегло. Она озиралась по сторонам, углядела диван и сразу присела, скоординировавшись, как начинающая гимнастка.

– Да, – сказал я, – а вы?

Ничего веселого в этой ситуации, откуда-то мне как бы уже знакомой или пережитой, не было, во всяком случае, не в этот час. А она вообще пришла в незнакомый дом, глубокой ночью, что уж там говорить?

– И я, я жила на Турбинной улице, знаете такую? – сказала она подозрительно.

– Знаю, – сказал я. Турбинную улицу можно было увидеть из моего окна на пятом этаже. Если вы лет в 7-8, сделав уроки, усаживались на тот же письменный стол перед окном, упирались ногами в батарею и глядели в блеклую действительность через двойные окна, то сначала видели дом с хоккейной коробкой во дворе, а затем за рядом 25-летних, посаженных после войны кленов, углядывали плохо освещенную, перпендикулярную проспекту Стачек Турбинную улицу с книжным магазином на углу и высокой аркой в кирпичном боку большого дома.

– Хорошо. У меня там дети живут, я слышала, что совсем там плохо с продуктами, они голодают, и вот, я принесла вам кур, – сказала она торопливо, пытаясь сильными движениями расстегнуть сумку и наклоняя лицо к ее содержимому.

– Давайте я сделаю вам чай, уважаемая, – сказал я.

– Не надо чай, что чай, кур возьмите, – сказала она. Ей, наконец, удалось расстегнуть сумку, и она извлекла из нее тяжелый сверток с жареной птицей.

Она была серьезна и явно не шутила. «Возьмите», – сказала она, протягивая мне кур. Я увидел их жареные бока.

– Вы не нервничайте так, я приеду в Ленинград, куплю кур на рынке и передам вашим детям, обещаю, даю честное слово, – сказал я.

– Не говорите так, я приготовила их по нашему семейному рецепту, как они любят, вы обязаны взять, я заплачу, – сказала женщина. Руки у нее не дрожали, ничего не выпадало из ее жесткой,

почти рыночной хватки, она не выглядела испуганной, но жалко эту женщину все равно было.

– Нет, – сказал я с не свойственным мне драматизмом, – я не возьму ваших кур.

Она посидела все в той же позе случайного гостя, в своем невероятном расстегнутом пальто, с которого натекала на пол вода, с сумкой у ног. Потом поднялась и, произнеся фразу: «Вот вы какой гуманист, не ожидала, большой грех, да», вышла со своей сумкой с курицами и Бог знает чем еще обратно во входную дверь в, так сказать, черную ночь.

Через час я вышел с чемоданами, один из которых, с платяными и парфюмерными подарками в Россию брату от моих сестер, был огромен, страшен, – к приехавшему такси с заспанным малоподвижным шофером с прямой линией профиля, и мы, подобрав по иерусалимским адресам еще пассажиров – религиозная, шепчущая на идише семья с двумя грудными детьми, старик-американец-ортодокс, с завернутыми за уши седыми пейсами, с как бы цветным лицом, еще люди, лиц которых я не мог рассмотреть, – домчали по пустой дороге в Лод меньше чем за час. Мимо не дремлющих никогда жандармов, которым не бывает ни холодно, ни жарко в расстегнутых у ворота гимнастерках-распашонках, к аэропорту, к тележкам, к неторопливой суете, к таинственному женскому голосу, который объявляет посадку предположительно на испанский самолет, компании «Иберия».

Я ехал в СССР на один месяц, согласно выданной визе, на 32 дня, – этот срок казался мне внушительным и трудно преодолимым как физически, так и душевно. Я был неспокоен, тревожился. Все же эта поездка была важным событием в моей жизни.

Самолет оказался заполненным до отказа.

Прямого авиарейса (да и любого другого, то есть непрямого) на Ленинград из Тель-Авива тогда не было. Маршрут мне, в плохо освещенном туристическом агентстве, в котором я заказывал билет, выбрали достаточно интересный (и, кажется, единственно возможный тогда): Лод – Париж – Хельсинки – Ленинград. Яркая женщина, работавшая в туристическом агентстве неподалеку от лавки с телефонными аппаратами из Гонконга (Таиланда?) в витрине, на спуске с левой стороны улицы Шамай в Иерусалиме, посмотрела на меня с любопытством, странно сверкнула темно-серыми глазами, но промолчала. «Не боитесь?» – спросила она меня потом, когда передавала уже билет через стол в бумагах и телефонах. «Волнуюсь, конечно, но почему-то не боюсь», – сказал я ей достаточно легко. Легкомыслие было моим тогдашним уделом.

В Париже я должен был пробыть три дня в ожидании авиарейса на Хельсинки. А из Хельсинки я уже прилетал в Ленинград. Дело было в конце февраля, в конечный пункт своего путешествия город Ленинград, так он назывался тогда, я должен был прибыть 23 февраля – в День Советской Армии. Судя по ежедневным газетам в Израиле и радиопередачам из Мюнхена, где находилась станция «Свобода», в СССР резко активизировалось общество «Память» с

толстощекимым нервозным фюрером. «Память», считавшаяся анти-семитской, популярной в советском народе и агрессивной военизированной организацией, вызывала тревогу в Израиле, Европе и США. В России народ тоже был взбудоражен происходящим, если судить обо всем по статьям международных обозревателей прогрессивной газеты «Гаарец». В общем, волнений и перемещений было во всей этой истории с моей поездкой немало.

Настоящая же тревога началась у меня в городе Париже, потому что, позвонив оттуда от знакомого в Питер, я неожиданно услышал от брата Нени, который жил там в Дачном (район города) на улице Лени Голикова, что «может быть, ты попозже подъедешь, Мара, а?». «В чем дело, Неня?» – спросил я его, так как не понял такого резкого изменения настроения. «Да видишь, у нас здесь обещают какие-то волнения в эти дни, холодно, вообще, кто знает?» – промямлил он, ждавший нашей встречи тоже очень сильно и давно. – «Если ты не возражаешь, то я все-таки приеду», – сказал я ему довольно уверенно. Я посчитал, что не стоит так уж бояться, ужасы бывают разные, я их уже видел достаточно много, по моему мнению, и приехать в Ленинград просто было необходимо, тем более, что полпути уже было мною проделано. Брат явно обрадовался моим словам и сказал, что будет ждать меня в Пулкове (ленинградский аэропорт) ко времени. «У нас холодновато вообще», – сказал он глухо. «Ладно, я куплю в Париже кальсоны на подкладке», – сказал я. «Ну, разве что в Париже», – ответил брат. Он явно волновался и намеревался лечить волнение известным в России способом.

В Париже в этот час было минус четыре градуса, шел снежок, машины скользили по брусчатке в 15-м квартале. В квадратной комнате, в которой я находился во время разговора с Ленинградом, были высокие потолки с лепными углами, играла музыка с небольшого проигрывателя французского производства и на стене висела репродукция с картины, кажется, художника Писарро. Хозяин, поджарый джентльмен, с продолговатым питерским лицом в длинных морщинах, в свитерке, в шлепанцах, пил, не уставая, сухое вино, понемногу пригубляя от бокала, уже вторую бутылку. Я пил «кальвадос», яблочную испанскую (?) водку, купленную в беспешинном магазине в Лоде. Мне очень нравился тогда этот напиток, питательный и сильный. Закусывали мы большими твердыми грушами с буровой, зеленой и толстой кожей, очень вкусными, которые недорого продавались внизу на углу в лавке у вьетнамца Вонга поштучно. Они были завернуты каждая в отдельную шуршащую бежевую бумагу правильной прямоугольной формы. Груши хозяин чистил и резал никелированным отточенным ножичком, перекидывая его между плоскими пальцами с крупными суставами. Отсекал бок груши и передавал его мне, отсекал с трескающим звуком другой бок в белых каплях сока по срезу – и съедал сам, тщательно запивая большими глотками.

Подбородок его подпрыгивал, сухое лицо рассекали две мощные морщины, которые шли параллельно носу по щекам, вокруг пе-

гой бороды к челюстям. Взгляд его светло-голубых глаз был проникающий, глубокий, очень внимательный. Он был осторожен, сдержан, мало говорил о себе, очень боялся ошибиться. Он произносил фразу: «Я сублимирую, как умею и желаю». Он имел в виду, по всей вероятности, таинственные советские папки с туго завязанными тесемками, которые аккуратно лежали стопкой на тумбочке в спальне. Никто эти папки не трогал. Я провел пальцем по поверхности верхней из них и прочитал на сером фоне слово «виза» – оно заинтересовало меня в тот момент.

Я видел его, несмотря на выпитое, отчетливо, одетым иначе – в двубортном без морщинки сером костюме, в белоснежной рубашке с длинными углами перекрахмаленного воротничка, поворот лица, линия подбородка – никакого дворянского упадка, никакого запустения души, напротив, уверенность, порода, отсутствие красоты, сила обаяния. Почти молодой русский порочный гений, приехавший завоевывать Париж и запивший в этом городе горькую. Сейчас он, в продолжение, так сказать, моих видений, напивался с жадностью и интересом, я бы сказал. А я это делал так просто, из волнения перед ближайшим будущим.

Мы ждали прихода некоего писателя, который, будучи выдворен из СССР, стал за эти годы в Париже переводчиком, был в силе, был издателем, был при деньгах и при постоянном сексуальном кураже, реальном кураже как бы такого нутряного русского купца.

Наконец, гость пришел, и я услышал в прихожей восклицания и разговоры нескольких новых человек. Писатель вошел в комнату, растолкав шторы у входа. Он был в силе и неге, в замечательно пошитой синей полосатой рубашке, явно купленной за безумные деньги в роскошной зеркальной лавке, одной из многих на проспекте Шанз Элизе, в пошитых в Италии мягчайших башмаках на лаковой бежевенькой подошве. Он держал за горлышки две матовые бутылки местного, очень дорогого, шампанского. За ним шли по бокам, не смущаясь новых людей, две грациозные девочки, по виду студентки-славистки (Россия была тогда на пике интереса в Западной Европе, и все изучали ее жизнь), в брючках и шубках. Их красные с морозца, по-французски круглые щеки, загнутые вверх ресницы, сверкающее любопытство во взгляде, статья, статья, пояски с металлическими пряжками выше талии, опять статья, зубастые улыбки либеральных социалисток-республиканок, умеренно тревожащихся за права человека в СССР. Хозяин дома помог всем раздеться, с удовольствием похлопал девушек по звонким задкам сухой и властной ладонью пострадавшего от советской власти демократа-шестидесятника, уважительно приобнял писателя и королевским жестом всех завел в комнату. «Вот Мари, вот Клавдия, а вот – Сергей, просто Сергей, знакомься, Мара».

Некий налет все же безумия замечался в хозяине мною. Даже не налет, а устойчивое сумасшествие средних лет человека с большим алкогольным прошлым.

Девушки начали, передвигаясь с чудным звуком своих открытых туфель по паркету, на так называемых шпильках, по советскому жар-

гону. Немедленно стали зажигать свечи по всей комнате, на столах и на подоконниках. Огонь этот якобы защищал их (и всех остальных тоже) от воздействия табачного дыма. Хозяин курил «жетан», французские сигареты из хорошо пахнувшей махры, без фильтра, одну за другой, и обильный синий дым их, вместе с немереными порциями «кальвадоса» из русских граненых рюмок, грел мое тревожащееся сердце, оставляя нервозную надежду все еще живой.

Издатель, двигаясь в двух направлениях, очень мягко и плавно, как мужское животное из семейства кошачьих, нежно прихватывая девушек как бы под талии к себе вплотную, смог одновременно откупорить бутылки, разлить их «игристое», как писали некогда, содержимое по бокалам доверху и раздать всем присутствовавшим по одному на человека. «Куда вы едете, сэр?» – спросил он, глядя, как любознательная рысь. «В город Ленинград», – сказал я. «За ваш, уважаемый, trip!» – сказал издатель. Видно было, что произнесенные нами всеми здесь слова, его, страстного собирателя выражений и ситуаций, не интересовали никак. Он был возбужден и напряженно весел и, казалось, не все понимал. Руки его были полны девочек, все чаяния души наполнены ими же. Можно было понять, глядя на его движения с небольшой амплитудой сдержанного размаха, как предают из-за женщины родину. Конечно, я мог и ошибаться, как это очень часто со мной бывает, про родину и этого человека. Но что-либо менее существенное наверняка он мог сдать сейчас за эти еще не освоенные им молодые тела, не моргнув, как говорится, глазом.

Вот это-то было точно.

Мы выпили из бокалов длинными глотками замечательно вкусное, горьковатое шампанское, охлажденное на уличном парижском морозце (от плюс двух до минус четырех). Музыка в комнате сменилась. Проигрыватель был выключен, а из деревянного советского радиоприемника устаревшей формы заиграло хрипловатое, вне моды и времени, «Бэсамэ, бэсамэ мучо». Танцы не начались, потому что здесь не танцевали. «Не до них нам, да у нас ведь свои танцы», – сказал хозяин, не обращая ни к кому, не декларируя. Издатель сильно прихватил одну из девушек за бок мускулистой ладонью и, не отрываясь ни на мгновение, припав к ее левой выпуклой ключице высунутым языком и алым ртом, затанцевал второкурсницу в прихожую. Это была, кажется, Мари, которая на него смотрела во время всего действия не без нежности и восторженно-удивления. Наверное, родители вырастили ее не для этого необратимого поступка с малознакомым иностранцем, хотя кто знает.

Вторая девушка была заморожена происходящими на глазах у всех отношениями, что не помешало ей, впрочем, весомо и не без некоей готовности, как мне показалось, присесть на диване, подогнув в сторону ноги, и повернуть ко мне свое как бы тосканское свежее лицо юной красавицы.

– Ну, что, Клава, вы ведь Клава, да? – спросил я, как мог более доброжелательно. Она понравилась мне, она была кротка. Так мне показалось.

– Я – Клава гексаметром. Рука ее была холена? Да, я – Клава... – сказала она серьезно, быстрым и бледна, сексуально выдержана и прекрасна.

За окном стемнело, неотвратно и резко. Так мне показалось за вином. В прихожей ритмично, чуть плаксиво вздыхала молодая женщина, отстукивало движение нежно-мужественное аргентинское танго, хозяин смотрел на Клаудию с насмешливой улыбкой побежденного противника власти. Потом он поднялся и несколько неровным шагом вышел в смежную комнату, в которой находилась спальня, – я ночевал в его гостиной. Вино он взял с собою и бокал. Некоторая неловкость, присутствовавшая в прокуренном пространстве комнаты, исчезла.

Вообще-то, я был знаком с хозяином лет пятнадцать, если не больше. Этот человек не ждал от жизни подарков, судя по выражению его незаурядного лица. Он был слишком внимателен и зорек к жизненным пустякам, как оказалось, что сказало на его судьбе. Его мысли, часто с удовольствием думаемые им, были длительны, медленны и сильны, как это бывает у людей такого типа. Но как-то все это не имело у него завершения, реализации – очень по-русски, зрело, сильно, оригинально, неосуществимо. Как и он сам, однако. Замечательный русский след, судьба обещавшего многое человека. Но сам по себе он был, конечно, вполне замечательным человеком.

– И вы собираетесь ехать в Россию лично? – спросила меня Клаудия. Удивление и восторг читались в ее лице.

– Это правда, – ответил я, – в Ленинград, к брату Нене.

– Что это за имя собственное такое, никогда не слыхала? – сказала она.

– Это имя собственное, производное от имени Нахум, а так его приятели и знакомые звали Леней, – объяснил я, – надо выпить за него, да?

– За вашу встречу, – сказала она почти торжественно. Никак нельзя было понять ее настроения, оно было переменчиво.

Через минут восемь после этого события, мне привиделось почти воочию, что мы тесно стоим с нею лицом к лицу у шторы углового окна, держась друг за друга холодными от страсти руками. Ее джинсы были удобно жестки, податливы. На римского воина эта итальянская девушка не походила своим лицом, дрожащим телом. Кажется, у нее постукивали зубы уже несколько времени. Окно, у которого мы стояли, было кем-то открыто еще до нас, но темного уличного воздуха, проникавшего в комнату мимо и вокруг, мы не чувствовали.

Издатель и хозяин сидели вместе с Мари за столом и пили вино. Издатель говорил своим быстрым, почти естественным голосом чуть излишне высокого тембра:

– Выезжаю на Этуаль, смотрю, а пежо это не отстаёт, и все, прилипло, как говорится, к бамперу. Ну, тут уже дело принципа, я взял вправо, обогнул все движение одним колесом по тротуару,

еще по газу, и вырвался вперед всех. Там какой-то сквер справа, она затормозила, подрезала мне путь, вылезла, не опираясь, навстречу из положения сидя, отличная – видно было, и, в так сказать, звездной темноте говорит, восторженно смеясь: «Хочу вам отдать себя за умение водить автомобиль». Я сказал, что с удовольствием возьму то, что она мне хочет предложить. Мы отошли к деревьям, она сняла брюки от Дюбуа (имя портного, или, как любят теперь говорить, кутюрье, произносится со слуха, возможны ошибки в воспроизведении – от автора) со своих тяжело-выпуклых чресел, дело было в сентябре, и я полюбил ее, стоя на месте, не спросив имени. Насадил на себя, да. За здоровье Мари, золотого, как говорится, «Аи».

Мари сказала прозрачным грудным голосом: «Весь ваш рассказ, конечно, чистая правда, вы сами сказали, что не врете женщинам никогда, Сергей Вениаминович?»

– Не вру, кажется, это правда, – сказал издатель, – милая моя.

– Ну, вот, уже и милая, – сказала Мари обиженно и все-таки польщенно. Она повзрослела за это время. У нее, конечно, присутствовало чувство самосохранения, как у почти любой французской женщины, но сейчас это чувство ей отказывало. Голос ее выдавал. Получасовые упражнения на коврик в коридоре с этим бородатым, губастым русским фавном, явно помешанным на женщинах и всем, что с ними было связано, повлияли на Мари хорошо, но губительно. Не знаю, что с нею стало потом, после этого вечера. Знаю, что она долго и небезрезультатно преследовала Сергея Вениаминовича, который очень не любил, когда его называли по отчеству, но она так и не смогла противостоять безумию русского разврата, сдалась. Мужчин она больше не любила, судя по слухам, бедная Мари, и совсем сошла с круга. Ее походка выдавала сраженную жизнью даму.

А Клавдия мужчин любила очень, держалась за них обеими руками ласково и цепко, дрожала им навстречу, истекая своей сутью и инстинктивно последовательно двигалась, скажем, животом, в трех плоскостях, резко и безостановочно, потому что останавливаться, по слухам, ведь в этом деле нельзя.

Под негритянскую, губительную для нечетко оформленных душ музыку, которая продолжала свой победоносный, счастливый путь по миру, в котором жили женщины и отдельные мужчины, мы перешли из угла в гостиной в другую комнату, переместившись в горизонтальное состояние. Она была очень ласкова и нежна при всем ее горении. Пожилой мужчина в силе хриплым и низким голосом пел знакомую гениальную мелодию.

Ее палехские, как пишут романтические публицисты в российских еженедельниках, штучные ягодицы, жили совместной почти родственной жизнью, меняя форму и направление перемещения, как сообщающиеся сосуды из покрытой бежево-розовым лаком ткани. Ее зад можно было бы назвать несколько вычурным, даже аляповатым из-за чрезмерной красоты, если бы у меня во время обзора этой, так сказать, объемной картины, ос-

тавалось бы время на сравнения существительных с прилагательными. Но время мое, как и время всех других мне известных лиц, было ограничено. Не мною. Потому я не назову этот зад вычурным, а назову его великолепным.

Я никак не пробуждался от этого сна, который сладко дурманил и кружил меня вокруг ее живого тела, над сильным, душистым запахом его сути. Сон с Клавдией продолжался в нескольких, знакомых по жизни с женщинами, измерениях, к моему физическому и сердечному удовольствию. Эта девушка оставалась неразгаданной загадкой для меня даже во сне. Говорящей порусски иностранной женской 57-килограммовой загадкой, с необычного для иностранца вкуса алой помадой и гладкой на ощупь нижней одеждой, не больше, но и не меньше.

Возвращение мое в действительность, в реальную жизнь было обычным и довольно резким. Она положила мне руку на плечо и сказала: «Вы не хотели бы, Марк, поставить свою подпись в защиту литератора из Никополя Анатолия Бюргера, его посадили в советскую психушку и мучают всеми возможными способами – за протест против преследований диссидентов, а?»

Я открыл глаза. Клавдия сидела возле меня, касаясь моих бедер своими, она была совершенно одета и никаких позывов к раздеванию и физическому совокуплению со мной не выказывала. Во всяком случае, я этого ее желанья не замечал, не ощущал.

Мне понадобилось время, чтобы понять смысл ее слов. Поняв их, я сказал ей:

– Я с удовольствием бы подписал ваше письмо, если бы знал, что мое имя может помочь, может что-нибудь значить для советской власти. Но так как я знаю, что это не так, что мое имя не значит для них ничего, то подписывать я не буду, Клава, извините.

– Это позиция, конечно. Вы боитесь за судьбу ваших родственников там, да? – спросила она.

– Нет, не боюсь. Речь идет только о том, о чем я вам сказал.

– А ведь его там мучают в больнице, колют серой, вяжут в позу «ласточки» в мокрый брезент и прочее, – и она пристально посмотрела мне в глаза своими гневно-итальянскими глазами левой социал-демократки, хорошей девушки из города Падуа.

– Я понимаю, но подписывать вашего письма не буду, – сказал я. В возникшей неловкой паузе я услышал в открытое окно, как по пустой знакомой улице внизу передвигается французский ночной прохожий, аритмичным тяжким шагом – два шага, тишина, еще шаг, три шага, тишина...

– Выпил вина «Бордо» – теперь гуляет, или, может быть, просто несчастная любовь, – к моему облегчению, сказала Клавдия, слушая бредущего собрата по гражданству. Невозможно было вытерпеть это выражение обиды и разочарования, угадывавшееся на ее лице.

С несчастной любовью, как с постоянным понятием женской жизни, она обращалась легко, как мало пережившая это сложное чувство. Подобная неразбериха с понятиями заставляла так на-

зываемых знатоков женщин и душ их терять общее направление своих увлекательных и опасных исследований.

Я опять заснул, видимо, сказывалось напряжение последних нескольких дней, огромные алкогольные нагрузки, тяжкая и влажная близость бывшей родины, короче, я спал без снов, тяжело и беспробудно. Парижская густая ночь охраняла меня вместе с Клавдией надежным ажурным покрывалом тьмы. Высоко гудела и пугала прохожих на неблизкой площади полицейская, с мигалкой на крыше, неустойчивая машина, изредка возникал с неба и вздрагивал по жести французского карниза ледяной дождь, приближался час моего отлета из этого города, я тяжело спал. В Париже всегда находиться замечательно, особенно просто так, но в этот раз задержка в городе была излишней. Я как бы попытался прыгнуть, толкаясь сразу двумя ногами, – обычно это не удается. Три моих транзитных дня в Париже завершились. Утром я должен был улететь.

В салоне самолета французской компании «Эр Франс» было тесновато, светло, многолюдно. Финские рослые школьники, их родители и посторонние одинокие люди возвращались домой в свое озерное отечество после массовых европейских прогулок. Они все были светленькие, скованно-шумные, розоволицые, стеснительные. Один мужчина, с высоко стриженной буро-красной шеей, через два ряда кресел от меня, был пьян и пытался петь, закатывая глаза. Стюард Кристиан, как было написано на длинном значке, приколотом к воротнику рубашки, просил высоким голосом пассажира пристегнуться ремнем к сиденью, наискось груди. Друг мужчины, с твердой спиной, сильный, как лесоруб, держал Кристиана за запястья своими как бы металлическими руками и говорил с ним по-фински. Стюард морщился от боли, нервничал, но не уходил. Кристиан защелкивал замок, мужчина его отщелкивал, Кристиан – защелкивал, мужчина – отщелкивал. К тому же, пьяный ругал стюарда по-фински словом «черт».

Наконец, стюард прицепил пьяного к креслу, девочки и подростки угомонились, погас свет, Кристиан сел неподалеку от меня с серьезным лицом возле собранной почти в комок стюардессы в красном фартучке, с расслабленно-красивым, несколько стервозным, хотя и почти совершенным круглым лицом, и самолет взлетел, громко сжигая покрышки о бетонную сухую полосу, над городом с рекой, над маленькими машинками, стоящими в пригородном лесу у шлагбаума, к которому подъезжал товарный поезд. Видна была приземистая струя серого дыма над трубой плоского паровоза.

Дружно запели выпившие финны в толстых пиджаках в желтую клетку, доброжелательно, гулко и слаженно, став похожими на экипаж рыболовецкого весельного судна, возвращающегося с уловом сверкающей под луной сельди неестественно-серебряного цвета на животе, к родному берегу. Под их штормовое гудение самолет поднялся над облаками, еще свернул и поехал, не сворачивая, на север. Смеющийся Кристиан принес

французскую минеральную воду, уже разлитую в стаканы на подносе. На блюде лежали конфетки и бумажные салфетки веером. Вода была очень вкусна, крепка.

– Вы летите, сэр, в Хельсинки? – спросил меня Кристиан на обратном пути с пустым подносом, остановившись подле. Его акцент в английском языке был очень мил.

– Нет, сэр, я лечу в Ленинград, – сообщил я ему негромко, потому что не люблю громко говорить и вообще афишировать про себя на людях.

– Давно не были там? – спросил Кристиан. Его уже окликнула прежняя стюардесса в шелковом платочке на шее, что, дескать, нечего разговаривать, работать надо, Кристиан.

– Не был там семнадцать лет, – сказал я, сам себе удивляясь.

– Подождите, я принесу выпить коньяка, – сказал Кристиан решительно. Очень быстро, почти приседая на шаг, он вернулся с бутылкой коньяка Реми Мартен, и мы выпили по глубокой 150-граммовой стопке, и тут же еще раз, закусив лимоном, который этот расторопный юноша успел нарезать для нас за шторкой. Финны оглядывались на нас одобрительно и тепло. Я все ждал, что вот кто-нибудь из них сейчас скажет, что «вот это по-нашему, ребята». Но никто ничего не сказал – у них была своя жизнь, у нас – своя. Смешивать эти два замечательных понятия было невозможно.

– А откуда вы летите в Ленинград, уважаемый? – спросил Кристиан.

– Из Иерусалима, уважаемый, – сказал я, показав взглядом, чтобы он налил нам еще по разу. Так он и сделал. И мы выпили еще раз.

– В Иерусалиме я был два раза, о, Иерусалим! – сказал Кристиан, и мы выпили.

– Не боитесь? – спросил он меня. – Я напишу вам адрес французского консульства, на всякий случай, кто знает. Вас ведь там не очень жалуют-то...

– Кого это «нас»? – спросил я, искренне не понимая его. Я многое позабыл, не все, но очень и очень многое. Что и не удивительно за столько-то лет.

– Иерусалимцев, – сказал Кристиан смущенно. Я кивнул, а он передал мне бумажку с адресом, которую я положил в нагрудный карман своего свадебного пиджака.

В Хельсинки все финны и их друзья-земляки вышли из огромного самолетного салона, в котором я остался один. Кристиан и его коллега, одетые в меховые куртки с поднятыми воротниками, ждали, притопывая ногами, выходящих у самолетного выхода, из которого плотным молочным варевом входил в их организмы суровый финский климат. Они кивали прилетевшим домой и улыбались им, как родным. Должность и воспитание заставляли их так себя вести. После того, как все финны вышли под родное небо, в самолет вошли трое советских людей, вероятно, русской нации, один из них был в велюровой высокой шляпе, надвинутой на глаза, двое других были просто пьяны, алкоголь заменял им профиль, но на

ногах они держались. Они сели далеко сзади и тут же попросили у Кристиана бумажные стаканчики. Говорили они по-русски, большими руками объясняя французу, чего желают. Кристиан вроде бы был растерян... семеня, нес им стаканы... какие-то булочки...

Бутылок у них было четыре, это то, что я смог высмотреть, когда они проходили мимо по проходу, похожие на телевизиков, глядя неподвижными прозрачными глазами перед собой. Полуобернувшись, я увидел, почти угадал, как они уже до краев разливают советскую водку по стаканам из небольших поллитровых бутылок и тут же, без паузы, морщась, пьют ее, сопровождая этот необратимый процесс привычными жестами рук, выражающими тяжкое русское алкогольное счастье.

Взлетели и полетели, не качаясь. Кристиан подошел ко мне и сказал: «Летим до Ленинграда 29 минут. Они, видите, пьют водку стаканами, а могли бесплатно получить Реми Мартен, очень странные люди – русские». Потом он ушел, пожимая плечами, но скоро вернулся, принес мне пластиковый стакан коньяка медового цвета, накрытый ломтем лимона. Люди разлагаются и подвергаются чужому влиянию очень быстро, быстрее даже, чем сами думают. Тем не менее, сам Кристиан больше не пил, утверждая, что и так перебрал, а работа в самом разгаре. «Салют», – сказал он и ушел по проходу, очень изящный, женственный, совершенно не педерастического вида, просто такой вот обузданный, подстриженный француз, любитель женщин, демократии, прав человека, «Фигаро», Мишеля Платини и тяжеловатой эльзасской еды с бутылкой-другой любимого «Бордо».

Я вспомнил, как мы прилетели в Израиль (в 1973 году) прямой майской черной ночью, переполненной удушающими запахами неведомых деревьев. Пока шли от трапа к огромному ангару с багажом и регистрацией новоприбывших, у меня замечательно кружилась голова. Даже отец, косолапо шагавший возле меня, как солдат, с авоськой и советской кирзовой сумкой, повернув ко мне счастливое лицо, нервно сказал: «Иди ровно, ты же трезвый, Мотэ». Приезд в эту страну из той, что говорить, очень влиял на нервную систему всех участников этого перемещения.

Полчаса назад мы сошли с венского рейса по трапу на бетонный пол аэродрома. Было четыре часа утра по местному времени. Никто из прибывших не целовал земли, не плакал, но настроение все же было очень хорошим. Было темно, что подчеркивалось и резким освещением входа в аэропорт, и дальним светом прожекторов, и идеально прямой линией лампочек на взлетной полосе дегтярного цвета. Нас, покинувших СССР навсегда, было человек 180 или даже все 200.

Местный человек, который сопровождал нашу группу, все время оборачивался и на странном, но все же русском языке просил не рассеиваться вширь. Он так и говорил: «Я прошу вас не рассеиваться вширь».

Мой отец, человек скромный, очень естественный обычно, вдруг стал пережимать по части религиозных предписаний и спросил у

представителя, где можно помолиться и сказать молитву «рассветную» или, как еще говорят, «шахарит». Человек не очень любезно сказал, что «потом помолитесь, господин, время будет».

У широкого стеклянного входа в здание, согнув прекрасный стан, стояла девушка в серой солдатской форме и несколько сонно смотрела на нас всех, подхлотивших тихой советской толпой. Крутая томная линия ее бедра могла увести наблюдателя, даже стороннего, очень далеко. Один прилетевший с нами мужчина, по виду технолог полимерного производства (я знал одного такого человека в Ленинграде, ходившего всегда в пиджаке с накладными плечами), передвигался справа от меня с забинтованными кистями рук. При ходьбе он двигал руками вверх-вниз, пытаюсь, верно, остудить их пыл. Зацепив мой взгляд своим технологическим, он скорбно улыбнулся и пожевал большими губами: «вот так, брат, жизнь – такая непростая штука».

Потом мы зашли внутрь. Моя мать, опираясь на трость (оба они у меня были больными людьми с тяжелой прожитой жизнью, продленной приездом в Иерусалим счастливо и надолго), села на стул возле моего отца, который с розовым от возбуждения лицом, тяжело дыша от аэродромной прогулки и, опираясь на осиновую походную палку, выкрашенную в черный, со следами ударов, цвет, восхищенно смотрел на совершенно лысого человека начальственного вида в костюме с короткими колониальными рукавами, в кремовой рубашке без галстука, расстегнутой на груди. Он был и сам по себе значителен, и без должности. Но и должность его была большой – это было очевидно. В 4 часа утра так стоять посередине огромного зала, не думая о том, что нужно делать с незанятыми руками и смотреть поверх голов, почти не думая о производимом вокруг впечатлении, мог только начальник.

– Он похож на одного человека, с которым я учился в Воложине, – сказал отец, не поворачивая головы.

– При чем здесь Воложин, Меир? – спросила его мать. Она боялась, что отец может из-за плохого знания русского языка оказаться в неловком и даже смешном положении.

Лысый человек, предположительно, израильский начальник, сделал шаг вперед, потом другой, остановился и, протянув руки, сказал так, как говорят люди с только что сделанными вставными челюстями, к которым еще не привыкли суставы и мышцы лица: «Ты не изменился, Меир, за эти годы, ничуть». Меир, ставший из худого высокого мальчика тучным низкорослым пожилым мужчиной за эти почти 47 лет после их расставания, шагнул к нему. Отец мой был сдержанным человеком, который при всей своей внешней суровости и привычке жить с нетрезвыми чужаками выглядел и был на самом деле необычайно наивен. Он вполне мог спросить у человека из райкома, потрепанного стукача, пришедшего к нам в коммунальную квартиру на, предположим, проведение просветительской (кажется) беседы перед выборами: «А вы какой веры будете, Иван Семенович?», усмотрев некий близорукый семитский блеск в его взгляде. «Я – атеист, Меир Нахимович,

а почему вы спрашиваете, вам близка эта тема?» – отвечал агитатор, не моргнув, не отступив, приглядываясь к скрытому врагу, небольшому человеку. «Не далека, конечно, тема», – отвечал ему отец. Он не торжествовал совсем.

Он обнялся с этим начальническим израильским человеком руками, и они поцеловались. У отца моего упала при объятии советская выходная (субботняя) шляпа с головы и покатилась под ноги людям, топтавшимся у багажных стен. Никто не наступил на эту шляпу, она была удачлива в своем незатейливом пути, мягко улеглась на нейтральном месте в углу. Начальник, друг юности отца, был совершенно светским человеком, хотя и говорил с тем самым произношением (– ейс, – уйс, – ейне и так далее), которое ассоциировалось у меня с Восточной Европой, еврейскими школами-хедерами и истовыми белокрылыми молитвами. Потом я узнал, что это произношение называется ашкеназским и что ашкеназы – это евреи европейских стран, и это знание обогатило меня и мое крепнущее в столичном городе Иерусалиме буквально на глазах, по дням, национальное самосознание.

Я знаю, что они больше не встречались никогда, хотя начальник и позвонил по телефону моему отцу, спросил, как у него дела, спросил о его религиозности и, протянув с удивленной, почти восторженной насмешкой «да-а», пропал навсегда, до самой отцовской смерти ровно через 20 лет после его приезда в Иерусалим.

Они пообнимались, начальник сходил за отцовской шляпой, согнул стан и, легко отряхнув велюр о колено, аккуратно передал другу Меиру для продолжения головного пользования. Широким свежим ветром потянуло от входа, вошли еще люди, один из них был черен лицом – он шептал что-то вбок в аппарат, прикрепленный к лацкану его застегнутого пиджака. Рукава этого пиджака были по локоть отрезаны, и я понял, что это такая мода мужской местной одежды, знак принадлежности к государственной службе.

Потом нас отвели на оформление документов. Сбоку от стола индифферентно стояла солдатка в бело-серой форме с таким выражением лица, которое бывает у немолодых, много рожавших женщин.

После процедуры выдачи документов, голубых коленкорových легких книжечек под порядковыми номерами ...27, ...28, ...29 (последний номер – мой), мы вышли на улицу в яркую осязаемую тень, под каменный козырек здания аэропорта, где уже стояли встречающие нас много часов сестра Рохл, ее муж Цала, рэб, как его называл отец, Гдалия Печерский, бывший советский политзаключенный, тучный человек в шляпе, скорее, политик по профессии, чем врач, друг родителей, и мой двоюродный брат Нахемия Гольдберг, 43-летний сын родной сестры моего отца Фрейды. Раввина Нахемье Гольдберга, сурового и сдержанного мужчину, который с 5-летнего возраста жил в Иерусалиме, я видел впервые в жизни. Печерский грузно ходил вокруг нас на прямых ногах и искренне, но молча, будучи солидным человеком, радовался – он не знал, как еще можно выразить свои чув-

ства от долгожданной встречи, которую ждал так долго. Он уехал из СССР в 1968 году, сразу же по выходе из пермского концлагеря, в котором провел 7 лет по обвинению в антисоветской деятельности (после снятия Хрущева с его срока скостили 5 лет). В лагере он, будучи соседом по нарам некоторых известных в мире политэзков, писал много писем с просьбой о пересмотре своего невероятного дела (сначала у него был срок в 12 лет «по обвинению в шпионаже», но после снятия Хрущева в 1964 году 5 «шпионских» лет ему скостили и оставили «семерку» за анекдот), а после освобождения Гедалий Рувимович сразу же уехал навсегда жить в Израиль. Так получилось, что в Ленинграде, куда Печерский вернулся из лагеря 30 июня 1968 года, в тот момент был из его родственников и знакомых только я. И я встретил его на Витебском вокзале, как бы потерявшего координацию в пространстве, привез с вокзала на такси домой, в дом, который находился у Пяти углов. Там мы выпили «маленькую» «столичной» водки, спели несколько песен, любимых им, поговорили о жизни, и он сказал мне, чтобы я скорее приезжал в Израиль. Он показал мне шариковую авторучку в металлическом корпусе, на котором были выгравированы цветы. Такая авторучка была редкостью в те годы в Ленинграде. Я сказал Печерскому, что скоро приеду в Иерусалим. Мама моя была тогда очень больна, и отец находился постоянно с нею в больнице. Я совершенно не знал, что будет с нами со всеми потом, через некоторое время.

Через 27 минут после взлета (я одолжил на этот визит хорошие часы с хронометром у старшего сына) в Хельсинки мы приземлились в Пулкове, на ленинградском аэродроме. Когда-то, много лет назад он казался мне огромным – я был там однажды, но запомнил его хорошо, особенно зеленые холмы вокруг взлетных серых полос.

Я увидел, как к нам подъезжает желтенький, прожженный морозом даже на взгляд из самолетного иллюминатора автобусик и из него выходит женщина в тулупе, офицер-пограничник и еще какой-то человек. Шофер этого голого транспортного средства сидел, нахохлясь, в кабине, как черный ворон. Уже подавали трап к нашему самолетному телу, и Кристиан объявил в микрофон на весь пустой салон по-английски, что температура воздуха в Ленинграде минус 22 градуса по Цельсию. «Сегодня 23 февраля, воскресенье, 1990 года», – добавил он буднично. Дядьки с задних сидений потянулись группой на выход. Один из них, тот, что пониже, кажется, уже просто не дышал. Но шел.

Собрался и я. Чемодан мой и сумка были в багаже. Полуторалитровая бутылка «Смирновской» водки и два блока сигарет марки «Данхилл», купленные мною в Орли без налогов, радовали руку. Куртка с меховым воротником у меня была теплейшая, шапочка, вязанная одной дамой из тройной шерстяной германской нити, даже казалась излишней по обогреву, во внутреннем кармане покоился израильский паспорт с цветным изображением моего лица

– я был готов к советской жизни, к ее климату и навыкам, к возвращению в нее, пусть даже на правах иностранца.

Пограничник нехорошо поглядел на меня исподлобья. У женщины в тулупе замечательно блестяли глаза, и вообще вид у нее был более чем многообещающий.

Я попрощался с ними и вышел на трап. С земли на меня внимательно смотрели люди, стоявшие разрозненно. Когда я поднимался в автобус, то рука чуть не примерзла к поручню, но я преодолел все это и сел на жесткое сиденье. За мной легко, несмотря на массивную одежду, взошла женщина в тулупе, и автобус, хлопнув дверьми, поурчав, двинулся по непонятному для меня кружному бетонному пути со сдуваемым ветром сухим снежком, к плоскому зданию аэропорта, построенному под мрачноватый советский модерн – с гранитными и бетонными углами.

Женщина в воинской форме с крашеными светлыми волосами сравнила мое лицо с фотографией в паспорте, не поверила себе, сравнила еще раз и потом решила без вдоха, что, да, это он, иностранный гражданин из вражеской небольшой страны.

Мой багаж меня ждал, с грохотом катаясь по дребезжащей ленте длинным кругом. Я без труда доволок чемодан и сумку до таможенного контроля. Вокруг двух молодых скучающих людей в форме, с университетскими значками на лацканах, было светло от горевших днем сильных лампочек. Ребята приветливо улыбались, никакого милицейского коварного умысла я за этими улыбками не разглядел. «Порнографию везем?» – азартно спросил меня юноша, походивший белыми кудрями скорее на фавна, чем на служивого. Китель его, нежно-сиреневого цвета, был растегнут, как говорят, до основания.

– Нет, порнографию не везу, – сказал я ему скованно. «Ну, не везете, и слава Богу», – ответил парень. Он не попросил меня открыть чемодан и сумку. Его не интересовало, что в них находится, и поведение служивого человека удивило меня очень. Я-то их помнил, этих людей, если не другими, то наверняка настроенными по-другому, когда они выходили на службу более агрессивными и не склонными к шуткам со своими клиентами, которые заведомо казались им нарушителями закона о пересечении государственной границы. Я помнил, как мы уезжали из СССР с мамой и папой, который нес на руках, как ребенка, свиток Книги, и как удивленный белокурый таможенник лет 23-х, похожий на киноартиста с забытой уже сейчас мною фамилией, смущенной скороговоркой говорил ему: «Садитесь, папаша, вы не волнуйтесь так, и вы, мамаша, тоже». Он был смущен, ему было неловко, и он заглянул в отцовскую хозяйственную сумку с лекарствами, явно для профформы – он еще не привык к службе. В параллельных отстойниках во всю шуровали взрослые его коллеги, какую-то солидную даму посылали «на кресло», инвалид, ругаясь матерными словами на русском и идише, отстегивал протез, плакал маленький ребенок лет 3-4-х, его мать, чертыхаясь, ползала по полу, искала закатившуюся под скамью со-

ску, – нервный быт отъезда из СССР торжествовал тогда, в мае 1973-го, в аэропорту Пулково.

А сейчас, в феврале 1990 года, все было тихо, тускло, потолки были низкими, и даже снег за окнами казался пористым, сероватым, хотя лежал высокими новыми сугробами между стволами берез и елок.

Я вышел из-за прилавка ленинградской таможни и шагнул к брату, который ожидал меня вместе с сыном и внучкой у окна. Мы обнялись, больше никого возле нас не было, никто не любопытствовал, даже таможенники отводили глаза. У брата упала меховая шапка с головы, и проходивший мимо офицер-пограничник, похожий на разросшийся тростниковый куст, споро согнувшись, поднял ее и передал мне. «Спасибо», – сказал я ему и он, побагровев и буркнув что-то невнятное, торопливо ушел, глухо топая чищеными сапогами об пол.

После этого мы вышли на улицу, на сильный мороз. Прошли по снежному насту к стоянке. Одна из двух стоявших там машин была машиной моего брата. Двигатель завелся с поворота ключа, и мы поехали по абсолютно пустым, широким, засыпанным песком и солью улицам в Дачное, где жил мой брат Неня на улице Лени Голикова. Мостовая казалась какого-то рыжего цвета из-за разбросанного песка, шел снежок, все происходящее было похоже на реалистический фильм одаренного советского режиссера эпохи застоя.

В зимней тишине мы подъехали к его дому. Никого из прохожих по-прежнему не было видно в заиндеветших палисадниках и на тротуарах, хотя день этот был воскресный и, может быть, все спали по домам или катались на лыжах за городом. Не знаю, брат мне ничего не объяснял.

Дом, в котором жил мой брат, неожиданно показался мне невысоким, бледно выкрашенным в розовый цвет с серыми потеками – прошло много лет с моего последнего визита сюда, я стал старше, дом стал ниже. Да и потом, зима тоже сыграла свою роль.

Входная дверь в квартиру брата была сделана из стали, окрашенной в темно-оранжевый цвет масляной краской. Открылась эта дверь легко, но сам факт ее существования меня удивил: «Почему, Леня?» – спросил я его уже в коридоре, показав на дверь. «Ничего, пусть будет, красивая, – ответил он неопределенно, – ты потом сам поймешь, почему».

Уже за столом он объяснил мне после нескольких рюмок, что «шпана гуляет всюю, и надо беречься от этих гопников». Он показал кивком на зашторенное окно.

Привезенная мною литровая бутылка водки «Абсолют» имела успех в Питере. Но сдержанный успех, если говорить верно о нем.

...В двенадцатом часу ночи я позвонил своему двоюродному брату Изе, который тоже жил в Ленинграде, но в Купчино. Тот спал уже, так как завтра в 7 утра должен был лететь в командировку в город Сухуми. Звонок мой был очень неожидан для него. «Приезжай немедленно, я приказываю», – сказал я ему.

Когда-то, лет 26 назад, Изя учил меня в нашей комнате на пятом этаже без лифта танцевать твист. Он был в джинсах, в свитере, у него был роман с сокурсницей и он делал странные движения ногами и спиной, повторяя, как заведенный, хлопая в ладоши и крутясь вокруг себя: «Вот так вот, твист эгейн, твист эгейн...». Я смотрел на него с завистью и удивлением. «И девочку я тебе найду», – говорил он. Изя был старше меня на два года, то есть ему уже исполнилось тогда 18 лет.

Мы уже выпили достаточно большое количество алкоголя до моего телефонного звонка, Изя был трезв, будучи работающим малопьющим инженером. Он был упрямым, как и его отец, дядя Сема, человеком. Он совершенно не изменился по сути своей за эти годы, любил по-прежнему размышлять. После раздумий Изя сказал, что выезжает сейчас, только надо найти такси. Через 40 минут, сняв в прихожей теплые ботинки (Изя сам настоял на этом), он вошел в комнату в тапочках без задника, седой, поджарый человек в свитере, сером венгерском пиджачке со значком на лацкане. Его человеческий принцип остался тем же – скромность, сдержанность, внимание, устойчивость. Он выпил несколько глубоких рюмок водки, сморщил свое чуть плосковатое, почти японское, лицо, закусил соленым огурчиком и сказал: «Сколько же мы не виделись, а, Мара?» «Семнадцать лет без двух месяцев не виделись», – ответил я ему. Я вспомнил, что когда мы уезжали из СССР, то переносили наш холодильник с пятого этажа, на котором жили, в комнату его мамы, в том же доме на втором этаже, через четыре парадных от нас. Нам помогал его одноклассник и друг Игорь и еще один человек, который совершенно исчез из моей памяти. Помню, что кто-то, наклоняясь в сторону, с натугой нес тяжелый край советского холодильника, помню каблуки коричневых ботинок, помню его славянский стриженный затылок, но имя и лицо его исчезли из памяти напрочь.

– Ты не изменился, Мара, совершенно, только заматерел малость, – сказал мне Изя. Вот сам-то он изменился так, что только родной человек мог узнать его сразу – морщинистый, седой, «дяк», как говорила моя мама когда-то. Но на себе не замечаешь изменений почти никогда.

– Видишь, Мара, сегодня ждали погромов против евреев в Ленинграде, в милиции отменили отпуска, все собраны по тревоге, но обошлось, – сказал Изя мне, накладывая салат оливье в свою тарелку производства Ломоносовского завода с золотой каймой – жена брата поставила на стол лучшую посуду в честь меня, моего приезда.

– А откуда ты знаешь все это, Изя? – спросил я его без нажима, просто как спрашивают давно двоюродного брата.

– Да все это знают, и Неня вон знает, и Лариса, у нас же теперь гласность в разгаре, советская власть на исходе, – сказал Изя. Он сладко кушал салат оливье и селедочку и все равно казался озабоченным – таким он родился, так он был устроен.

– Ты поосторожней давай, что говорить зря, видишь, все как вокруг, – недовольно и почти трезво сказал Неня. У него на коленях неподвижно сидел черный кот по имени Шамон, не открывая глаз. Брат мой гладил его правой ладонью, невероятно похожей на ладонь нашей мамы. Неня посмотрел на стену и на занавешенное окно. Он уже был знаком с теневыми сторонами жизни в СССР подробно и даже хорошо. Считал, что, даже много выпив, надо говорить критические и сомнительные вещи относительно власти и идеологии как можно осторожней, тише. А лучше всего вообще не говорить на эти темы. Что говорить, когда и так все понятно. «Большевики вечны, советская власть бесконечна и могущественна», – говорил он часто. «Водка играет большую роль в жизни, необычайно большую роль», – добавлял он на одном дыхании, даже не зная, как он прав в этом вопросе. Есть музыка, есть отношения между людьми, есть женщины, есть город, есть вино, и так далее – есть о чем говорить и думать и кроме политики, кроме власти, – считал он. «У нас другой темперамент», – посмеивался Неня, непонятно что имея в виду. Пьянел он достаточно быстро, головы не теряя и упорно продолжая добирать рюмки до огромной бесконечности.

После этого моего приезда мой брат прожил там, в доме на улице Лени Голикова на втором этаже еще 11 с половиной лет, после чего умер, оставив всех в родных и друзей в горе и грусти.

– А как ты живешь, Мара, в Иерусалиме? – спросил меня Изя.

– Живу как все, вбираю воздух среднегорья, – сказал я ему. – Моя жизнь нормальная, если ты это хотел узнать.

– А дети как, жена? Она ведь тамошняя, да? – спрашивал Изя. Его любопытство можно было объяснить выпитым.

– Тамошняя, это правда. Дети как дети. Старший сын, ему 12 лет, спросил у меня перед отъездом, что такое антисемитизм.

– И что ты сказал ему? – поинтересовался Изя. Он, когда выпивал, всегда становился занудным и скучноватым человеком.

– Я сказал ему, что уже и сам с трудом понимаю, что это такое, но когда вернусь из России, расскажу все подробно, меня эта тема не интересует сегодня, – сказал я.

– Ты уже СССР называешь Россией, как иностранец. Можно считать, что не зря ты уезжал, Мара, – сообщил Изя и залпом выпил еще рюмку. Что-то стали здесь пить все, как безумные, или я просто отвык, не знаю?

Изя был таким человеком, что мог сесть выпивать с одними взглядами, а в процессе пьянения измениться и принять другие политические взгляды.

За окном сыпал густой снег большими хлопьями, которые явно шуршали о стылый черный воздух в открытую на кухне форточку.

Потом мы посмотрели ночные новости по ТВ, в которых не было ничего сказано тревожного, кроме температуры воздуха (минус 28 по Цельсию в Ленинграде), показали каких-то немолодых людей с красными флагами и транспарантами. Они пытались идти колон-

ной по Дворцовой площади, но получалось все у них нестройно. Их можно было пожалеть, этих людей. Эти люди скандировали какие-то слова, и лишь позже я догадался, что они произносили: «Советский Союз», «Советский Союз».

Почему их волновало это словосочетание, я не понял тогда.

– Они бы никого не пожалели, – сказал вдруг Изя непонятно. Иногда он понимал меня очень хорошо даже без слов. Вспомнив возбужденные, жутковатые лица демонстрантов, я подумал, что, может быть, Изя здесь и был прав. Но Неня взглянул на него за эту фразу с осуждением.

После новостей и гимна Советского Союза в исполнении многочисленного оркестра мы легли спать. Изе было постелено на надувном матрасе на полу в гостиной. Проснулся он в 6 утра, тихо ходил по квартире, пил чай и потом уехал в аэропорт лететь в Сухуми. Почему он летит в Сухуми – я не мог понять. Про направление и цель командировок, назначаемых работникам на советских предприятиях закрытого типа, было трудно понять мне после столь долгого отсутствия здесь.

Заснуть после ухода Изи нам уже не удалось, и мы с Леней поговорили за чаем о жизни, о направлении ее, о том, куда она движется, почему и зачем.

Еще не рассвело, и в гостиной горел свет. На столе, покрытом льняной скатертью с зеленой каймой, стоял салат оливье в фарфоровой миске с синими рюсками по бокам, блюдо с селедкой, вареная картошка, сливочное масло в блюдце и другие, известные далеко за пределами этой страны, блюда русской кухни.

Потом раздался звонок во входную дверь, и брат сказал, что откроет сам. Было 7 часов 15 минут утра на стенных часах в столовой. «Сидите», – сказал брат, ничего не взял с собой в прихожую, плотно прикрыл дверь, уже сутуловатый, все еще крепкий, сильно пьющий мужчина 51-го года рождения в спортивных шароварах.

Я вышел за ним, вернув дверь с узорным стеклом в створ. Пришел человек в ушанке, бледный, в демисезонном пальто без воротника, одетый не по погоде.

Он не выглядел ухоженным слишком. «Не узнаешь, Марик?» – спросил он меня, и я тут же узнал его. Это был Саня К., с которым мы вместе учились в школе, играли в футбол и так далее. Он был одаренный в пластическом плане человек, прекрасно видевший передвижения мяча, людей, площадку и понимавший, что на ней происходит со всеми участвующими игроками, а не только с ним. К тому же, у него была замечательная память, он легко ориентировался в алгебре, без напряжения щелкал задачи и получил серебряную медаль за учебу, потому что поленился помириться с учительницей истории или литературы, я уже позабыл, с кем точно он поскандалил. Мы пожали руки, приобнялись за плечи. У него с юности был глубокий продольный шрам на щеке, которого он стеснялся, который украшал его лицо. Саня извлек из-за пазухи початую бутылку водки и бутербро-

дик с килькой в салфетке. «Давай, Марик, за встречу», – сказал он хрипло и легонько взболтнул содержимое бутылки.

«Пошли, зайдем в комнату, ну, что здесь пить, как ханыги», – сказал брат, но Саня категорически отказался: «Я на смену иду, на слежу еще, времени нету, давай так». И мы выпили по большому теплому глотку, потом еще раз.

Закусили по кусочку бутерброда на каждого. Саня вздохнул, сказал, что хорошо. Он мотнул головой, прислонился к косяку, вздохнул и спросил: «Ну, как жизнь, Мара?». «Видишь, жив, работаю, все нормально», – сказал я, подражая его разговорному стилю. «Хорошо, я думал о тебе тут довольно часто. Я тоже живу, видишь, советский человек, работаю. Видишь, инженером стал. Пью. Больше сейчас пить не могу, караулит начальник меня. Ну, будь здоров, опаздываю, не мог с тобой, гостем оттуда, из Израиля, не выпить – это предпоследнее дело», – сказал он. В неестественно белой своей руке он держал меховую шапку, клеенчатый бордовый с поверхностью в рубчик портфель дежурил у его ног. «А последнее дело какое?» – поинтересовался я. «Неужели не знаешь? Последнее дело – предать родину», – сказал Саня. Шрам его, шедший вниз по лицу, полученный во время игры в хоккей, покраснел.

Когда-то, уже в Израиле, я написал рассказ про некоего бывшего футболиста, приехавшего жить в Иерусалим с семьей, и очень во многом именно Саня был для меня тем самым человеком, с которого я списал многие черты своего героя.

– Надо идти мне, – сказал Саня, и мы расстались, растроганные, расслабленные. Небольшую, неприлично-беловатую бутылку из-под водки Саня, передвигавшийся по теснейшей прихожей и страшноватой советской лестничной клетке мягко и легко (ничто не влияло пока на его неширокое округлое тело с сильной спиной, – ни жизнь, ни потребляемое вино), забрал с собой.

Мы с братом вернулись в гостиную и из окна ее, из-за шторы, я увидел, как Саня быстро шел по выпавшему ночью снежку, оставляя неглубокие следы.

Перед тем, как завернуть за угол, он безошибочно повернулся на каблуках и махнул мне рукой. Точно так же, как в юности он, разворачиваясь против всех законов анатомии на 180 градусов, не глядя, отдавал движением наружу небольшой стопы мяч с остатками лаковой краски на швах вглубь обороны противника, выверяя свои действия до сантиметра. Многое было в этом человеке от огромного таланта в том понимании, которое я вкладываю в это слово.

Мы быстро сели за стол и выпили за здоровье Сани под малоодобрительные взгляды братовой вернейшей жены, которая метала нам на скатерть свои русские яства с меткостью, поразительной для столь раннего часа.

Помидоры и огурцы были у нее собственного крепкого засола, вкусные и острые.

На фоне смазанных красок излишне яркого телеэкрана и прыгающего с пылающей батареи на кресло и обратно кота Шамона, пытливого и вялого черного животного, мы позавтракали,

обсуждая особенности, подробности нашей жизни в Иерусалиме и Ленинграде.

Весь день прошел под разговоры и под белое вино, под телефонные звонки почти забытых голосов, под музыку полнотелого независимого певца Михаила Шуфутинского и сопровождающих его выступление стройных вокалисток, по две волнующихся во всех плоскостях с каждой стороны от него.

С полудня начал сыпать на улице с неба густой и сухой снег большими праздничными хлопьями, что прибавляло уюта в комнате и напоминало о медленно протекающих в пространстве вторых после Дня Советской армии суток.

Был понедельник. Зеленоватый «Москвич», проскальзывая колесами на неровном насте, с трудом повернул за угол. «Сосед Володька, видишь, поехал, вареную колбасу теперь производит, помнишь, Марик, Володьку?» – спросил брат у меня из-за спины. Я смутно помнил невысокого человека в синенькой рубашке с металлической цепочкой в вороте на шее, но как он выглядел конкретно, забыл совершенно. Кажется, он говорил не мне тогда, много лет назад: «Ну вот, я женился на ней и что теперь, а?» Но, может быть, так говорил и другой человек при мне, все варианты с памятью возможны.

После обеда удалось поспать два часа. Без снов. Проснулся я в 6 часов вечера, свежим и бодрым. Было уже совсем темно за окном. В раскрытую форточку слышно было как шуршал о ледяной воздух падающий снег.

Телевизор передавал концерт народной русской музыки. Играла гармонь, пели женщины в кокошниках. Один танцор, по виду нерусский, но лихой, с чубом и в картузе, танцевал кадрили вокруг переминающихся женщин и задорного вида гармонистов. Мелодия, наигрываемая музыкантами со склоненными к мехам большими головами, была легко узнаваемой, но назвать ее я бы все равно не смог из-за отвычки от подробностей русского фольклора.

Я посмотрел по диагонали через стол и дверной порог в окно на кухне, не завешенное и вымытое хозяйкой до синевы. Картина в нем была вчерашней, вечерней. Я никак не вписывался в этот вид с голыми деревьями, с широкими снежными лопастями на черных ветвях и заиндевшим красножилым градусником, висевшим на оконной раме снаружи. Свою несовместимость со страной СССР, неконкретно осознанную мною лет 20 назад, я констатировал сейчас как почти нейтральный факт своей взрослой жизни, относясь к пониманию этого факта с известным безразличием.

Я отлично понимал неправильность всех этих примерок под себя ленинградской действительности, гражданина другой страны, где все было изначально иное. Я выбрал другую землю, и нынешний приезд в СССР был все-таки суровым и очень необычным испытанием для меня. Уезжая, я не знал очень многого, как бы навсегда исчезая в некоем ближневосточном подобии космического пространства. Перечисление того, чего я не знал про мир, заняло бы здесь несколько страниц, и я позволю себе опус-

тить эти частности, как мало чего значащие в истории моего путешествия.

Когда мы приехали в Иерусалим жить, то я помню, как в декабре 1973 года, сразу после Войны Судного дня, длившейся с начала октября по конец октября того года, в городе в один из дождливых дней, после обеда, неожиданно почернело и застыло небо, пошел сверху сильнейший снег, который завалил улицу Паран в столичном квартале Рамат-Эшколь, где мы жили в квартире у моей сестры Рахели уже полгода, за какие-то полчаса. Движение по дорогам разом прекратилось. Скользя по тротуару, оставляя следы в снегу, торопились по домам прохожие в мокрой обуви, у моей сестры зажгли электрокамин, привезенный нами из СССР, и как-то мы эти два веселых, странных, потому что без солнца, дня, быстро прожили, все семь человек из двух родственных семей.

Изредка я выходил с племянницами во двор поиграть в снежки, которые легко лепились из тяжелого и плотного снега и били в плечи и спины «врага» почти навывлет. Воздух был божественной прохлады и замечательного горного вкуса, и возвращаться в дом с настывшими кистями рук было приятно и холодно-сладко.

В собственно город Ленинград я начал выбираться из этого Дачного только через пару дней. Немного отошел от прохождения местной жизни, попил ледяного молочка, которое продавали из совхозной цистерны по морозным утрам в разлив румяные молчаливые крестьянки в платках, и, наконец, решил поехать. На Пушкинском шоссе, у железнодорожной станции, я остановил частный автомобиль советского производства, на котором покатил в сторону Невского проспекта через Московский район. Попытавшись пристегнуться ремнем, я был остановлен водителем, который сказал: «Да зачем, езжай так, парень».

Он удивленно взглянул на меня. Водитель казался моложе меня возрастом, но одутловатость его была поматерее, застарелее, чем моя. Он был в лыжной шапочке и небрит. Сжав крепкие зубы, он курил папиросы «Беломорканал», кратко постреливавшие по мере сгорания, машинный магнитофон его с раздражающим шорохом крутящейся пленки воспроизводил песни Высоцкого одну за другой (я быстро восстановил в памяти несколько фраз, ушедших из памяти вместе с отъездом: «Чуть помедленнее, кони», «Где мои семнадцать лет?», «Капитан, ты не будешь майором»). Выдвижная машинная пепельница была засыпана окурками и пеплом. Вел свою «Волгу» этот человек виртуозно, двигая ручкой передач нежно и напористо, как будто танцевал аргентинское танго.

Город как бы не изменился за прошедшие годы, только дома стали казаться мне ниже ростом. Два раза мы переезжали по мостам каналы с черной водой и желтоватыми льдинами у берегов. Транспортные средства, как-то: грузовички с прицепами, снегоочистители, легковушки, среди которых я несколько раз заметил ненювые «вольво», «опели» и один, но черный «мерседес», вели себя на разбитых улицах, несмотря на ледяной дорожный наст, присыпанный солью и песком, резво и уверенно. Все это шевелилось, ис-

ходило паром и вялой энергией, что вызывало удивление и другие, сходные с этим, чувства.

Ближе к центру, над которым по-прежнему летели в сторону залива серые облака, я перестал узнавать улицы, их названия, их направление и предназначение. Это меня встревожило, и я спросил у водителя: «А где мы находимся?». Тот повернулся ко мне всем корпусом и сказал со странной интонацией: «Что, не узнаешь?». «Нет», – сказал я хрипло. «Это набережная реки Фонтанки, видишь театр БДТ, видишь?» – спросил он подозрительным тоном. Я поглядел. «Да мы уже проехали, он уже позади остался», – сказал водитель. Машина уже стояла на небольшом подъеме перед светофором. «Там дальше Невский, помнишь такой?» – опять спросил шофер. «А почему вы так спрашиваете меня, на ты?» – удивился я. Он чуть притормозил и, смущенно пробормотал: «Извините меня, сэр».

Я ему кивнул не гордо.

Мой старый друг Женя за эти годы стал румяным дядей с усами. Жил он с женой и ее сыном в двухкомнатной квартире на первом этаже четырехэтажного дома с зелеными стенами, недалеко от канала Грибоедова. Мы обнялись в его прихожей, потом он вывел и запер в кухне черного пса, который не желал успокоиться. Немедля мы сели за стол, Женя выставил бутылку водки «Пшеничная», и мы дружно выпили с ним по стопарику, закусив какими-то консервами, крепкотелыми огурцами из трехлитровой банки и другим, более калорийным, добром. Алкоголь меня уже не брал из-за количества выпитого за последние дни. Ну, почти не брал. «Поседел ты», – сказал мне Женя. «Ты тоже не так уж и молод», – сказал я ему. Он был старше меня на два года. Отчество его было Аронович, жил он когда-то недалеко от меня в Автово, у него был брат, по профессии фотограф. У нас с Женей был приятель Витя П-к, который говорил, выпив несколько рюмок водки, что хотел бы писать прозу, как Достоевский. В доме Вити в прихожей висела на вешалке рядом с зимним женским пальто черная шинель офицера флота и фуражка с высокой тульей. «Это отца», – сказал Витя мне, не акцентируя, когда я его спросил, чья это? Отца его и мамы не было дома, и мы поговорили в гостиной с лакированным югославским буфетом о жизни и взгляде на нее за пятью бутылками вина «Солнцедар», оставлявшего синевато-красные длинные следы на наших юных подбородках.

Немного позже после нашего обстоятельного разговора с ним на литературные и политические темы, Витя, невысокий человек, носивший косую челочку, медленный, рассудительный, бесстрашный, покончил с собой, выпрыгнув с пятого этажа кирпичного дома, в котором он не жил постоянно, на улицу.

Рассказал мне все это тогда, в конце 60-х, Женя, и я очень расстроился от этого. Я переживал, услышав ужасное известие, вспоминал лицо Вити, его речь, его неуклюжие повадки годовалого бурого медведя. Витя довольно быстро исчез из наших с Женей разговоров. След, оставленный им в моей памяти, поче-

му-то был не ярче бликов от золотых околышей с офицерской фуражки Витиного отца, которые отбрасывались на полированный паркетный пол их квартиры под светом несколько вычурной и модной в те совсем не наивные годы хрустальной люстры, изготовленной под стиль начала века, – так, как его понимал сообразительный артельный производитель из московского пригорода.

Я запомнил, как Витя читал в кресле у стола, отставив книгу от себя и внимательно глядя в нее, часто затягиваясь, стряхивая пепел в тяжеленную пепельницу. Глаза его были сильно увеличены стеклами очков.

Женя показал мне несколько книг, которые вышли в городе Ленинград за последнее время. «При советской власти?» – бормотал я, не в силах поверить в то, что было напечатано на обложках. Я увидел имена Набокова, Шаламова, Мандельштама и других столь же одиозных для советской власти писателей. Их книги были напечатаны в большевистских типографиях. Тиражи книг были по-прежнему огромны. Я был смущен от всего этого, хотя, казалось бы, мог уже и не удивляться ничему после трех дней жизни в Ленинграде.

Особых акцентов на этих книгах мы в разговоре не делали – никогда тема коллекционирования не торжествовала в наших беседах.

Женя рассказал, что в университетской кочегарке, где он работал для пропитания, с ним служили в одной смене два настоящих фашиста, речи которых невозможно воспроизвести из-за бездарности и тьмы их. «Как ты с ними существуешь?» – спросил я его. «Вот подал заявление об уходе, а вообще хожу с ножом», – сказал Женя и достал из кожаных ножен двадцатисантиметровый, блиставший прочной сталью, изумительной злодейской формы клинок, даже от обычного взгляда на который становилось страшно. «Вот так», – сказал Женя, и мы выпили по рюмке.

Я в ответ сообщил ему, что, выйдя на Владимирском метро, пошел в другую сторону от Пяти углов, где жили наши знакомые, к которым я направлялся. «Освоишься еще», – сказал Женя добродушно. «Буду стараться, выхода нет», – ответил я ему. Я сказал ему, что на улице Правды, у магазина с темной витриной, меня остановил за руку какой-то ханыга: «Дай денег на бутылку, парень», – сказал он мне. Я, руку у него не отнимая, сказал, чтобы он попросил деньги прилично. «Это как?» – сказал ханыга. На его темного цвета шапочке было написано белыми буквами слово «Кавголово». «Погоди, ты что, меня не боишься, а?» – спросил ханыга. Он стоял на ступеньке, его можно было достать в любую секунду рукой или ногой на любое больничное время. «Ну, что у тебя за вопросы, парень, сколько стоит твоя бутылка?» – сказал я с досадою. «А ты не знаешь?» «Нет, я позабыл уже», – сказал я ему. Он был очень жалок, пыжился, топорщился и все равно был жалок, как брошенный котенок. Я дал ему деньги, и он, пробурчав что-то вроде: «спасибо, спас ты меня, хмырь», немедленно скрылся за решетчатой дверью.

Женя выслушал эту историю и, ничего не сказав, налил еще по рюмке. Никогда в жизни я так не пил, как в те зимние русские недели, никогда.

Потом пришел Женин друг Павел, похожий на интеллигентного молодого мастера с секретного инструментального завода, человек с конкретным, русским и бледным лицом.

Он посмотрел на меня с веселым изумлением неизвестно почему, вопрос читался в его красивейших глазах изумрудного цвета, и поставил на стол полуторалитровую банку соленых зеленых помидоров и бутылку водки под названием «Пшеничная» – тогда пили в Ленинграде такой вид этого напитка. Он был качественен, по мнению местных жителей, этот простой, хороший алкоголь, и главное, доступен им.

После некоторой паузы Павел извлек из портфеля с накладными замками и вторую бутылку «пшеницы», как ее называли в мои прежние советские годы пьющие мужчины, и осторожно, не без законной человеческой гордости подсоединил ее на столе к первой, стоявшей прочно и непоколебимо.

Получилось жизнеутверждающе, оптимистично и красиво. И вообще...

Через час мы втроем бодрой пьяноватой походкой на рысях сворачивали за угол в кооперативный магазин (что это значит, кооперативный? – спросил я, почти не удивляясь) с большим набором бутылок на витрине, копченой, излишне смуглой курицей на мокром срезе огромного пня, служившего разделочной доской, замасленными счётами и тремя бледными помидорами, стоившими дороже убитой раньше птицы. Бутылки минеральной воды «Боржоми» украсили наши закупочные порции. Когда я попросил у продавщицы в платке пакет для купленного продукта, то она посмотрела на меня так измученно-раздраженно, что мне стало не по себе. «Вы что, мужчина, не отсюда, да?» – спросила она меня. «Да вроде да, хотя, может быть, и нет», – сказал я. Она тут же кивнула мне, что «так я и думала». Я был ошеломлен ее нервозностью и сильной линией ягодиц от подпоясанной махровым кушаком талии до основания сильной ноги.

– Да они все богатые, не обращайтесь внимания, Марк, – сказал Павел весело и мне непонятно. У него было совсем немного комплексов, касавшихся происхождения и крови. Ему было хорошо с собою, как есть.

– Я и не обращаю внимания, но мне это трудно делать, не обращать внимания, в принципе, – сказал я. Павел был заряжен, помимо водки, классовой борьбой до предела. Отсутствие вышеназванных комплексов ему не мешало вовсе. Растрепанная ленинградская газета под названием «Литератор» торчала из кармана его демисезонного пальто без воротника. Он был складен и легок, пальто было расстегнуто, воротник поднят, шарф свободно лежал на шее – Павел был хорош собой, ходил на знаменитого поэта Есенина, но он был все же не с такой лихой внешностью, которая так подходила бурному началу XX века –

подведенные глаза, страсти, крашенные губы, кокаин, карточные проигрыши, патефон с раструбом и прочее. У Павла была скорее внешность молодого мужчины окончания прошлого века – все еще скромная, все еще умеренная...

Самое удивительное было в том, что я все понимал из говоримого мне. И не только понимал, но и отвечал, и меня все понимали. От этого оставалось ощущение необычной легкости, почти неприличной, полузабытой, юношеской, естественной.

– Я недавно видел ваш город в телепередаче, какого-то молодого нашего, в смысле русского, журналиста, вполне достойное у вас место, – сказал Павел, сделав «своему» журналисту комплимент. «Я не видел, но слышал много хорошего об этом фильме», – сказал я Павлу, удивляясь совпадениям. Телефон русского тележурналиста, о котором рассказал Павел, дал мне Авраам в Иерусалиме со словами: «Вот он расскажет много интересного, чудный человек, объективный профессионал. Он проведет тебя по всем кругам, он будет твоим путеводителем, его звать Женя. Там очень многое изменилось, очень многое».

То, что здесь все изменилось, было очевидно и без Авраама.

И изменилось, и шатнулось.

«Идет не по резьбе», – как говаривал, сидя со старухами на скамье под огромным тополем, выпивший лишку активист ЖЭКа Клец в железнодорожной шинели и подшитых валенках, который, после того как добавлял стакан, начинал выдавать дворовым мальчикам государственные секреты – «я позавчера японского шпиона поймал, вот этими руками». Он показывал нам свои большие руки с огромными суставами.

Почему все в СССР раскачивалось, было сразу не понять, – все вроде бы было на месте, – портреты, флаги, граница, гимн. Я даже видел патруль городской комендатуры, состоявший из пяти военных моряков. У офицера был кортик на боку, у моряков – красные повязки на рукавах. Патрульные шли, покачиваясь, боевым ромбом по Невскому проспекту мимо кафе «Север» в сторону Адмиралтейства, рослые, строгие, светлоглазые парни в бескозырках. Гулко шлепали их клеши на приземистом ветру, над плоскими лужами асфальта.

Может быть, дело было в том, что я и сам все время покачивался от испытаний временем и другими предметами?

Но помимо всего этого была еще и некая суетность, появившаяся в торжественном городе с неустойчивым приморским климатом. Иначе говоря, крен советского корабля был очевиден. Все ходили вразброд, не колонной. Возможно, я почувствовал внутренние нелады, потому что перестал ориентироваться в этих улицах, окаймленных сугробами в насквозь замороженных скверах, к тому же прочно забыв их названия. Возможно. Только там, в Дачном, застроенном в 60-е годы, на третьем этаже блочного дома в подтекущей розовой краске, у брата, меня навещали счастливые сонливость и лень, тишина и безмятежность. Городская суета и мои нервы плутали и запутывались в голых черных

ветках осин, которые в ряд росли вдоль братова дома. В полукилометре от нас, за пустырем, замерзшей речкой и шестирядным шоссе шумно гнала вдаль электричка, похожая на загрязненный снаряд, в сторону города Пушкино в гулком облаке скорости и звука. Металлическая пыль оседала вокруг станции на панель и палисадник.

И больше я ничего не скажу о переменах в той стране. Вы все знаете сами.

Я курил в то время не переставая, и блок американских сигарет марки «Кент» для себя приобрел в слякотный полдень в магазине «Березка» на улице Герцена. Выйдя на улицу, в ржавый песочек на тротуаре, я тут же с наслаждением закурил. Все здесь было так, как надо для моего существования, не хватало только настоящего солнца моей родины.

Из Института текстильной промышленности, по-моему, он назывался прежде тоже так, или почти так, спускались по главной лестнице студенты младших курсов. Они не были озабочены ничем особенно сакраментальным на вид. Так, утоление своих, надо сказать, конкретно оформленных, запросов юных провинциалов в области еды, секса, успеха. Обаяние возраста не смягчало общего впечатления тоски и отчаяния от их вида у стороннего наблюдателя, которым я все-таки не был.

Возможно, сказывалось общее утреннее настроение, физиологический спад, неустойчивая местная погода, от которой я порядком отвык, точнее определить невозможно.

Запах разлитой водки шел от магазина на дальнем углу, с дощатыми ящиками у ступеней вниз.

В телефонной будке недалеко от входа в «Березку» теснились две девушки лет двадцати двух и настойчиво пытались изобразить беседу, подмигивая всем входящим в магазин мужчинам. Но никаких жестов, никаких непристойностей, связанных с особенностями скрываемой профессии, с их стороны не наблюдалось. Никакой вульгарной или там специально-профессиональной окраски лиц у девушек не было, наоборот, крутые и нежные скулы, ушки с клипсами, умеренно крашенные сильные рты, колготки телесного цвета, сапожки выше коленей, чудесные гладкие ноги... фабричные девчата, максимум, строительное ПТУ. Никакой особой красоты. Так, девушки на грани взрослой жизни. И все равно никто к ним не приставал – было еще рано для работы этих дочерей Петровых, для физической любви к ним. Они не расстраивались от этого, повизгивали в будке, толкались локтями, их оптимизм не кончался никогда. Я помнил их жизненный девиз еще с тех пор, когда жил здесь постоянно. Одна из них, уже повзрослевшая на пять-семь лет от начального женского возраста, уже с ребенком, медлительная, в брезентовых стройотрядовских штанах в обтяжку, с медного цвета волосами, со значком в петлице куртки, с усмешкой говорила мне хриловато пухлыми, алыми губами: «Будет день и будет пища, мой милый».

Такой у них был девиз, у этих женщин с несложной городской судьбой, понять которых было очень трудно непосвященным в тайны жизни.

Глядя на этих девиц в телефонной будке, я почувствовал вожделение, избавиться от которого оказалось непросто. Только сев в частную машину, «Волгу» черного цвета, в теплое, прокуренное нутро ее, услышав неувядающий, не надоедающий никогда эмигрантский голос певца Шуфутинского («дождь, над рекой туман, ... и что-то там... птицы...»), я расслабился, прикрыл глаза, и мы покатали в незабвенное родимое Дачное, покачиваясь на сильных, почти американских, рессорах. За смешную для иностранца цену в рублях, названную вялого вида водителем, без найденного мною им равного долларowego эквивалента, так все это было неприлично дешево.

Перед отлетом из Иерусалима у меня состоялся любопытный разговор с неким местным деятелем по имени Авраам, который был представителем литературного и общественно-политического русского эмигрантского журнала «Континент» и его главного редактора Владимира Емельяновича Максимова, в Израиле. Помимо представительства Максимова, Авраам, болгарский еврей, очень подвижный, резкий, с налетом Бог знает каких комплексов человек, знал в своей стране всех и вся, ориентировался в ситуации, «крутился на каблуках вокруг оси», как говорят на Ближнем Востоке, посмеиваясь, пытался влиять на происходящее как мог. Иронии к себе он не допускал никогда, ни в каком виде, не прощал ее никому, требовал уважения всеми силами, чем вызывал раздражение и потаенные смешки.

«Чтите меня очень», – казалось, говорил окружающим его худой профиль с резким носом и сильными очками на нем.

Так вот, этот Авраам скрипучим своим голоском под синенькими сердитыми глазами рассказал мне, что «совсем скоро здесь откроется газета на русском языке, так как ждут приезда сотен и сотен тысяч из СССР, что проект этот его собственный, что я – один из претендентов на работу в этой газете и что желательно бы мне привезти что-либо интересное в любом жанре из предстоящего путешествия в Россию». Он сказал: «Русия» вместо слова «Россия», как и должен говорить местный человек. «Что вы имеете в виду, Авраам, под понятием “интересное”?» – поинтересовался я. «Все что угодно, лишь бы было интересно читать», – сказал он. «Русия – это экзотика для всех, и для вас, наверное, тоже, так что выводы делайте сами», – сказал он.

Его нервозность была трудна для обозрения, для обычной жизни и, конечно же, понимания. Неестественная нервная организация Авраамова покрывала пространство гостиной, в которой мы сидели, полностью, даже чай закипал в чашках по второму разу. Тонко дребезжали оконные стекла от нервов Авраама.

– Я постараюсь, если получится, написать, – сказал я ему без испуга.

– Нет, не постарайтесь, а уж обязательно напишите, сделайте одолжение, – сказал он, совершенно зайдясь от бешенства. Никогда нельзя было узнать, отчего он заводится, в этом была его большая загадка. – Что-нибудь политическое, литературное, с бабами, не без Достоевского, – сказал он яростно и погрозил кулаком врагам. Все русское он презирал, по-моему, и больше того, ненавидел. Что-то этническое и ужасное чудилось мне в этой ненависти, но разбираться во всем этом я не хотел. То, что он иногда скрежетал белоснежными мелкими зубами, кажется, говорило о том, что у него есть глисты в организме, но наверняка я сказать этого не мог.

На том мы и расстались с Авраамом, на «Достоевском, на зубовном скрежете, на политике, на игре в карты, на бабах». Мысли об этом странном столичном разговоре в его квартире на первом этаже жилого дома на Французской горке (квартал в Иерусалиме) не давали мне сосредоточиться на цели поездки, обозначить которую я словами точно не мог и которую можно было бы, напрягшись, назвать как «неизвестно почему».

– Что же мне такого написать, от чего так легко зарыдать, – не весело, хотя и легкомысленно думал я, глядя на фотографическую картину, наклеенную на стене комнаты, выделенной мне братом. Неня в гостиной пил холодный чай у бормочущего телевизора, держа на коленях программу передач, отчеркнутую красным карандашом. Линии, проведенные его рукой, были ровными, чистыми, у него всегда были склонности к рисованию. Он даже ходил в детстве в кружок живописи при Дворце культуры имени Горького, у станции метро «Нарвские ворота», но остановился в развитии своих живописных способностей. Зато он любил рок-н-роллы Элвиса Пресли, записанные еще на рентгеновских пленках в давние времена первых стилиг, он любил ресторанный музыку всех видов, произведения Аркадия Северного и Шуфутинского, Звездинского и Высоцкого, а также Розенбаума, Добрынина, Татляна и других, не менее замечательных авторов, малознакомых мне по причине долгого отсутствия здесь. Я прекрасно помнил, как Неня говорил мне давным-давно: «Никому не дам переписывать этого певца, это мое владение, мое». Он имел в виду записи Владимира Высоцкого, которые ему подарил какой-то дружок с улицы Чапыгина. «И он не сидел, ты представляешь?» – спрашивал он у меня. Я не представлял. Я также познакомился с творчеством московского композитора и певца Добрынина. Получилось случайно, но весьма красиво. В преддверии зимнего тающего вечера. Дело было на Петроградской стороне на Большом проспекте в магазине тканей, просторном помещении с высокими зеркалами. Было светло, играла музыка. Я прислушался, как говорится, безотчетно: «Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд», – сказал ясный баритональный голос. «Кто это поет, девушка?» – спросил я продавщицу, похожую на актрису советского кино. У нее была очень высокая прическа, которая некогда называлась в городе «Бабетта», глазки с загнутыми ресницами Мальвины, ручки, белый воротничок на фир-

менном халатике, от которого хотелось заплакать. «А ты что же, не знаешь, что ли? – сказала продавщица, – умник, а?! Нечего тут, шагай». Я отошел в сторону, опешив от таких ее слов. Видно, незнание имени популярного певца было грехом большим, чем все другие ей известные грехи. Продавщица неправильно посчитала, что я с нею заигрываю, кокетничая на словах, с целью знакомства и дальнейшего сближения, возможно физического. Таких мыслей у меня не было, так как мне действительно очень понравилась песня, и я захотел узнать имя исполнителя.

В том же магазине я купил два замечательных платка из нежнейшей шерсти – один маме, бордового цвета, а другой – иссиня-голубой – жене. Платки обошлись мне очень дешево, я выбил чек в кассе, платки были завернуты в грубую коричневую бумагу, музыка и певец все играли и пели наперебой, затягивая почти нетрезво «не говори навзр...быы...д». Потом вступили скрипки и саксофон... Я вышел из магазина с сожалением и легкой туманной грустью. Очень хотелось выпить, и я уступил этому желанию в ближайшем заведении – три ступени вниз. «Водка правильная, не волнуйтесь, молодой человек», – сказал продавец, орудуя за стойкой очень споро и сильно, – только плечи ходили как резиновые. Я не волновался совершенно, и что такое правильная водка, не вполне понимал. Переспрашивать же продавца, увидев его веселые пшеничные кудри, я постеснялся. Потом уже мне Женя объяснил без снисхождения, что в таких демократических местах есть реальное понятие «самопальная водка», то есть сделанная кустарями-умельцами на дому, на даче, в гараже и так далее, и она может быть вредна для здоровья. «Не то чтобы очень вредна, но не полезна, скажем, так, – сказал Женя. – А есть водка обычная, заводская, она – хорошая, – объяснил Женя, – так вот, она-то и есть правильная». «Я понял», – сказал я Жене с благодарностью.

Потом я несколько раз просил в разных местах завести мне эту музыку, и где-то ее заводили, где-то говорили, что такой нету, не держим, и извинялись, и смотрели странно, с известным выражением лица, которое можно было выразить словами «вроде приличный с виду человек».

Но мне это было неважно.

Одна девушка, телефон которой я получил в Иерусалиме от знакомого и которой я позвонил через несколько дней по приезде, сказала после встречи и разговора о том, о сем, что хотела бы сделать со мной телерепортаж для ленинградского независимого ТВ. Она приехала в Дачное, оказалась рыженькой, быстрой, очень ладной семиткой, и в результате, после некоторого количества предварительных разговоров, я дал ей интервью, сидя на хрупком стуле у стены, перекинув ногу на ногу. Я спросил, «можно ли говорить все как есть», и она сказала: «Все как есть, уважаемый». Тогда я сказал ей важные для себя слова об отъезде из СССР и возвращении, о жизни русского слова в Иерусалиме, о причинах тех или иных собственных поступков. Несмотря на ее предварительное разрешение, я удивлялся, все-

таки еще была советская власть на дворе, девушка-журналистка даже не морщилась при некоторых моих словах, за которые можно было получить срок в тюрьме совсем еще недавно. Я наблюдал за выражением ее белоснежного, в веснушках, матового лица – оно демонстрировало внимание и интерес. Страх или даже удивления на отдельные сомнительные высказывания приезжего интервьюируемого я на нем, на лице, не замечал. Я повторил ей слова Ходасевича о том, что эмигрантская литература не состоялась потому, что не была достаточно эмигрантской, и в этом ее главная слабость. Мне показалось, что она не все поняла, но девушка кивнула этим словам как верным.

Много чего я ей тогда сказал, не знаю, что она вырезала потом из записи, а что оставила – трансляция этого интервью состоялась уже после моего отъезда обратно в Иерусалим, через полтора месяца после этого дня.

Еще через несколько дней я уехал в Москву в купе стылого поезда, уходившего на юго-восток, в сторону советской столицы, без пяти 12 вечера. Билет мне купила жена брата, отстоявшая очередь на вокзале. «Все хотят в Москву ехать, прямо беда», – сказала она, вернувшись с вокзала, сняв платок с растаявшим снегом и вздохнув. Она смущенно улыбнулась своим жалобам.

«Совершенно мало ты у нас, Марик, погостил», – сказала она. «Да еще надоем, через неделю приеду», – ответил я ей. Брат мой был недоволен молча.

Перрон Московского вокзала, промерзший до звона, несколько пугал протяженностью. Было светло, все топтались у вагонов. Поезд темно-бордового цвета уже стоял справа, когда мы пришли, но двери были закрыты. Наконец, всех впустили вовнутрь, я поставил чемодан под сиденье – мой племянник Саша сел напротив и сказал: «Ты там, в Москве, осторожней. Мегapolis. Столица. Память. Шпана».

Я кивнул ему, что принимаю во внимание все вышеназванные факторы и буду осторожен. Потом поезд тренькнул, тронулся, и Саша вышел мимо проводницы наружу, на уходящий назад перрон.

Я ехал в гости к московскому поэту Михаилу Натановичу Айзенбергу, с которым знаком был заочно через своего иерусалимского друга, поэта Леонида Иоффе. Раньше я никогда Айзенберга не видел. Я позвонил ему из Ленинграда в день отъезда, и он сказал мне: «Я вас встречу на перроне Ленинградского вокзала у вашего вагона».

Я стоял в вагоне у окна с раздернутыми занавесками, глядя в движущуюся мглу с несимметричными огнями. Поездное радио играло советскую ладную музыку, к которой я быстро снова привык. Я был подтянут, одет в теплую ковбойку – обычный гражданин СССР средних лет, средних взглядов, среднего ума, полутяжелого веса. Я гордился своей незаметностью нестороннего наблюдателя. Потом уже мне случайно одна наблюдательная женщина сказала в Москве, что «конечно, сразу можно понять про вас, что вы иностранец».

– Почему? – не понял я.

– Потому что у вас кожа лица, цвет ее, простите, состояние ее, другое, чем у нас, – сказала она осторожно.

– Лучше, хуже?

– Нет, другая у вас кожа, – сказала мне женщина. Разговор у нас вышел случайный, но, как видите, он оказался важным.

Вторая цель моей московской поездки, которая была обозначена мною для общения с молодым русским журналистом Женей, виделась как далекая и вряд ли доступная. «Ну, куда там, неизвестный никому человек, к тому же иностранец, с сомнительными рекомендациями, напугается... – думал я, – да и ладно».

Не очень я и переживал от всего этого. Дела журналистские, особенно московские, были далеки от меня весьма тогда.

Проснулся я белоснежным утром. В открытой двери купе я видел плечо моего соседа в пиджаке. Он курил папиросы с очень сильным табаком, дым от них был едкий, одуряющий. Папиросы его, кажется, назывались «Беломорканал», в прошлом я курил их несколько раз, работая на хлебозаводе перед отъездом. Но так и не смог привыкнуть к ним. Твердый угол сине-белой русской папиросной пачки торчал из его бокового кармана, вселяя определенные надежды на семейное счастье и уют. Разглядев смягченный, в щетине после сна, профиль курящего, я пришел почему-то к мысли, что у меня есть основания для надежд.

Пришла вчерашняя проводница, принесла чай, взяла за белье деньги, причем я спутал достоинство купюр, и она посмотрела на меня, как на живого врага...

Потом под чай и под музыку «Золотая моя столица, дорогая моя Москва» мы подъехали к вокзалу под названием Ленинградский. Воздух был, даже на взгляд из вагонного окна, прозрачен, шел редкий сухой снег. Мимо моего окна проехал Михаил Айзенберг, я его узнал сразу. Он был в меховой черной шапке, казался совсем молодым, оскальзываясь, бежал за вагоном. Я торопливо вышел на улицу, задевая сумкой двери и стену, мы обнялись и пошли в неожиданно насыщенной, молчаливой, густейшей по-московски толпе к метро. Я предложил взять такси, но Миша сказал, что одну остановку до его дома у Курского вокзала можно быстрее проехать на метро. И так и было.

Когда мы поднялись из метро наверх и перешли Садовое кольцо по мокрому переходу, откуда-то издалека выпрыгнуло яркое солнце и побежало за нами вслед. Миша жил на втором этаже в квартире, которая переживала глубокий ремонт. «Это перманентное, кажется, действо, не обращайтесь внимания, Марк», – попросил он меня, двигаясь к кухне по коридору. Я шел за ним. Была половина десятого утра. Миша поставил чайник на огонь. По тому, как он протирал под московский радионаговор, вскоре решительно выключенный хозяйкой, заварной чайничек кухонным полотняным полотенцем без петухов, я догадался об их общей с Зиновием Зиником, которого знал по Иерусалиму, школе жизни, об общем подходе к жизни.

«Без удивления, но с осторожностью бывалого человека», – как можно было бы определить этот московский опыт, приобретенный ими исподволь у хороших учителей.

Потом мы сели друг против друга, поставив локти на стол. У Миши была непривычная мне мягчайшая, доброжелательная манера общения. «Москва такой город специальный», – когда-то много лет назад рассказывал мне питерский поэт Витя Ширали. Он ухаживал за высокорослой девушкой, дочкой процветающего московского музыканта, и помчался за ней из Ленинграда, где она, по его словам, играла в баскетбол против «наших барышень». Самое интересное, что в то время у меня тоже была хорошая знакомая баскетболистка, проживавшая недалеко от площади Труда. «Я играю на третьей позиции», – говорила она мне, находясь в трусах и бело-красной маечке, в спортзале физкультурного Института имени Лесгафта, кажется, не стесняясь своей почти абсолютной, почти совершенной наготы. «А я не знал, что в баскетболе есть позиции», – бессмысленно произносил я, во рту у меня сохло от вида ее белоснежных, сильно-нежных ног с продолговатыми коленями. Она целовала меня при всех в угол рта, поворачивалась и нарочито медленно шла к раздевалке, хулигански асимметрично раскачивая вверх-вниз свой чудный девственный зад, его безупречно-выпуклые янтарные ягодички. Приоткрыв дверь, она не выдерживала, оборачивалась ко мне и, высунув язык, начинала откровенно смеяться над происходящим, надо мной, над собой, надо всем. Мне было двадцать лет, ей – восемнадцать.

Между мной и Мишей стояла тарелка с нарезанным черным хлебом, консервы со взрезанными крышками, сваренные вкрутую три яйца и зеленоватая бутылка водки. Графин с водой. Сливочное масло в пластиковой коробке. Этикетка на бутылке была мне незнакома, но сама водка была осязаемо своею, шероховатый знакомый напиток с неопределимым привкусом.

Мы закурили, что называется, со сладким пристрастием.

Возле меня остывал чай, он не казался мне обязательным.

Скованность, владевшая мною, прошла довольно скоро. Мы негромко беседовали об иерусалимских друзьях, о моей книге «Феномен», которая вышла в США в издательстве «Эрмитаж», о стихах Ходасевича, о тревожной и ритмически-умеренной поездке из Ленинграда в Москву, об изменившейся для меня России, о не изменившемся для меня вкусе водки, о Бог знает чем еще.

Потом пришла жена Миши Алена, она была в брюках, в цветной косынке, глазастая. Выпила с нами рюмку, затем стакан чая, раскрыла форточку, съела бутерброд, спрашивала меня, улыбаясь, о своих друзьях за границей, рассказала, где мне постелено с дороги, где все лежит, и ушла на работу. «Я должна там появиться, – сказала она, – неудобно». Было часов одиннадцать утра.

Наклоняясь под острым углом с табурета к полу, балансируя на двух ножках и не падая, Миша извлекал дальней рукой из-под диванчика новую бутылку – запасы его не иссякали. Пришли еще

люди откуда-то, кажется, из коридора. Стол и кухня заполнились. Я несколько раз пожал незнакомые, дружеские руки.

Все это принимало большой размах, или «разворот», как говорил в Иерусалиме наш друг Ляня. Его здоровье должно было резко улучшиться после тостов и глубоких, граненых рюмок, выпитых за него, за его здоровье, и поднятых в прямом противостоянии и в ауре любви, вечной дружбы, которую невероятно быстро создал вокруг Миша Айзенберг. Я к этому тоже приложил возможное усилие. В результате получилось ажурное, достаточно прочное, насколько это возможно, строение из наших слов, с раскрытыми окнами. Можно было в нем жить-поживать. Ходил огромный Мишин кот в нем, прядая шелковой шерстью, не путаясь и ставя ноги, как капризная большеротая манекенщица на помосте.

На каком-то этапе я спросил у Миши и набивавшего рядом из желтого конверта английскую пахучую трубку Евгения Федоровича: «Что значит – свобода выезда из Союза? Это конец советской власти, как я понимаю, глядя оттуда, или все же нет?» Все как-то обошли, промолчали эту тему, не потому, что она была табуирована, а, как мне показалось, просто малоинтересна им.

«Ну, уезжают, ну, конец власти, ну и что?». Я был осажен на бестактности, и только Миша кивнул мне, внимательно глядя, что прав я.

Спать легли очень поздно, не посмотрев новостей, к чему я был стойко приучен в Иерусалиме. Шумно ушел домой Сережа, ушли Женя (Евгений Федорович) и Лева, ушел человек с забытым мною именем, но с пританцовывающей женой в ботах, все ушли, все пьяные, в одежде из шерсти, в шапках, в шарфах, в демисезонных суровых пальто – советские люди.

Назавтра попили чаю часов в двенадцать, есть совершенно не хотелось. Я позвонил известному литературному критику Льву Аннинскому, о чем меня просили его тель-авивские друзья, кинорежиссеры Слава и Лина Чаплины. «Он такой сложный человек», – сказал Слава об Аннинском.

Лев Аннинский настороженно и высоко сказал «да», услышав о ком речь, спросив «как их здоровье и жизнь?», сразу пригласил меня на обед в Союз писателей. Я сказал об этом Мише, и он попросил меня исполнить все иерусалимские просьбы и указы. «До вечера все время, – он вопросительно посмотрел на меня, – твое».

Был слякотный день начала марта. Я перешел Садовое кольцо под землей, купив в киоске с решеткой на витрине пачку американских сигарет, которые, по слухам, делались в Польше, но были все равно вкусны и крепки. Привезенный мной из Парижа «Данхилл» не то кончился, не то я забыл его в Питере, в общем, куда-то он подевался.

Минут за двадцать я доехал до паркового вроде места: «Вот вам Союз писателей», – сказал шофер и умчал прочь по лужам, на что-то сердитый, в голубенькой мятой машинке. Аннинский ждал меня у ворот, на ветру – худой, подвижный человек сред-

них лет, в кожаной темно-малиновой куртке с длинными полами, с узкой бородкой сочувствующего революции интеллигента.

Перед воротами в здание СП на асфальте лежала плоская черная лужа, через которую по окраинам ее, высоко поднимая ноги, мы прошли вокруг клумбы ко входу. Дождя уже не было. «Володя», – сказал Аннинский проходившему господину. Тот остановился и бурно шагнул к нам – у него было округлое славянское лицо. Он протянул мне руку, и я пожал ее. «Это Марк, он написал роман в Иерусалиме, а это Володя, литератор и издатель», – представил нас друг другу Аннинский. Подобие улыбки мелькнуло и исчезло на его опрятном лице. На лице у Володи появилось устойчивое выражение неизбывного счастья.

Что-то во всей этой сцене было не так, но я не мог понять, что. Володя взял меня за локоть и попытался показать путь. Я путь и сам знал, и мне не нужен был поводырь. «Я очень рад познакомиться с вами», – сказал Володя. Он был явно не совсем трезв, но на ногах стоял твердо и говорил связно, очень вежливо. Вкрадчиво. Или мне так казалось после событий вчерашнего вечера. Он казался совершенно чужим человеком, что и было на самом деле. Аннинский шел в стороне, не обгоняя нас, не отставая, настороже, с мелким смешком на лице. «Вы мне нравитесь», – произнес Володя. «Все это странно», – отстраняясь от него, сказал я. «Володя работает в театре, его фамилия Бондаренко», – сказал на ходу Аннинский не без значения. Володя посмотрел на него после этих слов с укоризной. «Мне нравится, что вы постоянно живете не здесь, а в Иерусалиме», – сказал Володя после этого. «Мне тоже это нравится», – сказал я ему. Я не хотел развивать эту тему с ним. «Пойдемте выпьем в ресторан, я вас очень хочу угостить выпивкой», – сказал Володя.

Ресторанный зал был какой-то странной формы с колоннами посередине, от которых я уже отвык, с обедающими за портьерами людьми. Из-за центральной колонны виден был край стола, залитый бурой жидкостью. Мы остановились у входа, я набрался мужества и твердо сказал Бондаренко: «Вы знаете, Володя, у нас приватный разговор с господином Аннинским, и я прошу у вас извинения...»

Он постоял, поглядел на меня не без тоски, погладил по плечу рукой, кивнул, развернулся и ушел, пытаюсь шагать прямо, – невысокий русский человек.

– Вы знаете, кто этот человек? – спросил меня Аннинский, – вы знаете?

– Откуда мне знать, он литератор или нет? – сказал я.

– Ого-го, ого-го, литератор! Где ваша интуиция, Марк, а?! – воскликнул Аннинский. – Это опасный человек, махровый ретроград, ненавидит прогресс.

Я от его слов не разволновался. Боже мой, я видал людей с автоматами, которые хотели убить меня и мне подобных. С интуицией у меня наблюдался полный провал, и уже давно. Ничего нельзя было с этим поделать.

Мы сдали наши куртку и плащ в гардеробе быстроногой женщине в шлепанцах. И та передала нам алюминиевые номерки – номер «18» и номер «19». Больше про эти помятые номерки речи не будет, они не играют в этом повествовании никакой роли.

Мы заказали невыразительного внешнего вида, но в кружевной наkolке в волосах официантке выпить и закусить. Она довольно быстро принесла нам винегрет, сельдь, семгу, хрустальный графинчик и две тарелки прозрачной ухи с кусками белого мяса рыбы. Присутствовала и минеральная вода «боржоми». Мимо нашего столика с рассеянным видом прошел крепкотелый кинорежиссер Михалков. Он казался молодым, на нем был коричневый, тесный пиджак.

Суп был вкусным, водка – ледяной. Все было так, как и должно было быть в СП всегда. Как в романе писателя Михаила Булгакова.

Аннинский познакомил меня еще с одним человеком, которого звали Станислав Куняев, редактором журнала «Наш современник». Мне показалось, что ему нравилось знакомить меня с этими людьми. Куняев был одет в пальто с воротником. Он был без шапки, очень любезен. Он пригласил меня заходить к нему в редакцию на самовар, сказал, что печатает в журнале израильтян, «таких как – вы не знакомы, Марк? – профессор Агурский, публицист Исразель Шамир». Я сказал, что знаком, достаточно поверхностно, с этими людьми по Иерусалиму. «Шамир – понятно, что за человек, без загадок, а Агурский мне кажется таким ярким, темпераментным, оригинальным, мне даже его многочисленные ошибки нравятся, хотя я знаком с ним не очень близко», – сказал я московскому редактору. «Ну вот, а мне знакомо ваше имя, так что заходите, будете гостем, посмотрим, что можно для вас сделать», – сказал Куняев. Лицо у него было желтоватым, плоским, как бы летящим назад. Потом я устроил Аннинскому сцену из-за этих людей, но не всерьез, как бы так просто, потому что все это не задевало меня никоим образом, я был здесь чужим. Это было очевидно.

К вечеру подморозило, мы напились к концу дня. Аннинский провожал меня на стоянку такси от своего дома. «Вы выделяетесь на этом фоне», – сказал он, держа меня под руку. Мы шли с ним на фоне трехметровых гладких сугробов, искрившихся фонарями большого проспекта, на котором жил критик Аннинский с семьей.

Гуляло много людей, баловались подростки в лыжных шапках, роняя друг друга в снег, – никого это не раздражало, никто им ничего не говорил. Ребята были все крепкие, невысокие, быстрые, опасные. Они легко наклонялись к асфальту за сбиваемыми их друзьями шапочками.

На стоянке ходили взад-вперед какие-то люди, такси не было. Потом подъехала частная машина «лада», и шофер равнодушно сказал, что может подвезти к Курскому вокзалу. Почему-то все от него отпрянули. Я вспомнил, что мне все говорили спрашивать сумму у водителей заранее, и я спросил у него «сколько до Курского?». «Договоримся шеф, садись, а то не поверят», – сказал он. Я простился с Аннинским, который отказался от подвозки до

дома, и мы уехали в морозной ночи к Курскому вокзалу, держа направление на северо-восток российской столицы.

Назавтра я позвонил русскому журналисту Жене по телефону, который мне дал Авраам в Иерусалиме. Я говорил уже о нем прежде, о них обоих я уже говорил здесь. Женя сказал, что может со мною встретиться у Курского вокзала в 12 часов дня завтра. Я обрадовался и спросил Мишу, прикрыв ладонью трубку, «можно ли мне поговорить с журналистом Киселевым (а Женина фамилия была именно Киселев) в Мишином доме?» Миша сказал, что ради Бога. День был солнечный, сверкающий, каким и должен быть день в марте. День этот никак не походил на предыдущий. Снег потемнел на обочинах. Я спустился к переходу, вышел на другой стороне Садового кольца и увидел молодого светловолосого человека. Он был в пальто с поднятым воротником, в черных очках, в руках у него была газета «Аргументы и факты». Но я и так бы его узнал сразу. Я сказал, что здесь недалеко живет мой друг и мы можем у него поговорить. Он был скован, и мне все время хотелось ему сказать, чтобы он не волновался так, что я не враг и так далее. Но я боялся, что от этих слов он разнервничается еще сильнее. Так мы и дошли молча до Мишиного дома.

Говорили мы на кухне, пили чай. Миша внимательно все произносимое слушал. Женя рассказал нам по датам о событиях, которые произойдут в этой стране. После наиболее невероятного факта, изложенного Женей, Миша не выдержал и взволнованно спросил у Киселева: «Так что же, через полтора года не будет советской власти здесь, Женя?»

Киселев достаточно спокойно, негромко сказал, что «да, ее не будет больше. К этому идет все, и Михаил Сергеевич (Горбачев) тоже». Киселев произвел на меня впечатление очень осведомленного человека. Откровенность его с нами, посторонними людьми тогда, мне не ясна до сих пор. Интересно, что он не ошибся ни в одном из своих предсказаний. После того, как Женя ушел, простившись совсем раскованно и, вероятно, поняв, что мы никакие не журналисты из США или, там, Англии, а обычные русские евреи средних лет, удивленные происходящим в СССР не меньше его, а осведомленные намного меньше его, мы поговорили с Мишей. Он был потрясен услышанным и спросил у меня, буду ли я писать на эту тему. Я сказал, что, наверное, буду. «Кому это все может быть интересно?» – подумал я тогда скептически, но вслух не сказал ни слова.

«Ты обязательно должен будешь написать об этом», – сказал мне Миша. «Обещаю сделать это рано или поздно», – сказал я ему. Я считал, что еще смогу изменить свое мнение по этому поводу. И вот теперь, через столько лет, я выполняю то, что обещал сделать тогда в Москве Михаилу Айзенбергу.

Это было не первое мое прикосновение к большой политике.

Летом 1975 года после курса молодого бойца я служил в так называемом Доме солдата в Иерусалиме. Я ожидал начала армейского курса, на который меня распределили. В качестве де-

журного я контролировал вход в это здание, сидя за столиком в вестибюле. В начале августа (числа я не помню), в 8 часов утра в иерусалимский Дом солдата зашли два человека. Один из них был в военной форме, а другой – в штатском костюме с распахнутым пиджаком, в белой рубашке без галстука. Издали я сразу узнал их и, хотя не сразу поверил своим глазам, но поднялся и встал по стойке «смирно». Военный был генерал-лейтенант израильской армии Мота Гур, тугой, стянутый, плотный человек. Штатский был премьер-министр Израиля – Ицхак Рабин. Никого с ними не было поблизости, ни охраны, ни секретарей, никого. Они приблизились ко мне, направляясь к лестнице на второй этаж. Я отдал честь. Они подошли ко мне. Гур смотрел поверх меня, и было понятно, почему. Это был знаменитый человек, который взял со своей десантной дивизией Восточный Иерусалим и Храмовую гору во время Шестидневной войны 1967 года. Рабин тогда был начальником генерального штаба. Они стояли совсем близко возле меня. «Ну, что, солдат, ты откуда приехал?» – спросил меня Рабин. Иврит я понимал еще плохо тогда, но Рабин говорил медленно. Голос его был низкого тембра, очень сильный. «Из Ленинграда», – сказал я. «Хорошо», – сказал Рабин. Мы немного поговорили еще. Рабин спросил, не обижают ли меня в армии? Я сказал, что «нет, не обижают». «Все в порядке у тебя? Помощь не нужна?» «Спасибо, господин Рабин, не нужна», – сказал я. Мне было двадцать восемь лет ровно. Гур мрачно молчал на протяжении всего нашего с Рабином разговора. От Рабина немного пахло виски, что делало его еще более привлекательным для меня. Он был расслаблен и доброжелателен. Было восемь часов утра. «Смотри, если тебе что-то понадобится, ты позвони мне по этому телефону и свяжись со мной», – сказал он. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака дорогую авторучку и написал мне номер телефона из шести цифр. Я поблагодарил его и спрятал бумажку в карман.

Рабин закурил, и они с Гуrom небыстро пошли на второй этаж, где находился некий зал заседаний, где с шести утра бегали официантки в солдатской форме и куда раньше занесли в большой картонке купленные на рынке Махане-Иегуда, напротив, бурекасы – слоеные пирожки с сырной начинкой. Бумажку с номером телефона я долго хранил, несколько раз порывался позвонить Рабину, но смущение не позволило мне, к счастью, этого сделать.

Днем позвонил Женя Сабуров и сказал, что пришлет машину за нами, которая отвезет нас на ужин. Миша поговорил со мной, и мы договорились на половину шестого.

Перед тем, как на улице стемнело, пришел, протиснувшись во входные двери, шофер Евгения Федоровича Сабурова по имени Геннадий, сутулый человек с тремя свежими батонами в руке. Эти длинные батоны чудесно пахли печеной мукой. «Вот, прикупил шефу, австралийские», – сказал Геннадий, уверенно посмеиваясь. Он водил служебную машину «Волга» Евгения Федоровича, которая была окрашена в черный цвет. Евгений Федорович находился тогда на подходе к пику своей политичес-

кой карьеры. Он ожидал нас с Мишей в своей квартире, где-то в московской слякотно-ледяной, иссеченной дождем, дали, почти в сорока минутах автомобильной езды. «Я бы, наверное, здесь водить машину не смог», – подумал я необязательно, глядя на неровные завесы грязной воды от гонящих напропалую советских машин. Гена только побряхтывал, включал шумные дворники, и сам решительно наезжал на лужи, пуская по сторонам красивые косые волны в метр с чем-то высотой.

Дом был из серо-белого кирпича, четырехэтажный, ново-советской постройки, окраинный. Обсаженный голыми деревьями в ряд. Параллельно дому стояли другие, похожие на него строения. Можно было их спутать в малоудачный день. Сабуров жил невысоко, с балконом. Сидя боком, он курил трубку в гостиной за столом, пуская пахучий английский дым, был энергичен. С нами сидела его старенькая мама, которой меня представил Женя сам. Я сказал, что приехал из Иерусалима (она кивнула в знак своего согласия с этим фактом), что живу я неплохо, что политическое положение наше стабильно-устойчивое. «Да?» – спросила меня мама Сабурова. «Да», – сказал я почти уверенно. Сын перевез ее из Ялты в Москву.

Мне и Мише хотелось услышать от Сабурова подтверждения дневных прогнозов Киселева, но разговор на эту тему не получался. Мы многое хотели услышать от Евгения Федоровича, но эта тема нас интересовала тогда более всего. Евгений Федорович посмеивался, курил трубку и говорил обратное тому, что рассказал нам Киселев. Потом Миша сказал мне, что «Сабуров, наверное, осведомлен, но его прогнозы никогда не оправдываются, никогда и никакие». Сказал это Миша без какой-то там злости или сарказма. Просто констатировал между делом, без улыбки, общеизвестный факт. Жена его согласно кивнула. А дома у себя, за столом, Евгений Федорович был шумен, высказывал претензии к Мише, который принимал их снисходительно и молча, боя не принимая. Скандал получался односторонним, неловким.

Многого я не понимал в раскладе сил между ними, но поведения Евгения Федоровича не одобрял категорически. Но было все же и еще многое, замечательное, в тот вечер, зеленая бутылка английской водки, стихи хозяина, читанные вслух, расспросы, воспоминания о Лене (Иоффе), о каких-то малоизвестных мне героях их молодости, опять стихи. Пришла дочь Евгения Федоровича с мужем. Все было очень насыщено и плотно. Скандал стих. Простились почти мирно, без явных ссор и обид. Давешний Геннадий отвез нас домой. Была половина второго ночи, резко похолодало, в черной тишине шел густой медленный снег, засыпавший даже Садовое кольцо, и поворот направо в Мишин переулок Геннадий сделал как настоящий большой мастер вождения – плавно и естественно двигая руками, плечами и рулем после длинного плавного торможения, во время которого машину не занесло ни на сантиметр.

Илья Байбиков

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАКО

Запахнув полнеба, облако,
Как крыло, – размах, полет,
Черных пальм глубокий обморок,
Муэдзин поет.
Лунный свет зеленой слякотью
Скучные холмы облил,
Винограда сладкой мякотью
Жажды я не утолил.

ДЕКАЛЬКОМАНИ

Как войлочные тапочки, о смерти
Напомнила мне ранняя весна,
По-старчески венозна и заразна.
Упившись солнцем в слякоть, стынет город,
Весь посеревший, мокрый и больной.
Асфальт шершавый, как язык спросонок,
И капает, и дует рыхлый ветер,
И в черной оспе сахаристый снег,
И Мандельштам, как ангел непутевый –
Нахохлившийся бравый воробей.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Город – граненый стакан в подстаканнике.
Кружится ложечка. Масляный снег
В войлочных тапочках, липкий, как пряники,
Бродит по улицам – ищет ночлег.
Подслеповатый, ложится он начерно,
Мокрый асфальт прикрывая крылом.
Вот и трамваи уснули, укачаны –
Малые дети с железным нутром.
Город отстал, как часы привокзальные.
Стрелка продрогшая тычется в шесть.
Звездочек шестерни – осы астральные –
Первого снега колючая шерсть.

ТУМАННЫЙ ВЕЧЕР

Усы троллейбусные искр
В туманный вечер бросив горсть,
Поплыли медленно и скрылись
Бесследно, как английский гость.

ДЮНЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

После дождя горчичного цвета песок
Ломкой коркой, которую, след оставляя, босою
Так приятно продавливать, чтоб ощутить, как носок
В теплый кварцевый прах окунается вниз головою.

ЧЕХОВ

Чехов с устрицами в Ялте.
Что-то с дамами. Чахотка.
Ветер с моря гонит небо
Голубое в облаках.
Солнце то меня заметит,
То за домом ищет что-то,
То опять выходит в сад.
И тоска еще острее
С устрицами и с лимоном.
Томик Чехова у дамы
С папироскою в зубах.

НОКТЮРН

Может, это еж, накачанный, как мячик,
Ночным кошмаром
До размеров Земного Шара,
Свернулся калачиком.
Может, это сизая колючая щека отставного майора
На смятой убитой подушке.
Майор поеживается от холода
Под тонким сиротским одеялом,
Ему снятся – сын, уехавший в город,
Так и не разгаданный кроссворд
И лай умершего Мухтара.
А может, это черный еловый лес,
Как лошадь в ночном,
По пояс в белом тумане,
Еле заметно переступает с ноги на ногу...

ОСЕННИЙ НАТЮРМОРТ

Венозный мрамор. Ягода рябины,
Как пульс, расклевана проворным воробьем.
Из козьего копыта воду пьем
Мы мертвую, как вопль ястребиный.
Осенний звук, стремящийся к нулю,
Повисший в воздухе ажурной паутиной,
Душистых яблок крепкое «люблю»
Под серый дождь и ржавые сардины.

ВЕЛОСИПЕД

Упругий ход велосипеда
Наматывает на звезду
Промасленную цепь. Я еду, –
Созвездье взято мной в узду.
Над головою млечным морем
Ночная жизнь во все края.
Фонарик освещает в поле
Дорожку. И над ней паря,
Лечу. И тихо, как кузнечик,
Стрекочут спицы по траве, –
Туман взбивает быстрый венчик.
С полынью ветер в голове
Мешает мысли – горько, чисто.
И время встало как во сне.
И празднична, как трубочиста,
Работа там, на высоте.

ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ СОН

Паровоз, пыхтя и толкаясь,
В переднике из железа,
Дымя своей папиросой,
Тащит куда-то вагон.
А там, через поле – усадьба,
С французским налетом измена,
Муж, бросив все, уезжает,
Беспомощно вскрикнул клаксон.
Вишневое деревянное горло
Архангела Гавриила,
Как граммофон, исторгает
Чайковского-или-шансон.
Русские дачники в креслах
Вяло листают газеты,
И на них не спеша нападает
Послеобеденный сон.

Алиса Тринько

ЖИЗНЬ НАША

СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ

1

Старый пес Дик в солнечный майский денек спал на асфальте у подъезда своего дома. У Дика не было хозяина, хотя кто-то зарегистрировал, «узаконил» его, когда отлавливали по дворам бродячих псов; кто-то оставлял для него кости в высокой траве газона под окнами. В этом смысле можно было считать, что у него был свой дом, двор, где он обитал.

Дик не был породистой собакой, но и не совсем дворняжкой, а, скорее всего, неудавшейся помесью, следствием случайной любви, тем, что знатоки терминологии именуют: «выродок». Уши его, правда, торчком стояли, и морда, напоминающая хорошую, благородную породу, имела выражение понятливое, немного растерянное; лапы, правда, безобразные были, худые, узловатые, и в сочетании с вихляющей походкой вызывали ассоциацию с женщиной, имеющей широкий зад и чересчур тонкие ноги. С годами в глазах у Дика появился скепсис.

Он достиг того возрастного периода, когда становится, грубо говоря, «на все наплевать»; и, хоть сие может показаться странным, это дало ему право на некоторое добавочное уважение и снисходительность со стороны окружающих.

Она подбежала к нему, невесть откуда взявшись, словно с неба упав, – Дик краем уха слышал впоследствии, будто ее привезли откуда-то издалека, с севера, – обнюхала его, юная и чистокровная, и не отошла, а ему – ему! – приветливо махала хвостиком, как бы приглашая в наивной, невинной радости щенячьей, в которой, однако, уже можно было разобрать кокетство пробуждающейся женственности, – вернуться на жизненный пир, для нее для самой открытый во все стороны! Хозяйка рядом стояла, терпеливо ждала, держа спущенным поводок.

Но в тот раз старина Дик только лишь приподнял от пыльного асфальта сонную голову и недоуменно посмотрел на нее.

2

Дик часто видел ее после этого первого знакомства. Она выходила гулять с хозяйкой или с мальчиком и, как только спускали ее с поводка, бросалась к Дикю, если случался поблизости, как к старому знакомому, с неизбывной радостью и, попрыгав около него, повилыв хвостиком и обнюхав спереди и сзади, уносилась дальше бежать по своему маршруту.

Надо отдать должное: она была очаровательна! Вся, как уголек, черненькая, с длинной, чуть завивающейся на концах шерсткой и мохнатыми, кривыми лапами. Со лба ее свисали грациозно-кокетливо пряди, из-под которых мерцали влажно черные глаза. И рост ее, как говорят, льстил мужчинам: ей было суждено во всю жизнь оставаться маленькой.

Осень пришла; а за ней – зима с ее собачьими бедами: голодом, холодом и волшебными голубыми снами, от которых можно было не проснуться. В ту зиму сильные морозы стояли. В конце их умер в соседнем дворе молодой пес Филя, отмороживший лапы. А старина Дик пережил и эту зиму.

Собаки почуяли весну раньше, чем люди, когда она еще только приближалась, и из-под земли, из-под сереющего хрусткого снега понеслись неистребимые запахи слежавшейся травы и человеческих и собачьих испражнений. Знакомица Дика носилась кругами по пустырю, делая прыжки и шумно втягивая воздух мясистым, черным, ноздреватым носом.

А в мае вот что случилось: стареющий пес Дик потерял голову из-за своей черноволосой знакомицы. Ее звали Дези. Очаровательное имя, да?

Он не давал Ей проходу. Плелся по пятам, опустив хвост, когда Ее выводили гулять, и в широко раскрытых его глазах стояло почти человеческое выражение удивления, испуга и радости. Иногда Она и хозяйка уходили далеко от дома, через шоссе. Это был новый район города, окраина, неподалеку от Окружной; там, за шоссе, оставлено пока было людьми нетронутым поле, пересеченное кривыми тропками, овражек с ольховой рощицей, а вдали, у горизонта, зубчатой стеной темнел лес.

Дик следом за ними дорогу перебегал, суетливо перебирая лапами, переждав сильно несущийся поток автомобилей. Ах, если бы понимал человеческую речь, то услышал бы в свой адрес сетования хозяйки, говорившей, чуть не плача, что приставучий этот пес им испортил всю прогулку! Но все же останавливала мальчика, когда тот норовил, подняв с земли, швырнуть в Дика камнем или палкой.

Угроза, даже всего лишь зримая, была действенной. Стоило мальчику занести руку с камнем над головой, как Дик отбежал на несколько метров, но продолжал уныло преследовать их издалека, выдерживая безопасное расстояние.

Днями целыми он дежурил у подъезда, ожидая Ее выхода. И даже когда одна, без Нее, по своим делам выходила хозяйка, Дик и за той, за одной, шел следом, прямо за быстро мелькающими по земле пятками ее, пока та не заходила в магазин или не садилась в автобус, а он стоял и смотрел растерянно через окно. Прохожие на улице оглядывались, а однажды незнакомый мальчик счел нужным сказать: «Тетенька, за вами собака идет» – «Я знаю!» – отмахнулась, как от чумы, от Дика.

Сама же возлюбленная его, казалось, не понимала произошедшей с ним перемены, не оценила вспыхнувшего чувства. По-

прежнему она была равна, приветлива с ним; пожалуй, нежна. Но, попрыгав около него и повилив хвостиком, уносились следом за хозяйкой и уже больше не оглядывались на Дика. Увы, по всему судя, Ей чужда была и непонятна темная бездна его желаний.

Но любовь совершила чудо. Старый пес Дик вновь ощутил красоту и притягательность жизни. Живительные соки побежали по дряблеющим жилам почти что с юношеской силой, и для него теперь были и этот луговой простор, и запахи июньского разнотравья, и закаты за лесом.

3

Лето дремотное остудило его пыл. Была тут, надо сказать, замешана дворовая дебелая сука Манька, с которой теперь он проводил время. Вдвоем они грелись в высокой траве газона и глодали оставленные кости, а когда выбегала на прогулку Она, вставали оба и трусили к Ней, обнюхивая спереди и сзади. Манька нисколько не ревновала; мало того, она сама то и дело оставляла его, отсутствуя по нескольку дней, чтобы принять участие в любовных оргиях со сворой таких же бездомных, верховодил которыми громадный, серый, весь в парше, пес-вожак. Даже в покровительственном ее отношении к Дези чувствовалась мудрость наставницы; может быть, даже нерастраченный инстинкт материнства.

Минув год. Снова пришла весна, и болезнь дала рецидив: Дик снова обезумел от любви. Но теперь дело приняло более опасный оборот: Она поняла его, наконец; ответила – ответила! – на его чувство. Темная бездна его желаний стала доступной и для Нее. О, она готова была, юная и черная, и прекрасная, ответить на его страсть, разделить ее с ним, и для этого унеслась неожиданно от ничего не подозревающей хозяйки в одно прекрасное утро с ним на другой конец двора.

Дик был покорен, оглушен, почти раздавлен выпавшим на его долю счастьем. Но оно продолжалось, как это нередко бывает со счастьем, считанные лишь минуты, пока разъяренная, с криками, размахивая брэнчащим поводком, не подбежала к ним хозяйка, да и не успело счастье это завершиться ничем значительным. Она сама, очень уж опьянев от весны и любви, носилась, играя с ним, и не давала надолго приблизиться к себе.

После-то спохватилась и рвалась к нему с поводка, выворачивая шею, и сладострастно приседала, подставляя ему черный косматый зад, как, он видел, делала это Манька перед громадным серым псом-вожаком, но было поздно! Ее больше не отпускали с поводка и волокли от него, волокли...

Бедный Дик снова бродил за Нею хвост в хвост, и ни угрозы, ни крики на него не действовали, даже замахиваний мальчишка не боялся он, только мужчина, сам хозяин, решительно швырнувший в Дика большой палкой, заставил его убежать, ковыляя, прочь.

Снова днями целыми он дежурил у подъезда и следом за хозяйкой ходил, провожая в магазин и на автобус. Старый пес совсем потерял голову и – знак высшего обожания, – когда Она, не так, как другие собаки, задрал лапу и пошло раскорячась, а элегантно присаживалась, подняв кверху хвостик наподобие елочки, по малой нужде, Дик подбегал, шустро перебирая узловатыми лапами, пока не успевала впитать земля, лакал из темной, теплой, пахучей лужицы.

Влюбленные стремились друг к другу. Ах, в самом деле, что нашла Она в стареющем псе-выродке?!

Ее вскоре увезли куда-то, и они не виделись с Диком несколько дней. Коварные планы людей имели и тот расчет, что чувства должны были остыть в разлуке. И так и вышло. В один из дней, проснувшись, приподняв от пыльного асфальта сонную голову, Дик ощутил перемену в себе, оттого что любовь ушла.

В самом деле, сколько можно было испытывать чувства старого пса! Но это было грустно. Он был вновь одинок, совсем один, даже дворовая сука Манька исчезла куда-то с весны. Он был одинок и свободен.

И когда через несколько дней вновь увидел Ее и хозяйку, преспокойно возвращавшихся с гулянья, выходящих из-под арки, – Она неторопливо переваливалась на косматых, кривых лапах, – Дик не ощутил ничего, ничего.

Они приближались. Старый пес стоял в нерешительности у края газона с высоко выскочившими из травы разноцветными ромашками. Вот, допояв что-то про себя и доосмыслив, равнодушно, боком повернулся он к ним обоим, зевнул широко, во всю пасть, так что видны стали редкие зубы и вихляющий розовый язык и – ах, как в ту минуту он был похож на всех мужчин! – не смущаясь нисколько трогательностью и драматичностью момента, задрал в их сторону заднюю лапу и...

ТАЛОНЫ НА СЕНТЯБРЬ

Все мы, небольшой, преимущественно женский, коллектив редакторов отдела информации о зарубежных изобретениях, сходились во мнении, что сравнительно недавно, год с небольшим, работающий у нас внештатный переводчик Левочка Флешман – чудаковатый, но милый парень, а главное, квалифицированный специалист. Хотя Розочка, которая была его непосредственным куратором, под горячую руку иногда распекала его и даже как-то сказала в сердцах о его работах, дескать, ей не нужен подстрочник, «тем более бездарный» – добавила строго; Левочка смолчал, но не обиделся, он, как и все мы, понимал, что сказано «для красного словца», на самом деле мы ценили Левочку. А когда у него пропал кейс с нашими рефератами, – то ли потерял, то ли украли, – сама Катюша бежала, чтобы восстановить оригиналы, а это дело хлопотное;

впрочем, кейс Левочке через неделю вернули вместе с содержимым, там ничего, кроме бумаг, не было.

При очередном переоформлении внештатников заметила дотошная Катюша, что Левочка не такой уже «парень»; ему оказалось тридцать семь; на вид можно было дать меньше; вечно бегом, вечно косматый и расхристанный, но, в общем, вполне приятный и любезный был молодой мужчина, с длинным улыбающимся ртом и лучистыми близорукими глазами.

Мы, во время долгого присутственного дня, между делами, которых при нашей издательской работе было достаточно, не чуравшиеся любимого женского занятия «перемывать косточки», среди прочих приходивших к нам внештатников не обходили вниманием и Левочку, посмеиваясь над этой его манерой влетать к нам в комнату, – красный, взмыленный, тяжело дышащий, – удивлялись и его пристрастию принимать участие в многокилометровых кроссах по Москве – мы до него об этом и слыхом не слыхивали, – а также сдавать регулярно донорскую кровь. Последнее, впрочем, скоро разъяснилось.

За сдачу крови давали отгулы. «Мне нужны свободные дни», – пояснил Левочка. Ну, это-то нам было понятно. У нас, кроме присутственных, были так называемые «библиотечные» дни; и даже шла за право раза два в неделю работать дома периодически возобновляемая как бы война с нашим начальством. Заведующий отделом был у нас полковник-отставник, любимой поговорочкой которого было строевое: «Чтобы служба медом не казалась!»

Подоплека же наших домашних дней связана была с тем, что здание института официально и давно признано было аварийным; оно помнило, по легендам, времена нашествия Наполеона! А перед самой революцией тут был... ну, неважно. Домашние дни были как бы традицией для нашего института; и в этом Левочка был, что называется, «наш человек». Ну и что говорить, способности к языкам у него были феноменальные. Мы узнали, что кроме нашей, французской редакции, он берет переводы в английской, а позже овладел и немецким, который начал «с нуля»!

Тут наложились события. Нашу редакцию объединили с немецкой, и наша начальница Вера Евсеева, редактор-химик, стала общей заведующей. В немецкой редакции работали одни дамы, как и мы, «интересного возраста», недаром про наш институт кто-то из остряков заметил: «Одно бабье-е-е», – с французским прононсом. Ну, у нас-то был свой мужчина; тоже полковник-отставник Пал Палыч, бывший внештатник. Розочка заметила как-то меланхолически, дескать, «мы военизируемся». Так вот, одна из немецких дам вскоре ушла на пенсию, и освободилось место. Встал вопрос замены; а такие вопросы у нас решаются, ох, как непросто. Можно сказать, что новеньких брать боялись. Сложилось уже свои традиции, установившиеся коллективы...

Короче говоря, не помню как, прознали мы, и далеко не сразу, что наша Вера Евсеева «обхаживает» Левочку. Вера вообще

дама скрытная; пожалуй, исключение она делает и чаще всего делится, как ни странно, с Катюшей, которая работает у нас старшим техником и пользуется особым доверием начальницы. Хотя, кажется, что тут скрывать? Шаг этот, с Левочкой, единогласно нами был принят, и показался нам разумным и своевременным, и соответствовал негласной установке брать в штат преимущественно мужчин – ввиду переизбытка дам. К тому же, известно нам стало от Левочки, что недавно он уволился из своего «ящика» секретного, а про новое место работы явно «темнил», и рабочего телефона не давал, и дома в Малаховке телефона не было, так что, если задерживал он срочные работы, – что случалось, – то Розочка с выпученными глазами бегала по редакциям, допытываясь, кто и когда в последний раз видел Левочку, и что тот при этом сказал?!

А уж когда он проговорился, что работает теперь в Доме пионеров, ведет какой-то кружок, тут вовсе впали мы в недоумение: что за работа, посудите сами, для молодого и перспективного мужчины с двумя высшими образованиями, языковым и техническим?

Словом, все складывалось к тому, что Левочка должен был, как говорится, уцепиться за наше предложение. Однако не тут-то было. Обхаживания Верины пока не имели успеха. Он впрямую не отказывался и доводов никаких не приводил, но – жался, мялся, мекал, краснел и явно мучился непонятными нам сомнениями. Молчал, как партизан на допросе. Потом уж и мы к уговорам подключились. Вера Евсеева, дама настырная и упорная, потихоньку водила его то в отдел кадров, то к заведующему. И, наконец-то, слух прошел, что Левочка поддался на уговоры. Нет, ну, у нас и дни домашние, и зарплата! Позже сам он позвонил домой Розочке, как куратору и вообще близкому человеку, и доложил, что подал заявление. «Ну и прекрасно!» – искренне сказала Розочка.

Однако дня за три до своего предполагаемого выхода на работу Левочка снова взбрыкнул и буквально огорошил нас сообщением: «Вы меня все равно не возьмете! У меня дядя в Израиле!» И опять мы впали в полное недоумение: причем тут вообще дядя, и какое нам до него, собственно, дело? Если намекал Левочка на пресловутый «пятый пункт», то это и так не было для нас секретом.

А если, к тому же, проанализировать кадровый состав института нашего, то станет очевидно, что к проблеме этой, пятого пункта, у нас и раньше подходили весьма либерально, и это тоже, если хотите, было традицией. Тем более, что уже вовсю шла перестройка так называемая, и то, что раньше было нельзя и под запретом, теперь стало как будто бы можно...

Словом, на Левочкино нервное заявление мы отреагировали никак; молча пожали плечами.

И наступил-таки давно ожидаемый день, когда мы узнали, что Левочка, преодолев сомнения, вышел на работу к нам, правда, не в нашу редакцию, естественно, а в немецкую, это недалеко от нас по коридору. Правда и то, что видеть мы его теперь стали едва ли не реже, ввиду сложности расписаний наших домашних дней; ча-

ще других с ним встречались теперь Вера Евсеева и Катюша, они отсутствовали на работе только раз в неделю, и от них-то имели мы сведения, что у Левочки все нормально, он пришелся ко двору, как говорится, а с чего бы, собственно, ему и не прийтись, такому любезному мужчине, среди милых и симпатичных дам? Сообщила Катюша, что он бегаёт довольный и радостный.

Да, перестройка. Потихоньку и у нас кое-что менялось. Сменился директор института; а это, согласитесь, событие; и вслед за этим сразу же, право, словно кто-то испугался чего-то, всему коллективу института, от уборщицы и до заместителя директора, выдали денежную премию в размере оклада с туманной формулировкой, дескать, «на лечение». «Все больные, что ли?» – и тут съехидничала Розочка. Были еще слухи о разных, будто бы незаконных, фондах в бухгалтерии... Ну да бог с ним, дали – и спасибо.

Стали мы называться теперь по моде: НПО совместно с ППП «Патент».

С домашними днями не было больше проблем; уволился заведующий отделом, полковник в отставке, оставив вместо себя руководителем очаровательную заместительницу свою, Наташу К., японистку.

Да. В довершение всех сыпавшихся на нас благ, нам выдали еще талоны на бесплатное питание в нашей институтской столовой, на месяц. Потом, сказали, дадут еще. Каждый талон на тридцать копеек. При этом разрешалось на них брать почему-то только вторые блюда. А кормят у нас, надо сказать, препашиво. Своей кухни нет, блюда привозят откуда-то невкусные и, вдобавок, остывшие. Но, несмотря на все это, выстраивалась теперь в нашей столовой длиннее обычного очередь. На халяву, как говорится, и укусы сладкий.

Немного времени прошло, и как-то сама собою, быть может, даже одновременно в нескольких головах, зародилась мысль: нам надо Левочку теперь женить!

Кажется, чего проще при дефиците остром мужского пола в нашем институте. А невест хоть отбавляй, и ходят они, сердечные, по полутемным коридорам, по полам с обшарпанным пластиком, длинноногие и длиннокудрые, худощавые и пухленькие, блондинки и шатенки, крашенные «под седину» и фиолетовые, на любой вкус, раскованно и ярко, по теперешней освобожденности нравов, одетые и раскрашенные; словом, напрашивается сравнение: как елочные игрушки.

Возраст же жениховский Левочка даже перерос, так что... Надо сказать, что появление его в коллективе не осталось незамеченным. Интересы были.

При мне зашла к Катюше поболтать молодая дамочка с волосами, именно крашенными «под седину» и, между делом, задавала наводящие вопросы относительно Левочки, пояснив «для сведения», что интересуется она не для себя, а так, кое для кого. Но Катюшка вредная, приняв каменный вид и перебирая на своем

столе бумаги, имитируя крайнюю занятость, цедила сквозь зубы односложно: «Нет. Не знаю. Не знаю». Сидевшая при этом Розочка даже возмутилась и подробно разъяснила все даме: нет, не женат, и не был женат, и детей не имеет. Живет с мамой и братом под Москвой, в Малаховке. А когда дама ушла, попеняла Катюше: «Ну, зачем ты так?» Но оказалось, что у Катюши были свои основания. Короче говоря, она сама лично занялась этим вопросом и уже присмотрела подходящую кандидатуру для Левочки. А надо сказать, если Катюше что-то взбредет в голову, то разубедить или отговорить ее – бесполезно стараться. Выходило по-Катюшиному так, что дело это уже было почти решенное, и у Левочки в институте, намекнула, уже была избранница.

На фоне всех этих изысканий просочилось неожиданное и смутное веяние, из которого следовало, что у Левочки не все благополучно в той редакции. Ну, взялся он за работу круто, именно по-мужски, и со знанием дела. Первым делом перелопатил внештатных переводчиков и даже кое-кого уволил, в основном, из тех, что ходили с незапамятных времен и для кого наш институт, по ироническому выражению Татьяны Александровны, был «кормушкой». В общем, провел «чистку». Да еще, по молодости и неопытности, не посоветовался ни с кем. Проблема поиска квалифицированных переводчиков всегда у нас была острой.

Мы даже объявление давали в газету, и люди пришли, но, как бы помягче сказать, – не те. А Левочка догадался повесить объявление в Научно-технической библиотеке, где сам был читателем, и к нам тогда сразу пришло несколько весьма приличных специалистов.

А когда однажды Розочка, проходя по коридору, случайно услышала обрывок разговора, как одна из немецких дам энергично говорила другой: «Когда он уйдет, мы все сделаем, как было!» – то, поняв, о ком речь, решила срочно поговорить с Левочкой. Поймать его было ничуть не легче, чем когда он был внештатным переводчиком, но настырная Розочка все-таки исхитрилась ухватить его за полу курточки, когда он только что пришел и уже опять убежал. И пока объясняла ему уже не раз говоренное, что место это, работа, подходит для него, и что перспективы есть на будущее, поскольку и на начальственных должностях у нас работают преимущественно женщины, и многие уже «на возрасте», пока излагала ему довольно многословно и, казалось, что убедительно, – Левочка стоял перед нею, буквально вжавшись в стенку и вытянув руки по швам, часто-часто моргал, глядя куда-то вбок большими близорукими глазами, кивал, ерзал на месте, до неприличия явно показывая, что очень спешит, и, главное, совершенно ее не слушал; то есть, до такой степени было видно, что доводы Розочкины его, ну, нисколько не интересуют, что слова буквально стали застывать у нее на языке, и, в конце концов, она, в полной растерянности, отпустила его, при этом тень Левочкина мгновенно истаяла за углом коридора; а Розочка, вернувшись в комнату и сев за свой стол, будучи в легком шоке, даже никому ни слова не сказала о маленьком этом инциденте, настолько все выглядело неприлично.

Уже потом как-то в разговоре Татьяна Александровна спросила Веру: «Сколько же он у нас проработал?» – «Полгода!» – выпалила Вера, не задумавшись, словно давно уже посчитала.

Потому что настал день, когда Веру позвали к телефону, и сидевшая рядом Катюша, по привычке незаметно наблюдавшая, скосив глаза, за лицом начальницы, увидела вдруг, как оно, лицо это, вытянулось, и Вера заговорила на повышенных тонах, раздраженно бросив: «Ну, вы хоть два месяца-то отработайте!» – на что на другом конце провода, видимо, такое отвечали, – тут уж все мы обернулись и увидели, как Верино лицо пошло красными пятнами, глаза выпучились, и она, пробормотав что-то невнятное, швырнула трубку и, ни слова не говоря, пулей вылетела из комнаты. Немного помедлив и приняв загадочную мину, как она это умеет делать, среди общего недоуменного молчания Катюша выплыла следом за начальницей.

Уже на другой день, когда все мы были в курсе событий и пребывали по этому поводу в меланхолическом и даже, можно сказать, в подавленном настроении, сразу поняли, о чем идет речь, когда Катюша безо всякого повода заявила: «А все равно он – хороший человек!»

Тут Розочка заворчала, дескать, с чего это ему вдруг стать нехорошим, просто, – развила тему, – у нас у всех, у всей страны, вследствие долгой обработки мозгов и перманентной угнетенности – извращенные представления о нормальных вещах. Но тут Пал Палыч наш взвился; он, напротив, узнав о скорейшем Левочкином отъезде в Израиль, очень рассердился, но до этого молча пыхтел за своим столом, не принимал участия в разговоре, а при этих Розочкиных словах даже вскочил и закричал, что, дескать, пусть уезжают, туда им и дорога! – и прямо перед носом у сидевшей сбоку от него Розочки руками махал, и даже ножкой затопал, так что она вместе со стулом потихоньку отодвинулась, а немного позже, когда в обед пошли с Татьяной Александровной на Пятницкую, вспоминая ситуацию, насмешничала: «Таня, я думала, он меня стукнет!»

Я, впрочем, думаю, что, может быть, причиной особенной Пал Палыча ажитации было также то обстоятельство, что он еще в это утро не успел посетить магазинчик в начале Большой Ордынки или рюмочную, что на Пятницкой, потому что уже на другой день, когда зашел Левочка к нам в последний раз проститься, – Пал Палыч был с ним мил и чрезвычайно любезен и ручку пожал, привстав со стула.

Я думаю даже, что и ему, как всем нам, жаль было терять Левочку, был он такой смешной и симпатичный и в наше неласковое время задел, мелькнув мимо, наши сердца.

Так все произошло стремительно. А Розочка не успела и повидаться с ним перед отъездом, она была в домашнем дне. Катюша рассказывала потом, какой он был в этот последний день, «в такой кожаной курточке!».

И кейс свой вечный из рук не выпускал, буквально к себе прижимал.

Обсуждая на другой день все эти мельчайшие подробности, похихикали насчет того, что там у него, наверное, были выездные документы.

Такая уж наша жизнь, и мы ее знаем. Хотя сейчас и перестройка, и с проблемой выезда уже не так «глухо, как в танке», как при советской было власти, но все же эти оформления, документы, если с ума и не сведут, то кусок жизни у человека отымут, поневоле будешь к сердцу прижимать.

И снова сказала Катюша, что она «все равно» к нему хорошо относится, и еще пожалела о том, какая у нее была на примете хорошая и подходящая для Левочки девушка.

А Розочка, выходя в обед вместе с Таней на Пятницкую, поглядев с мостка через канал, что у Балчуга, прищурясь, на длинные хвосты очередей, тянущиеся по всей улице от магазинов, – там вермишель дефицитную дают, там рыбу, а там за стиральным порошком, пять пачек в одни руки, семьями стоят, – заметила без связи с разговором, видимо, отвечая своим мыслям:

– Не думаем совсем. Когда-нибудь про нас скажут: «Жили, как придурки!»

Стояла осень ранняя. И шли они в тот день не в бега по магазинам за дефицитом, а, наоборот, за приобщиться к старине и традициям в церковь Всех Скорбящих на Большой Ордынке, но не там, где магазинчик был, куда хаживал Пал Палыч за предметом, как говорится, первой необходимости, а подальше.

А Катюша, та отправилась на Пятницкую и, к одному из хвостов подойдя, спросила, что дают.

– Лосьось, – сообщила женщина, стоявшая крайней.

– Что, огуречный? – подумав, переспросила Катюша, решив, что «лосьон».

– Нет, рыба, – отвечала женщина.

За молоком тоже вся Москва, которые информированные, мотались в ничем не примечательный магазинчик на Ленинском проспекте, очередь с шести занимали, сама лично носилась на первый поезд метро в домашний день, по пять пакетов в одни руки, зимой на улице долго мерзли, а что делать? Иначе будешь без молока. И, главное, никакой патриотической или какой-нибудь другой идеи во всем этом не было.

Очередь, если не как в Мавзолей, я извиняюсь, но все же.

К весне тогда Егор Гайдар бардак этот весь похерил, за что российская публика до сих пор на него негодует и имечко его периодически полощет. Да. Тут уже не до культуры стиля. Действительно, как придурки.

Возвращаясь же к нашим, собственно, уже заканчивающимся небольшим событиям, можно припомнить, что вскоре после того, как мы все узнали, и Вера Евсеева вылетела из комнаты, а через некоторое время, вернувшись, звонила своей заместительнице, благополучно пребывавшей в домашнем дне, а та долго и громко хохотала в трубку над новостью, так что нам, сидящим рядом, было слышно, в один из дней заглянула к нам в комнату дама из немец-

кой редакции и вызвала в коридор Розочку. Они, оказывается, решили у себя предложить начальству не брать никого на место Левочки, а поделить его ставку между сотрудниками, то есть между всеми нами. Она пришла посоветоваться именно с Розочкой, работавшей по той же тематике, что и Левочка. Дама эта вообще была энергичной, а сейчас – особенно напориста, причин собственно, не было отказываться, и Розочка, помешкав и слегка стушевавшись, больше от неожиданности, дала согласие. Другие тоже были не против, один Пал Палыч наотрез отказался в дележе участвовать, доходчиво пояснив, мол, «всех денег не заработаешь» – и добавил, помолчав, – «еще за ту беременную...» – он тут имел ввиду Танечку Мишаеву, которая вот уже полтора года как была в послеродовом отпуске, ее ставку мы тогда делили, и в том дележе Пал Палыч участвовал. Ну, каждая из нас при этих его словах подумала, что Пал Палычу с его военной пенсией плюс к зарплате, может быть, и хватает, а нам грех от лишних денег отказываться.

И уже после Левочкиного отъезда несколько дней его ставку, то бишь работу, кто сколько будет делать, обсчитывали, целые таблицы составлялись... Вера Евсеева писала служебную записку.

Уходя от нас, оставил Левочка на столе своем червончик, как водится, ну, там, на торттик, дамочкам чаю попить, извинившись при этом, что сам не смог купить за нехваткой времени. И талоны эти, по тридцать копеек, на вторые блюда на сентябрь месяц неиспользованные – рядышком положил. Самому-то ему они ни к чему теперь были, а так, глядишь, кто-нибудь и покушает.

НА МОСТИКЕ-РАДУГЕ

1

«А мы их всех по морде чайником...»

Словно в ночной мгле, когда черное небо сливается с тихо плещущимся морем, бесшумно огромный корабль, у которого некто невидимый и могучий обрубил якорную цепь, продрейфовал с потушенными огнями и спящей командой неведомо куда в открытый океан, без руля и без ветрил, – огромная страна, покинув тихую гавань, устремилась в неразгаданную даль.

Странные времена, веселые, иногда страшноватые, на грани абсурда, наступали и отбегали, как волны; в том, что происходило в стране, проступало нечто иррациональное, но оно не сейчас родилось, а скрыто было от взглядов непричастных, как будто бы существовали до этого здесь две не соприкасающиеся одна с другой стороны жизни, как две половины луны, одна из которых всегда освещена солнцем, а другая – в тени и холодна.

Погубленная семь десятилетий назад страна словно задержалась в конвульсиях; и еще: все, что происходило вокруг, напоминало или позволяло предположить аналогию с прокручиваемой в обратном направлении магнитофонной лентой: зима, го-

лод, разруха, НЭП... Но все было как бы в уменьшенном масштабе, не так трагично, слегка размыто и временами в чем-то даже не очень серьезно; немножко смешно.

Зима пришла, одна из первых зим перестройки, ранняя, снежная, морозная, красивая; в черном вечернем небе грозно сияла, переливаясь красным и голубым, большая звезда. Люди с пустыми сумками брели по улицам. Магазины плотно забиты были выюцимися зигзагом очередями, где стоявшие близко напротив друг друга в соседних витках в надежде дождаться куска масла в четыреста граммов, столько отпускалось в одни руки, или пакета со свежей рыбой, а стояние было долгим, – поневоле знакомились и, быстро обретая общие темы, делились проблемами и соображениями.

Розочка вышла из Гастронома на Большой Бронной, где она простояла в очереди за вермишелью. Из винной очереди перейдя, за нею встал невзрачный мужичок, поинтересовавшийся:

– Майонез есть?

– Не знаю, – вежливо ответила Розочка, – я стою за вермишелью.

– Извините, – сказал мужичок, – я не хотел вас обидеть.

Она вышла, все еще улыбаясь. У входа в Гастроном розовощекий плотный одноногий инвалид повторял радостно: «Бутылки сейчас на восемьдесят рублей у меня купили!»

По плохо освещенной и пустынной улице навстречу Розочке бежала молодая женщина в каракулевой шапочке и, поравнявшись с ней, доверительно спросила, кивнув на Гастроном:

– Что там дают?

– Вермишель, – сказала Розочка.

Женщина хмыкнула тихонько и, заглядывая в темноте в Розочкино лицо, спросила еще, понизив голос, с опаской:

– Говорят, голод будет?

– Не будет, – кратко ответила Розочка. Она бы, конечно, не удержалась от комментариев, но ей трудно было говорить: она вставляла зубы.

– Что? – переспросила женщина.

– Не будет, – повторила и пояснила туманно: – Голод трудно организовать технически.

Женщина, однако, кажется, поняла, хмыкнула еще раз, громче, и побежала дальше.

А когда сахарный песок, водку и сигареты стали выдавать по талонам, и сразу же появился в народе анекдот про песок в пустыне Сахара, то Розочка, выходя из дому для поисков еды и увидав во дворе вечно там обретавшегося пенсионера Иван Семеньча, бывшего гэбэшника, а теперича председателя правления, который эти самые талоны жильцам раз в месяц выдавал по квартирам, – возвращалась домой именно за ними, талонами, которые всегда забывала. Водкой и сигаретами тоже не брезговала, это была теперь «валюта», которой расплачивалась летом за ремонт приобретенного в деревне ветхого домишки, и однажды, полную сумку набрав «Беломора», на себя и на сына, по тринадцати копеек за пачку, едва отошла от киоска, к ней сбоку откуда-то подвалил мужик и попросил

хрипло: «Вы не выручите меня?». Покосившись, увидела сперва зажатый в заскорузлых пальцах просившего мятый рубль, – такса за пачку, – а после лицо его, бледное и какое-то измученное, нестарое, умоляющие голубые глаза и взъерошенные волосы. Поколебавшись секунду, вынула из сумки и дала ему пачку. Он все протягивал рубль. «Да ладно», – отмахнулась Розочка. Деньги вроде и ни к чему тогда были. Все было дешево; и нигде не было ничего.

Начался НЭП с появления в продаже предметов изыска. Дамы из института, где работала Розочка, бегали через Москворецкий мост в ГУМ за корейскими вазами. Вазы были, в самом деле, красивые. Розочка тоже не устояла и купила две: себе и сестре.

НЭП начался и увеличивался, но магнитофонная лента дала сбой: она не вернула огромную, заблудившуюся страну ни, – как думали некоторые, потому что тогда и думали, и кричали, собираясь кучками в подземных переходах и на площадях, и читали за поем прессу огромные массы людей, – к разогнанному некогда большевиками Учредительному собранию, ни, тем более, к блестящему российскому «серебряному веку» перед самой революцией, как надеялись грезившие о возврате прежней России... Огромный корабль с потушенными огнями медленно дрейфовал к неизвестным вовсе берегам; взбесившийся компас показывал направление куда-то в сторону Новой Зеландии.

Потихоньку один за другим знакомые нам уже обитатели комнаты окнами на Кремль, где внизу под окном на фонарном столбе сидела, нахохлясь, и вертела длинным носом ворона, помнившая времена нашествия Наполеона и видевшая зарево горевшей Москвы за рекой, тоже дрейфовали каждый к своему берегу, подчиняясь, как говорится, велениям времени.

Первой уволилась слабонервная Розочка, не выдержавшая перестроечных намеков на повальное сокращение пенсионеров. Увы. Они пришли в эту комнату, когда им было по тридцать два; Пал Палыч только пришел позже.

Состав маленькой редакции почти не менялся. За Розочкой следом тихо слиняла Таня. Но, если Розочкино будущее было неопределенности, то Татьяна Александровна именно уходила на заслуженный отдых, имея на руках удостоверение ветерана труда, дававшее некоторые преимущества (Розочка в свое время справить себе такое не удосужилась), а также имея мужа-профессора, перспективного зятя, роскошную квартиру в элитном районе, машину, дачу по Савеловской дороге; также дочь ее имела машину и квартиру, отдельно от родителей, и маленькую Софочку, и все были благополучны, устроены, веселы, белокуры и застрахованы практически от любых политических или иных перемен.

Пал Палычу же, который не собирался пока увольняться, ему еще и возраст его мужской не вышел до пенсии, не считая военной, – пришлось-таки уйти после довольно пасквильной одной историйки, о которой как-то и рассказывать неохота, но уж раз начала... Говорили после, что и раньше бывали на него сигналы и из официальных учреждений, я имею в виду вытрезвитель, но

покрывало бывшее начальство, полковник, тоже отставник, приятель Пал Палыча, шума не делали. Мы об этом не знали, то есть о сигналах, но о прочем догадывались, а проницательная Катюша с ее народной, то бишь, энкаведешной, мудростью и привычкой смотреть в корень, прямо заявила как-то, что в термосе объемом Пал Палыча вместо чая с травами, который ему готовит Светлана Николавна, налит коньяк. Ну, мы тогда сочли высказывание это за невыдержанную Катюшину шуточку и похихикали.

Короче, пришла днем внештатная переводчица-химик Галя Черкасова, принесла срочные работы и нашла дверь редакции запертой. Галя Черкасова спустилась вниз в компьютерную, взяла висевший на вешалке запасной ключ и попыталась открыть, но дверь не отпиралась. Она попросила кого-то помочь, еще немного повертели ключом, подергали, после чего со всей очевидностью стало ясно, что дверь приперта изнутри. Дело было к вечеру. Немногие присутствовавшие как-то стусевались и рассосались. Галя Черкасова оставила работы в компьютерной, и инцидент был бы замят, если бы ей не пришла в голову ужасная мысль. Дело в том, что замок был хитрый, и сейчас уже нельзя было иначе проверить, то ли дверь отперта, то ли заперта, как только отодвинуть то, что изнутри ее держало. Гм, да. Случившаяся при этом Розочка, которая теперь, в новом качестве, тоже, как и Галя, работала внештатницей в своей бывшей редакции, попыталась по внутреннему телефону позвонить, и, действительно, Пал Палыч взял трубочку, он был-таки там, но нес заплетающимся языком совершенную околесицу, не врубался в ситуацию, не слушая уговоров Розочки, пытался даже описать достоинства и возраст, по всей видимости, с ним находившейся дамы, словом, Розочка в конце концов положила трубку, при этом глаза у нее стали круглые. Молча разошлись, положившись на авось. Ну, и по закону сволочности он-таки оказался запертым, и к полуночи протрезвев, но не до конца, не нашел ничего лучшего, как позвонить домой теперешней нашей начальнице, после ухода полковника, милейшей Наташе К., по позднему времени, естественно, нарвавшись на ее мужа, и пожаловаться, что его заперли. Конец истории туманен. Известно только, что утром его отперла пришедшая с ключами уборщица и встретила идущим домой в неурочный час ничего еще не знавшая Вера Евсеева, отчего глаза у нее тоже стали круглые.

На последовавшее любезное предложение Наташи К. подать заявление Пал Палыч отреагировал как мужчина. И остались от нашей редакции только Вера Евсеева, которую вскорости «слили» с кем-то, и Катюша, ее вовсе перевели в другой отдел.

С полгода помыкавшись на пенсии и нерегулярно выплачиваемом гонораре за переводы, устроилась по знакомству Розочка в роскошный супермаркет на Садовом кольце, принадлежавший, по новым перестроечным порядкам, богатым арабам, стеклопротирщицей, так именовалась официально ее должность, на какую ее рекомендовала та самая переводчица-химик Галя Черкасова, уже полтора года там работавшая уборщицей в книжном отделе.

А знаете, не самое плохое было время! Розочке нравилось выходить утром из метро в центре Старой Москвы, недалеко от переулка, где жила в детстве, проходить мимо ряда мелких лоточников, торговавших всякой всячиной, – там даже был один настоящий индус, с огненными глазами и в чалме, стоявший в паре с русской девушкой у лотка, на котором пестрели груды самоцветов, бусики, кулоны, перстечки из поделочных камней. После, закончив утреннюю работу, еще до открытия магазина, собирались уборщицы в закутке за раздевалкой продавщиц и с удовольствием обсуждали мелкие покупки, сделанные утром, и разные разности. Уборщиц в супермаркете было много, работа была тяжелая, хотя и платили арабы хорошо; отношения между собой у пролетарок были, в немалой степени, из-за этого последнего обстоятельства, душевные, а интеллигентки, Галя и Розочка, обзавелись приятельницами из публики попроще; остальные уборщицы подобрались приезжие, почти все из Павлова-Посада.

Розочка работала неполный день, только до двенадцати; и, надраив поутру стекла автоматических дверей, – основной пост ее у входа в супер, – ожидала, пока к ней неспешной походкой, тоже закончив утренние хлопоты на дворе и участке улицы перед магазином, подойдет дворник-интеллектуал, внешностью похожий на Квазимодо, широкий, низенький и даже, кажется, чуть-чуть горбатый, хотя дефект этот был скрыт навьюченными на него обычно одежками, с крупными чертами некрасивого лица и манерой говорить, позволяющей поначалу заподозрить в нем немного маргинала, впрочем, начитанный был мужчина, большой знаток и любитель, в особенности, российской истории; обеспеченный, к тому же, он зарабатывал полторы ставки и вдобавок раз в неделю, по средам, замещал другого рабочего, своего приятеля, рвал в подвале у лифта использованные упаковочные коробки.

А в день зарплаты так же неспешно шел в соседний книжный, покупал книги по истории и уговаривал купить Розочку, тоже большую любительницу исторической литературы. Иногда между ними бурные споры случались – по политическим событиям – во дворе магазина, на солнышке, или даже перед автоматическими дверями, если Розочка запаздывала их надраить.

«Умом Россию не понять!» – кричал дворник, слегка даже подпрыгивая и наскакывая на Розочку под изумленные взгляды прохожих, на что Розочка иногда, не сдержавшись, возражала негромко: «Понять ее можно только жопой». Так вот и жили.

В учетной карточке ОВИРа при оформлении документов для выезда на постоянное место жительства из России так и было написано у Розочки в графе «специальность» – по последней записи в трудовой книжке: «стеклопротирщик», чему она немало радовалась и, может быть, хихикает, вспоминая, до сих пор.

Милая светловолосая продавщица Надя из отдела сопутствующих товаров на втором этаже, попросившая Розочку протереть стекло витрины, наблюдая за ее работой, сказала: «А я смотрю: отчего это стекла стали ж и в ы е?». Дамы из администрации ма-

газина тоже ласковы были с Розочкой, отмывавшей жалюзи в их кабинетах. А какие богатые подарки персоналу дарились к праздникам, на Новый год и к Восьмому марта!

Перед новогодними праздниками в особенности бывало в огромном, роскошном магазине и тепло, и уютно, и сказочно красиво, несмотря на валивший из серых туч крупный снег и на валом валивший в супер народ с нескончаемой грязью и талым снегом на подошвах; в такие дни уборщицы не выпускали швабру из рук, и Розочка, проходя мимо Гали, замечала поощрительно: «Трите, женщина, трите!». Она залезла с лестницы, ведущей на второй этаж, на крышу внутреннего киоска, мыла ее, после чего устанавливали на эту крышу нарядно убранную елку с разноцветными лампочками, раскладывали кукол и плюшевых зверей, развешивали мишуру и хлопушки.

Закончив утреннюю основную уборку, работницы вспомогательного отдела надевали форму «для выхода»: синие нейлоновые халатики с белой отделкой и такие же фартучки.

Да, не самое плохое было время. Возвращаясь домой после физической «зарядки» в середине дня, садилась Розочка за пишущую машинку.

Жаль было уходить из уютного, красивого, теплого душноватой теплотой людской, «хлебного» места, которое, скорее всего, должно было стать последним местом, куда надлежало ей каждый день приходиться к раннему часу, а если вдруг задержится или, не дай бог, не придет, то начальник вспомогательного отдела Михал Михалыч, очень шустрый маленький мужчина, которого искали обычно сразу на всех этажах, избегается, и будет спрашивать, не звонила ли она кому, и беспокоиться будут, потому что работа ее, хоть какая, но нужна.

Подала заявление об уходе, когда выездная виза уже стояла в загранпаспорте. Лишь сейчас рассказала немного про свои дела только Гале Черкасовой. Та заинтересованно слушала.

Нет, ну можно, конечно, как угодно подробно и в соответствующем психологическом ключе высветить причины и следствия и отразить сомнения и колебания, которых, может быть, и не было. Решение уехать пришло к ней сразу, можно сказать, что для нее для самой неожиданно и внезапно, словно озарение. То есть, пока сидели еще тесной компанийкой в комнате окнами на Кремль, и старожилка-ворона воровала у них с подоконника завтраки, ничего такого не приходило в Розочкину многовариантную голову. Даже когда в «большую алию» и с большой семьей уезжала приятельница Лена с четвертого этажа, она была постарше Розочки возрастом и чином, и сказала: «Ты поедешь со мной!». А Розочка только поглядела ей в лицо и промолчала, возражать не стала, хотя знала, что никуда не поедет, даже мыслей об этом не было.

Что до вопросов, часто потом ей задаваемых, типа: «Расскажите, как у вас все вышло, как вы решились?!» да «Что вас подтолкнуло?!» – то Розочка их терпеть не могла и, широко улыба-

ясь, отвечала радостно: «О! Это слишком длинная история!» – неизменно слушатель при этом как бы пугался даже, может быть, не столько длинноты истории, сколько почему-то именно Розочкиного взгляда веселого и этой улыбки, и поспешно, понимающе кивал и на продолжении не настаивал.

Был очень солнечный зимний день. У Розочки только что заканчивалась февральская простуда, болела она недолго, но довольно тяжело и, в первый раз выйдя из дому сегодня, думала только об одном – чтобы сил хватило, потому что слабость очень даже чувствовалась, дотащить до института, надо было сдать срочные работы. Прошла туда-обратно по Пятницкой, и у метро Третьяковская, уже по дороге домой, поглазев на ярко сверкавший золотом на солнце купол колокольни Всех Скорбящих, сделала шагок, другой в сторону Большой Ордынки. Во время этих первых неуверенных шажков она себя еще укоряла: зачем именно сегодня идти, столько ждала, еще день-другой можно вполне подождать, но ноги несли ее вперед, и она, сдаваясь, оценила еще: «прикид» был сегодня в порядке, она одета именно «для выхода», и пуховичок, и норковая шапочка... Она даже не знала, где оно, это посольство, только, – что на Ордынке. Шла, думала: далеко ли? – и еще думала: «Если сил не хватит, если далеко, то уж точно тогда вернусь». Посольство оказалось далеко; она сразу узнала его по огораживающим решеткам и стоявшим милиционерам.

Народу было мало; дневной прием закончился; стояли лоточки с литературой для отъезжающих и так, разные болтающиеся люди вроде Розочки.

Она подошла к одному лоточнику, высокому немолодому мужчине в кожаной куртке, он казался солиднее других; полистала книжечки, купила одну, задала вопрос... Он оказался весьма словоохотливым и информированным, конечно, и рассеял мгновенно и весело ее сомнения: «Папа еврей? Да хоть дедушка!».

На этом оптимистическом заявлении потащилась обратно. До метро за ней увязалась тоже словоохотливая дама. Она уезжала с семьей, мужем, детьми, бабушкой. Узнав про Розочкины дела, заохала:

– Как же вы поедете одна?! Решительная женщина! Одной так трудно!

– Почему? – искренне удивилась Розочка. – Одной, по-моему, легче. Только о себе заботиться. («Какая роскошь!» – подумала.)

– Что вы там будете делать одна?!

(«Тоже мне забота! И нету других забот...»)

– Лягу, – убежденно ответила. – И буду лежать.

(«Два, три дня – какое наслаждение!»)

Долго, уже начав оформлять документы, никому не говорила о своем решении, что, кстати, свидетельствовало, по ее характеру, именно о том, что оно было, скорее всего, окончательным. Первому сообщила самому близкому человеку – своему сыну. Не

вдаваясь в подробности и объяснения, глядя ему в лицо, словно по взгляду ее должен был все понять.

– Израиль для меня вообще волшебная страна, – довольно туманно пояснила и, немного подумав, добавила. – Для меня самой это неожиданно. Я раньше и не думала. Вдруг как-то сразу...

Сыну было немного за тридцать. Он в свое время окончил вуз, но сейчас вписался, как многие его сверстники, в рыночную экономику. Розочка давно уж не мешалась в его дела. Он был самостоятелен, коммуникабелен; обеспечивал себя и, кажется, имел чувство меры, что крайне важно; и в согласии был с самим собой, материнская раздвоенность не передалась ему, и слава богу. Они ладили. Он, однако, явно был озадачен ее заявлением и молчал.

– Есть несколько причин, – опять-таки туманно добавила, – две-три... Начнешь думать, как решить одну, – вылезает другая. И каждой одной достаточно.

Объяснение его явно не впечатлило. Кажется, он не очень ей поверил. Тем более, что до следующего разговора на тему прошло года полтора. Все оформление заняло года два с половиной. Что называется, «долгое прощание».

Розочка тем временем продолжала работать; заканчивала разные дела.

За документами обратилась к отцу. Ему было за восемьдесят, он жил с женой в престижном районе Москвы. Он, в общем-то, привык давно к ее выходкам; но тоже не принял всерьез. Впрочем, документы принес и чрезвычайно смеялся: «Моя национальность пошла в ход!». Он пережил сталинские времена.

Она получила загранпаспорт.

– Ты не знаешь моего характера, – сказала сыну примирительно. И поспешно добавила: – Хотя зачем тебе его знать?

Он подумал.

– Съезди, посмотри, как на экскурсию. Денег я тебе дам.

– Да нет, – возразила, – там, кажется, обеспечивают... И здесь пенсия будет идти.

– Если что – вернешься!

Она помолчала. Тихо сказала, запинаясь.

– Сюда, – обвела рукой ближнее пространство, – я не вернусь.

– Почему? – спросил удивленно и тоже тихо.

Несколько лет назад они поменялись комнатами. Розочка переехала в его восьмиметровку; она и раньше эту комнатку любила; ловко установила книжные полки на край письменного стола. «Мне ничего не нужно! Только место, куда поставить пишущую машинку», – это было ее девизом. И вспоминала мужа-журналиста, раз в раздражении бросившего: «Ты можешь печатать даже на унитазе!»

Женщине дорого обходится самостоятельность. Фразу она оценила; яркая была фраза. Он вообще колоритный был мужчина, ее бывший муж. Хотя и не поняла до сих пор, что тут обидного, что на унитазе?

– Почему? – повторил сын.

– Ну, квартиру я тебе оставляю. А если вернусь (можно ли в наше время далеко загадывать), – могу в деревне жить. Или в Немчиновке...

– Деревня – это не вариант, – возразил.

Позже вечером сидела с ногами на старенькой софе, прислонясь к стене.

У противоположной стены – полки с книгами, много книг; почти все это придется оставить... пока. Свет от настольной лампы на письменном столе, очень красивой; она тяжелая, керамическая, тоже придется оставить. Множество вещиц, приносящих радость, делающих уют; делающих дом.

Который ей надо оставить. Так получилось. Рыжая кошачья морда с испуганными глазенками, выглядывающая из-под ступени чердачной лестницы, куда она залезала, когда ее выпускали погулять из квартиры. Дом.

Жизнь между тем продолжалась в растянувшийся период прощания. В едва забрезжившем рассвете неуклонно менялись берега, мимо которых дрейфовал огромный корабль то с пробуждающейся, то с вновь дремлющей командой.

НЭП продолжался; оптовые рынки у станций метро ломились от изобилия продуктов, пестрели красочными, манящими и завораживающими обертками. Люди между длинными, тесно установленными рядами ларьков бродили ошалело, не успев еще привыкнуть и поверить, – не раз и не два уже их обмануло, ограбило, подставило родное государство. С напряжением, читавшимся в глазах, каждый в уме подсчитывал, какой и на сколько он может сегодня купить себе еды.

Розочка тоже ходила между рядами в длинном защитного цвета плаще и коричневой беретке, бледная, с бледными щеками и губами и плохо покрашенными волосами, тоже считала и почему-то в голове при этом звучала вовсе не подходящая к действительности мелодия бетховенской песенки, она даже ее напевала тихонько: «И мой сурок со мною...».

Было пасмурно и сухо; грустно и волшебно. На оставшихся непокрытыми асфальтом клочках земли, газонах, пустырях, трава пожухлая усеяна была давленными ягодами рябины, которой много было в том году; говорили, что к холодной зиме.

Она уезжала поздней осенью. Пила последние кусочки времени, месяцы, недели, дни, часы... Когда-нибудь ведь все равно все кончается, – уговаривала себя, – лучше уж самой...

Все было в последний раз. Поднялась в последний раз по парадной, мраморной лестнице, встроенной в старые стены институтского здания с высокими монастырскими окнами. Медленно обошла круговой коридор с обшарпанным пластиком. Из части комнат институтские были выселены не так давно, и комнаты эти сданы в аренду каким-то маленьким организациям со странно звучащими названиями и непонятными видами деятельности. Там, однако, везде поставлены были новые двери с медными ручками, ярко светились экраны компьютеров, сидели люди в

креслах, непохожие на нас. Дом был престижным по теперешним временам. В особенности те комнаты, что выходили окнами на Кремль. Отдала последние работы; попили чаю.

С улицы тоже все менялось и обустроивалось. Со стороны набережной, прямо у центрального входа в институт, нахально теперь красовалась вывеска казино «Кабана». Стена же, что выходила в переулок, затянута была вся сверху донизу холщовой тканью в полоску. Там работали иностранные рабочие; стояла импортная техника. Незнакомая женщина остановилась около Розочки и, кивая на стену, сказала громко и строго: «Блок бы написал: «Сколько портянок можно было бы сделать из этой ткани!». Розочка долго еще потом смеялась, идя по Пятницкой: «Почему же именно Блок?!» (впрочем, потом вспомнила, что, кажется, есть где-то в «Записках» у постсоветского Блока такое упоминание, именно о портянках. Так что женщина, возможно, была права).

Последние впечатления на родине.

Перед зданием посольства на Большой Ордынке пустынно было, как в первый раз. Хотя Розочка заставляла здесь очереди весьма длинные. Она зашла просто так и купить карту страны, в которую собиралась уехать, маленькая у нее была, она хотела хорошую. И обратилась снова к тому пожилому еврей-лоточнику в кожаной куртке, заметив шутливо:

– Что, все уже уехали?

– Нет, – сказал серьезно, – на сегодня прием закончен. До часу пускают.

– А я думала, что все уехали. Да мне не надо туда, – похвасталась, – у меня виза уже есть. И билет на самолет.

– У вас уже есть билет? – он заметно оживился. – В Сохнуте заказывали?

По его совету Розочка выбрала карту с планами трех городов: Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. Что бы она делала впоследствии без этой карты!

– Ну, счастливого вам пути!

– Да нет, – улыбнулась Розочка, – мне только через месяц ехать. Я еще тут похожу...

В начале ноября выпал первый снег и за ночь покрыл тоненьким слоем проглядывавшую сквозь него черную землю. Розочка встала очень рано, когда еще висел в воздухе предрассветный сумрак, высвечиваемый у земли слабым сиянием снега, и глядела вниз на пустырь и школьный стадион, через который сын ходил в школу и где играл допоздна в футбол и зимой в хоккей. Наискось по белому покрову шла одинокая цепочка следов, слабо видневшаяся. «Уже прошли», – подумала Розочка.

Ей этой ночью приснился сон: дорога куда-то. Она опаздывала собрать вещи.

Потом – купе. И непонятно, кто с ней – муж? отец?.. Куда-то приехали; комната; вещи; все неустроенно. И чьи-то дети, двое. Алые цветы в миске. Зима, снег. Потом опять опаздывали на автобус...

2

*Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю...*

Таки Блок

Наверное, спасительная была какая-то одно время нечувствительность в дни расставания и встречи на том мостике-радуге, перекинутом судьбой между всем тем, что оставляла она, и окном гостиничного номера в Тель-Авиве, из которого видно было синее море, и на нем – далекие яхточки, белые и цветные, совсем как в телепередаче «Клуб кинопутешественников», с той разницей, что тут все было на самом деле, хотя в это с трудом верилось. И просто еще некогда было задумываться и переживать: с первых же секунд началась суета.

У Розочки не было никогошеньки в Израиле, кроме той, давно, девять лет уже как уехавшей, подружки Лены с четвертого этажа, она теперь жила в Иерусалиме и незадолго перед отъездом Розочки позвонила ей в Москву.

Побежали сразу куда-то спешно насчет жилья с новыми знакомыми, остановившимися в той же гостинице. Нарядная, тесная, людная, зеленая улица; автобус; рассыпавшиеся блестящие монетки на потной ладони; кто-то, смеясь, набрал им с ладони плату за проезд. Паника. Учреждение, в которое они прибежали, было уже сегодня закрыто. Но что-то узнали у кого-то и немного успокоились. Обрато порознь пошли, и Розочка жестоко заблудилась на предлинной, выющейся, зеленой улице; искала остановку того же автобуса в обратную сторону, но остановки не было. Господи, и ни одного русского не встретилось ей в этот первый день в центре Тель-Авива. А говорили в Москве, что всюду русские... Розочка вглядывалась в лица, подходила наугад, называла гостиницу. Ей в ответ мило улыбались и пожимали плечами. Она в полицию зашла с отчаянья и вышла в полном недоумении; там тоже только помотали головами. Да что же это?! Она уж начала подумывать о том, как ей придется день, а может быть, даже и не один, кружить по незнакомому, жаркому городу с беспечными жителями, как вдруг над самым ухом услышала: «Что, гостиницу ищите?» – на чистейшем великом и могучем! Это был уже знакомый ей маклер квартирный Саша, показавшийся волшебником. Улыбаясь, он кивнул: многоэтажное здание у моря было совсем рядом.

Солнце садилось в Средиземное море; она вышла вечером одна поглядеть на закат все в тот же первый день; когда возвращалась, быстро темнело; из дверей отеля вышустрилась маленькая старушка, легко присела на каменную завалинку у стены здания и заговорила с Розочкой по-русски.

Невеликий контингент старожиллов сохнутувской гостиницы имел обыкновение вечером собираться у широких ступеней, ведущих от входа; рядом, в конторке, восседал главный администратор Марк, колоритный мужчина с обаятельными манерами одесского уголовника, шрамом в углу губ и необыкновенного плетения крупной золотой цепью на красной шее.

Кто-то спускался из номера, подходили возвращавшиеся с пляжа, останавливались или присаживались на завалинку; подолгу, затемно, беседовали о том, о сем. Жили они тут по несколько лет в недорогой этой гостинице, имея по той или иной причине льготу, дававшую им такое право.

Сестры Лизочка и Сима отважно приехали сюда полтора года назад, младшей, Лизочке, было восемьдесят шесть, она и встретила Розочку, а Симе было девяносто; обе жили до этого в Москве, каждая в отдельной однокомнатной квартирке, были заслуженными какими-то ветеранками невесть каких еще войн (Сима имела чин старшего лейтенанта), перебрались сюда при помощи родственников, которым, надо понимать, достались обе квартиры.

Развязный мужчина в шортах, сыпавший сомнительными шутками и не раз отрекомендовавший себя импотентом, поведал однажды Розочке о сестрах, отозвавшись холодновато, мол, причастны к тем давним делам в России, Сима – та вообще работала в аппарате Берии, какие-то подробности странные говорил. Перед отъездом Розочкиным из гостиницы он на несколько дней исчез. Она после узнала, что попал в больницу, упав в обморок на улице. Веселый мужчина был тяжело болен. Когда-то он занимал важный пост. Об этом поведала Розочке представительная дама, гулявшая обычно с внучкой, а дочь дамы, иногда тоже подходившая, подвизалась неподалеку в местном борделе; это была эксцентричная особа, даже казалось, что не вполне вменяемая, с бледным лицом и легко выступавшими на щеках красными пятнами. Даму с внучкой нередко можно было видеть на пляже в обществе загорелого, сухопарого, немолодого господина, израильянина, жившего в роскошной квартире дома напротив гостиницы. Господин этот частенько подходил поздно вечером к собравшимся, угощал конфетами и фруктами. По слухам, он интересовался одинокими олимками, которых представительная дама ему, по всей видимости, и присматривала. Во всяком случае, Розочку впопыхах тоже ему представили, – господину было уже за семьдесят, – но после сорокаминутного сидения на пляже в его обществе и беседы, весьма, впрочем, затруднительной из-за полного незнания ею иврита, а также, возможно, в силу других еще причин, непонятливую Розочку в дальнейшем угощать печеньями и конфетами из коробок избегали.

Встретился раза два ей на этаже высокий чудной старик, заговоривший с ней и после первых же фраз объявивший, что успел уже по приезде тут в больнице месяц отлежать, и что-то еще толковавший о «потерпевших». Розочка посочувствовала рассеянно.

Новоприбывшие в гостинице не задерживались. Большим семьям уже через три-четыре дня маклеры, занимавшие офис тут же, в номере гостиницы, подыскивали подходящую квартиру. Розочке, едва на нее глянув, роняли покровительственно-внушительно: «А вам надо с подселением». Внушительный тон не импонировал Розочке. Она занялась поисками жилья самостоятельно.

И в один из дней оказалась в Иерусалиме у своей приятельницы Лены. У них была уже своя квартира. Дочь Лены и зять имели хорошую работу. Обе внучки выросли, младшая, когда из Москвы уезжали, только родилась; старшей, Софочке, было сейчас шестнадцать, она расцвела под щедрым израильским солнцем совершенной красавицей, высокая, стройная, узкого сложения, как у многих юных израильтянок. Стояла на огромной лоджии Розочка посреди цветов и любовалась широко раскинувшимся вокруг близко-далеким пейзажем, панорамой голых, желтоватых холмов мягких очертаний с пологими склонами, один из которых увенчивался минаретом мусульманской деревни.

Через знакомых раздобыли для Розочки телефон маклеров, Эдика и Светы. После трех дней переговоров и колебаний она согласилась посмотреть дороговатую для нее, правда, однокомнатную квартиру в одном из районов Иерусалима. Времени уже не оставалось; пора было срочно выезжать из гостиницы. Был жаркий день. Она приехала утром и долго ждала, пока маклеры ходили по другим делам, потом ожидали хозяина квартиры, когда вернется с работы; потом Розочка, безумно уже уставшая от жары и переживаний, искала дешевую столовую для олим, куда ее послала Света, но не нашла, конечно; по улицам шли сытые, довольные люди и удивленно таращились на Розочку, произносившую заученные слова на иврите, и никто из них, конечно, понятия не имел о дешевой столовой. Она поела в кафе, прикидывая, очень ли ей дорого это обошлось. Потом везли ее в машине.

Сил осмотреть квартиру уже, в сущности, не было. Хозяин был русский, приятный, пожилой, вежливый. Она все время помнила, что нельзя верить этой вежливости, ее предупреждали! Ломило сердце. Она тупо смотрела, как ловко выписывает Эдик немислимые закорючки, заполняя два экземпляра договора, и думала об одном: скорее бы все это окончилось и только бы ей не стало плохо в присутствии двух мужчин. Отдала почти все имевшиеся у нее деньги, внеся задаток за квартиру и плату за услуги маклеру. А когда ехала автобусом обратно в Тель-Авив, уже вечером, успокоилась, сердце прошло, и была полная опустошенность и удовлетворенность от снятия ноши, решения тяжелого и мучительного дела... Оставался даже день еще в запасе. На прощание с морем.

Едва в номер вошла, было уже десять вечера, Лизочка сильно стучала в дверь кулаком, крича: «Роза! Роза! Где вы были?! Мы беспокоились!». «Хорошо, – вяло подумала, – что вот уже здесь кто-то за тебя беспокоится...»

Выглянула в коридор. Поделилась новостью. Мимо проходил высокий тот, чудной старик, что лежал в больнице, и, проходя, объявил, что идет к морю; он всегда ходит купаться поздно вечером. Всем своим уставшим, потным телом ощутила Розочка скользящую прохладу моря и поняла, что именно ей сейчас необходимо. Одна бы не пошла, а в компании: «Я пойду с вами! Подождете секундочку?» – «Давай!» – охотно откликнулся старик.

Его звали Рувим. пляж недалеко был от гостиницы. Пока быстро шли по освещенной огнями кафе и магазинчиков улице и потом мимо автостоянки, он безостановочно и не очень разборчиво что-то говорил, Розочка не очень вслушивалась, занятая еще полностью своими мыслями; что-то опять упомянул о «потерпевших», и она опять подумала, что речь идет о пострадавших его родственниках или знакомых во время войны, Катастрофы.

Она сообщила ему, что сняла сегодня квартиру в Иерусалиме.

– А вы пока тут поживете? – спросила вежливо.

– Пока тут, – согласился старик, – а потом куплю квартиру, – добавил неожиданно и как-то небрежно-легко.

Розочка немного помолчала, переваривая услышанное. Старик, ну, вовсе не производил впечатления богатого человека, ни даже обеспеченного; обыкновенный, «совкового» вида старик, довольно неухоженный и обветшалый. Заметила осторожно, мол, как это хорошо, когда у кого-то есть возможность купить квартиру, и не где-нибудь, а в Израиле, где цены на недвижимость – ну, вы знаете. Он живо отозвался, сказав, что у него денег столько, что до конца жизни не истратить. Произнес он это быстро и равнодушно, глядя в сторону, и прозвучало как-то совсем уж недостоверно.

– Я же тебе говорю: я получил за потерпевших! – сказал нетерпеливо. – Ты что, разве ничего не знаешь?

Она ничего не знала. Они уже шагали по камням рядом с пляжем.

Собрались репатриироваться всей семьей, как водится. Летели сперва самолетом Хабаровск – Комсомольск. Летчик был пьяный, потом говорили.

Разбились все, жена, дочь, внук Сережа. А он выжил. «Покусочкам меня сшивали». – «Зачем?» – холодея, невольно подумала Розочка.

Чтобы жить. Компания выплатила ему, одному за всех, астрономическую сумму страховки.

– Хочешь, покажу? – сидя на топчане, задрал рубаху.

«Господи!» – замерев от ужаса, подумала Розочка.

Воздух был прохладен, а море очень теплым, как остывший чай. Рувим не купался, так и сидел неподвижно на топчане, расставив длинные ноги. Ждал, пока она, быстро окунувшись, одевалась. Так же быстро шли назад.

– А я всем деньги даю, – рассказывал легко и как бы бездумно-машинально. – Зачем мне столько? Парень ко мне приходил; разговариваем, а я вижу, ну, понимаешь, что он есть хочет. Ну, я его накормил; денег дал.

Она уже раньше подумала, что он, наверное, в подпитии по вечернему делу. Да и как не быть. Только на пределе допустимых ощущений, бывает, на человека нисходит состояние сродни анестезии; притупление чувств; защита самого организма. А иначе как пережить. Как пережить суть страшной обусловленности нечело-

веческого несчастья, обрушившегося на него, и вслед за этим и именно поэтому свалившегося на него сказочного богатства.

«Богатство» и «счастье» на иврите произносятся одинаково. Лишь разнятся одной буквой.

– Сосед у меня в номере жил. Когда он уезжал, я ему тоже денег дал. На такси. И тебе дам.

– Спасибо, – еле слышно пролепетала Розочка, – у меня есть...

В России, в деревне, в Тверской области, где у Розочки был, как уж говорилось, ветхий домишко, в котором жила в летнюю пору, мыкалась семья бывшего тракториста Витьки Цыганкова. Симпатичный был парень, работающий вроде; жена и три дочери; тракторист в деревне – фигура: землю по весне вспахать или перевезти что-нибудь; заработок всегда есть. А тут, бац, перестройка. Колхозы порушили, получилось невесть что, как по той гениальной фразе: «Хотели как лучше, а вышло как всегда!» Трактора то ли продали, то ли пропили. Не было денег кормить семью. Перебивались огородом, продавали дачникам молоко. Как-то в сенокос ехал на возу с сеном; упал, расшиб сильно башку; два дня болело. Потом прошло. А на пятый день помер. Похоронили, оплакали. Семье пенсию назначили за потерю кормильца. Выплачивали аккуратно, не то что старческие. Семья увидела воочию давно не щупанные деньги. Мало-помалу Цыганковы отъелись, приоделись даже. Бабушка Дуся Цыганкова, Витькина мать, домишко полуразвалившийся свой подремонтировала. Шла по деревне в новом халатике и полотняной кепочке с козырьком. Остановилась с кем-то поговорить, маленькая, задрав курносый нос; то, се: «Так живем. Не жалуемся, – всхлипнула. – Надо было человеку умереть, чтобы...»

Махнул рукой, когда шли по этажу: «Пойдем, покажу». Вошли в номер. Альбом с фотографиями. Вот они тут все, потерпевшие. Веселые, спокойные. Жена с дочерью. Улыбающийся мальчик с ясными, как у всех мальчиков на свете, глазами.

«Подожди», – сказал таинственно и полез куда-то. Вытащил и положил перед ее глазами немного помятый листок, чек или квитанция, сверху что-то было написано, но в глаза бросилась выписанная длинно посредине листка страшная сумма, сразу не прочтешь. Розочка не стала вчитываться, отвела глаза. Дикая все-таки была во всем этом бесчеловечность; трагедия усугублялась в каком-то срезе чувств от этого как бы счастья, разьедаемая несовместимостью покореженный, как и тело, мозг.

В день, когда Розочка уезжала, Рувим сошел вниз и сидел в вестибюле в кресле, трезвый, утренний, хмурый.

Обломки человеческих жизней, как остатки кораблекрушений, дотащившие себя до этой земли из последних сил и упавшие на нее, пригреваемые в лучах ее солнца и разлитой в воздухе благодати.

*И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой гавани все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.*

«Я не мистик, ты знаешь! Но тут, – поглядела вверх и обвела рукой, – что-то есть», – скороговоркой сказала и умолкла, не уверенная вообще, что это надо и можно говорить...

Вся семья сидела за праздничным столом, где Розочка была гостьей. Праздновали Рош-а-Шана, она уже месяц жила в Иерусалиме.

Что говорить об этом месяце! Проблемы сыпались на каждом шагу, от самых простых до самых сложных: улицу нужную найти в незнакомом, жарком городе; найти учреждение; найти почту; узнать почтовый индекс места, в котором живешь; анкету заполнить на иврите, – мыслимое ли дело?! Обращаться к прохожим, – а как без этого?! – произносить, запинаясь и перевирая, плохо еще лжившиеся на язык слова и ощущать на себе изумленные взгляды. Попались добрые люди, заполнили ей анкету.

Плакала однажды, остановившись ненадолго на солнечной стороне длинной, веселой улицы, незаметно для окружающих. И не было близких посоветоваться или хоть поплакать в жилетку. Все надо было решать самой и сразу.

А беготня по учреждениям, оформление договора, оформление документов, оформление страховки; а тут забастовка в ирии*; кончился газ в баллоне; кончились спички. Да, спички. Знакомые, – и старые, и новые, – смеясь, отмахивались: «Да везде они есть», – и держали Розочку за паникершу. Она и в самом деле была в панике: где их купить? Кругом одни маколеты**, набитые шоколадом. А как спросить? Проблема. Когда в коробке осталось три спички, Розочка подошла к проблеме серьезно и самостоятельно. Надела очки, вооружилась самоучителем и словарем и после некоторых умственных усилий составила первую свою, очень коротенькую, фразу: «Гафрурим*** еш?» – и произнесла в ближнем маколете даже немного нараспев. К ее величайшему изумлению, продавец не уставился на нее, как на чучело, а ответил быстро и небрежно: «Еш, еш».

«Ну вот, видишь, все-таки сама составила», – похвалила ее Лена.

Да, выжила. Но в первые эти месяцы она даже не видела ничего вокруг, ни пышно спускающихся по заборам кустов, усыпанных яркими цветами, ни всей роскошной экзотики, знакомой раньше только по курортам, даже не глядела на все эти пальмы, думала: потом; это – потом!

Только Старый город, стены и башни и высокая колокольня над городом, притягивая взгляд любительницы старины, вла-

* Ирия – муниципалитет (иврит).

** Маколет – бакалейно-продуктовая лавка (иврит).

*** Гафрурим – спички (иврит).

стно отодвигали все остальное и успокаивали взбудораженные чувства – на то время, что глядела. Час ходьбы было от того места, где она жила теперь, Розочка ходила в Старый город по субботам, будние дни скоро стали заняты, она устроилась подрабатывать, чтобы оплатить дорогую квартиру. Вбирала глазами впечатления, сказочную пестроту арабского рынка, завораживающую мрачность древнего храма христиан.

Голуби в выбоинах Стены плача, поглядывающие вниз на молящихся евреев.

Сидела у каменного фонтанчика, украшенного майоликой, перед башней Давида, обломил веточку масличного дерева и послала в письме Катюше, большой любительнице природы.

Сама как обломившаяся веточка была.

В предбаннике Министерства абсорбции, откуда наверх, к информационному окошку, лестница вела широкая, открытая с боков, в углу была сложена большая груда багажа, тюки, сумки, коробки, перевязанные ремнями, обшарпанные чемоданы. На переднем плане стояла большая клетка, в которой, набычившись, сидел здоровенный белый с серыми пятнами кот и настороженно ворочал покрасневшими безумными глазами. Прямо напротив, в нескольких шагах, оборотясь к груде багажа и клетке, неподвижно стоял невысокий старик, устремив на клетку гипнотический взгляд, в котором застыло безумие отчаяния. Розочка, пришедшая по своим делам, обходила, замедлив шаги, всю группу и глядела прикованно. А когда час спустя, выяснив свои дела, по той же лестнице шла вниз, то все было на своих местах: груда багажа, клетка с котом и старик. В его фигуре было что-то неестественно застывшее, подумалось, что он ни разу не пошевелился за этот час. Тут Розочка, окинув взглядом предбанник и обнаружив достаточное количество беспорядочно расставленных стульев, проходя мимо старика, вежливо ему заметила, что не лучше ли было бы ему присесть? – на что старик, не поворачивая головы и не пошевелившись, не изменив позы, но тотчас же, словно он всякую минуту ждал именно такого вопроса, коротко и быстро сказал: «Он будет орать».

А! Ну конечно, она поняла, ведь ей самой приходилось возить котов в электричке. Перепуганное, уставшее животное действительно следило чутко за малейшими движениями хозяйина, готовое в любую минуту начать дикий и непрекращающийся ор. Уже когда оно молчит, то тут будешь поневоле стоять, замерев, только б не спугнуть!

Она некоторое время еще постояла рядом, пока старик, все так же, не поворачивая головы, лишь кося в ее сторону глазом, ей рассказал коротенько свою историю. В первый раз он приехал в Израиль, прожил здесь полтора года и вернулся в Россию. Что уж там у него произошло, но только сейчас, спустя четыре года, приехал снова, и по всему было видно, что там у него уже сожжены были все корабли, не осталось ничего и никого, кому бы он был нужен и кто мог бы хоть на краткое

время пожалеть его и позаботиться о нем. Но и здесь, должно быть, у него были проблемы, из-за того, что приехал вторично, с оформлением, восстановлением ли статуса репатрианта. И, по всей видимости, и здесь у него не было никого, к кому можно было бы обратиться хоть за временной помощью, ни денег, ни жилья, только этот взъерошенный, со свалывшейся от волнений и переживаний шерсткой, не спускавший глаз с хозяина кот, единственное на свете живое существо, в нем кровно заинтересованное, – пусть хоть слабое, но все же утешение, и сил было ровно настолько, чтобы, дотащив, свалить все, что у него осталось, здесь, в единственном на земле месте, где он мог еще надеяться найти помощь.

Обломки человеческих жизней, как остатки кораблекрушений...

Через день, когда Розочка снова пришла туда по делам, ни старика, ни клетки с котом уже не было, только груды багажа, сильно поубавившаяся, все еще оставалась в углу.

«Я не мистик, ты знаешь! Но я сразу почувствовала, что здесь что-то есть...» – сказала, обращаясь к Лене, и поглядела на ее зятя. Вот более оптимистическая картина. Семья за праздничным столом. В первые годы были и у них трудности; сейчас зять Лены работал в хай-теке, у дочки тоже была хорошая работа. Показывали фото, у зятя в Америке жил отец с семьей, недавно был там в командировке и – рассказывал, наверно, обрадовавшись новому, неискушенному притом, слушателю, обо всем подряд, о своей работе, об истории Израиля и его городах. Младшая внучка смотрела мультики по израильскому телевидению. Старшая, красавица Софа, собиралась идти в свою компанию встречать Новый год и – спела на прощание для Розочки, аккомпанируя себе на гитаре, несколько песенок, сперва на иврите, со странной, нежной мелодией, а после русские и – эту, веселую: «У бегемота нету талии, Он не умеет танцевать, А мы его по морде чайником...»

Розочка смеялась. «Хорошая песня», – задумчиво сказала.

Заговорили о трудностях иврита. Розочка утверждала с жаром, что вовсе не такой он трудный! Английский гораздо труднее! Одних прошедших времен сколько!

– Значит, вы его приняли, – пояснил зять. – Я знаю некоторых, которые говорили, что у них такое чувство, будто вспоминают давно забытое.

– Что вспоминаю, врать не буду, не скажу. Я когда в первый раз эти закорючки увидела, мне нехорошо стало. Вроде иероглифов. И была совершенно поражена, когда по самоучителю вполне быстро разобралась и стала вывески читать. Потом биньянов* испугалась. И – тоже оказалось доступно и даже не так уж трудно!

* «Биньяны» – глагольные формы (искаж. иврит).

– В ульпан не ходила? – спросила Лена и придвинула к ней блюдо с фаршированной рыбой шариками. – Ты ешь, ешь.

– Спасибо. Нет, я пока сама. Хочу на какой-то уровень выйти. А то там зубрить заставят.

– Ну, ты же привыкла с языком работать.

– Ну, как, ностальгию не испытываешь? – спросила Лена. – Возвращаться не собираешься?

Розочка некоторое время глядела на нее молча. Вопрос вызвал мгновенное брожение мыслей, внутреннее волнение. Пространные доводы, впечатления, прошлые переживания выстраивались цепочками в мозгу, обламывались, перемешивались и вылились, наконец, в одну нерасшифрованную, коротенькую фразу:

– Там жить нельзя! – выпалила. – Там нельзя жить человеку. Там жить безнравственно! – и, помолчав, добавила другим уже тоном. – Конечно, по Мишке скучаю...

На рекламном щите в Тель-Авиве, недалеко от гостиницы, мальчик с темными волосами и синими глазками напоминал сына; по этому щиту она находила дорогу и задерживала на нем взгляд с нежностью.

И было еще. Ни с того ни с сего появлялись иногда перед внутренним взором быстро исчезающие картины-виденья. Места одни, без людей. Какой-нибудь участок знакомой московской улицы; старинные серебристые фонари на Большой Бронной у выхода на Тверскую; то белая церковка на пригорке зеленом среди высотных зданий Нового Арбата; упорно являлся почему-то замызганный участок Старокаширского шоссе со столбами электростанции. И из окошка деревенского домика – огородик с матовой от росы буйной зеленью разросшихся за время ее обычного двухнедельного отсутствия сорняков.

Розочка, вполне городская жительница, с тех пор, как приобрела старенький домишко в Тверской области, могла часами сидеть на корточках, выщипывая сорняки и окучивая росточки. «У меня земля хорошая, – хвасталась, – жирная, рассыпчатая. И червей много!» И, смеясь, еще говорила, что в генах у нее есть крестьянская жилка. В самом деле, у нее хорошо все на огороде росло. И еще заметила, если долго, не один час, так, на корточках, на грядках сидеть, появлялось чувство, словно едва уловимый ток разливался по жилам, по привычно напряженным нервам.

Странное и трудно передаваемое словами было ощущение, не то чтобы расслабляющее или успокаивающее; но и успокаивающее, и примиряющее. Это, – так она думала, – было влияние земли, ее дыхание. Очень слабое, не ощущаемое в других условиях, благотворное, мягко вливающееся в тело, ласкающее воздействие огромного организма. Земля звала.

*И только высоко у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.*

Юрий Левинг

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, ЧЕТВЕРТ

ПРОГУЛКИ ПО СОЛЯРИЮ

Пейзаж напоминает разобранный пазл:
смесь римских элегий и снов прокуратора Иудеи.
Взору задаться проклятым вопросом: «А где я?»
И с крупицей песка подавить набухающий в горле спазм.

Оглянись. Воскреси в голове, как всё было.
Нищего, которому подаешь ты сольдо,
лиру, сикль, неважно что; толпу, аккорды
жертвенной песни, траву подстила

на крыше храма. Можно выпустить голубей из клеток,
чтобы они унесли на кольцах сведенья об эпохе
в прошлое. Да, видно, дела в настоящем плохи,
и время застыло в посмертный слепок...

Вдали позвоночники хрупких колонн.
В ущелье припадочно бьется источник.
Восстанови по памяти складки почвы,
вспомни музей под открытым небом, склон,

где мозаику на полу топтал две тысячи лет назад
какой-нибудь раб, и вон в том кувшине
хранили кислое молодое вино. Отныне
кувшин стоит за стеклом в Берлине, и каждый рад

полапать глину, когда бы не камеры и провода.
Потому постарайся однажды постичь этот край в обзоре.
Панорама с балкона: полоской синее море
и над ним приколотая звезда.

А пока что в киоске отбей себе чек на колу
и гамбургер, отдав, таким образом, дань прогрессу.
Слижи кетчуп, стекающий с пальцев, иль оботри о прессу
в виде желтой газеты с репортажем из местной школы.

Сядь в автобус и подожди остальную группу;
заломил на затылок шляпу и прострочи все кадры,
что есть в камере, на облака, проплывающие эскадрой
над Мертвого моря соленым трупом.

ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ

Он всплыл. Так могут всплывать лишь моржи.
Клянусь Одиссеем, блуждающим ночью по звездам.
Сначала поднявшись над синей водой грудью,
прикрепленной
к носу златочешуей нимфы, затем... Вот тщетный вопрос:
«Опиши!» Все великие тайны подобны морским узлам –
не распустить, не рассудить – слишком гладко.
Подводные мифы в теплые воды уносят память.

В кают-компании на стене криво висит легендарная сцена:
Титаник, напоротившийся на неуклюжий айсберг. Теперь
это кажется чьим-то пророчеством, неуместной шуткой,
когда у него самого вогнутый бок от лежания долгого
на борту, обросшем ракушками, плесенью, разным хламом.
В черепе капитана, покоящемся под секретером –
до того как сгнил, его называли диккенсовским, –

обжилась семья пескаря; через полуоткрытые челюсти
по стебельку, который не дождал в свое время красавец,
они съезжают на променады по проспекту им. Салтыкова-
Щедрина. Там морской конек выгуливает подругу и,
сажаясь на своего конька, живописует о том, как давешней
весной он сорвался с крючка на молу, показывая любопытным
в доказательство шрам на слегка оттопыренной вниз губе.

Но корабль... Ты не поверишь. Он всплыл.
Трезвый, что твой Рембо, с разноцветными буквами
в потускневшем названии. Пена сливалась из дыр
там, где торчали когда-то пушки, мощной фонтанной струей.
Что кинул он в краю родном один Нептун, возможно, знает.
Об обшивку при спуске на воду разбивают шампанское.
Однако молчит легенда, что делают с вышедшим из воды.

ПРОГУЛКИ ПО СОЛЯРИЮ (2)

Охота на ведьм началась. Когда-то парты
разделяли нас. Но теперь ты значительно дальше.
На юге курортники вяло режутся в нарды.
Из кафе мотивчик. Почти без фальши.

Ловушка для начинающих женщин: мода на
моделей, худых, как кегли.
Дом с табличкой на окнах «Продано».
Все это напомнило Кипр, коллеги.

Что не гамак, то лежит туземка
 цвета песка, флегматично втирая в бедра
 жидкость из тюбика. Эту сценку
 я где-то видел; похоже, сценарий – содран.

Такие же пальмы, такой же пляж.
 Пена вот-вот разродит Афродиту.
 Пыльная сувенирная лавка, второй этаж
 служит гостиницей с сетками от москитов.

Вероятность тут встречи с тобой равна
 одному из ста. Остров вспомнит скорей, что на самом деле
 он вулкан и извергнется. Но я жду звена,
 чтобы соединить цепочку событий клеем,

точно амфору из-под молодого вина,
 что когда-то с тобою вдвоем одолели.

THIRA-SANTORINI

I

Чудотворец здесь не был. Максимум – чудоюдец.
 Над заливом хребет, поросший коростами блюдец:
 крыши хибар измазаны белой глиной.
 Побережье безмятежно; от того ль, что в песке спят мины?
 Остров – остывший, поданный на второе, краб.
 Гречанка волочит по узкой тропинке скарб,
 ветер бесшумно третирует вывески в припортовом баре,
 с берега кто-то кричит, обращаясь, наверное, к точке в море.

II

Вода цвета медузы, упавшей в обморок в кока-коле.
 Барку туземца, слившегося с терракотой палубы, качает
 на встречной волне.
 Навьюченный тюфяками осел дыбает за три доллара против воли
 другого осла, с фотокамерой, нацеленной в пропасть. Вполне
 возможно, это не более чем еще тюфяк, но в американских шортах.
 Когда плоское небо становится ближе, в облаках, точно память,
 витает сера.
 Диалог с фортуной возможен *post mortem*: пока же ты трогаешь морду
 уходящего века, но упираешься в бюст
 с незрячим хозяйством Гомера.

III

Солнце, сгущаясь, падает за огрызок вулкана,
 потухшего на горизонте истории слишком рано,

столь рано, что не знает уже никто: от появления времени
или стоп-крана?

IV

Сервиз, разорвавшийся в небе, упал на сушу,
так что осколки врезались в вертикальные скалы.
Под бледным фарфором, вросшим по горло в ракушник,
устроен отель, чье название таит в себе смутное эхо кораллов
или эллинского бога для моего европейского уха.
По двору тянется ветвь виноградной лозы.
Контур гор, как засечки ключа, подобравшего под пазы
само мироздание и вошедшего в скважину духа

V

левантийского, открыв в нем какую-то дверь.
У порога столетний старик, в дыре рта его дымит трубка;
он продвигает фишки; на доске инкрустирован зверь
при бросании кубика, вздрагивающий от стука.
В это время дня хочется умереть от жажды.
Кубик в клетку ложится, как на квадратный алтарь,
кувыркается, и выходит шесть. Не к добру, ибо дважды
выпадает одна и та же цифра, и небо, окрашенное в киноварь,

VI

затягивает любые входы – в дома, в гостиницу, в срез пещеры.
Над островом цифры проносятся в виде крючков облаков,
и не счесть их ни старику, ни самой Венере –
ни тем более нам, безруким, вышедшим из пены своих же снов.

УТРО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ПРИМОРСКОМ ГОРОДЕ

Кончились выборы. Рупоры надорвались.
Оглушенный дворник выметает, как белый снег,
горы плакатов, прикладывая свой палец
к синим губам, дотерзавшим уже чебурек,

чтобы свистнуть на пару чаек,
уединившихся для любви на
водостоке. В шесть тридцать утра скрип гаек
на телеге пронзителен, и цена

за чистую улицу, таким образом, слишком
высока, особенно, если вы спите на первых
этажах. Плюс плеск моря с его одышкой
и легко ступающая Минерва.

Итого – все шампанское, пролитое за одного из кандидатов, выкрикивавшего с трибуны похабное слово победы, иссохло давно, а на пляже разбросаны лишь жестянки туны

да дырки от бубликов. На часах то время, когда школьницы начинают расчесывать волос перед завтраком. Через сито капает дождевое семя, и кажется влажным далекий голос.

ОСЕНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Теплый и темный, как суп больничный, как жидкий дождь в день его похорон, мир обрывался, сливаясь вторично с контуром обморока.

Одеяло дышало, ища под собою тело. Угасшие трубки охлажденного герц-мотора. Бледный лоб был вымазан мелом, острый нос маски торчал сурово.

Биографией, всем своим белым весом, мясом о стол, протиснутый в узкую дверь, под потолком лежал, как под белым прессом, живее его теперь.

* * *

золотистым рисунком по канифасу
какой-то невиданной прописью
по капиллярам совести
мысли проплыли брассом

можно я нежно сожму твою руку?
как чайные розы случайно
растворимся и небо качай нас
теперь эта сладкая мука

трогай кончиком тонкого пальца
пьяную песню песню прибоя
волны море все дорогое
в походной сумке у постояльца

сыр хлебцы луковица пара пуговиц
скорлупа яиц видимо давний ужин
ты мне нужна ты мне тоже нужен
небо! небо сотри в нас гусениц

по-собачьи огрызаясь на новости
 время тихо даже еще тише движется
 незаметно как тень на киноплакате ширится
 захватывая ночные волости

* * *

упоительным хлором и кислой слегка земляникой
 воздух был полон и лоно ее открыто
 Но как в магазине слепая табличка «Открыто»
 за этим стояло лишь дребезжанье бутылок

и усталость, и влажные стоны и крохи
 рассвета замученного жадной полярной ночью
 а он с разборчивостью лишённого почки
 перебирал как еду в складках памяти ее вздохи

на самых громких еще заливаясь краской
 в предчувствии взглядов ее соседок
 На столе газета скелет селедок
 хвосты трусов на стуле и сборник сказок

и под рубашкой еще вздымаются шелком жабры
 вибрирует ложка в остывшем стакане чая
 и она проводница в область где вход не чаем
 по дрожащему полу ведет его в тамбур

между реальностью и незримым
 между собою и серафимом

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, ЧЕТВЕРГ

Многорёбрые крыши приморской деревни
 Выцветший полдень чихающий кран
 С достоинством уползающий таракан
 в щель ящика его доконали жара
 и лён

дребезжанье посуды в коляске с дрянью
 старьевщика или чан продавца кукурузы
 сладкой как память ни рифмы
 ни стыдно сказать анакрузы
 но плотный воздух, пропитанный чем-то древним

Владимир Ханан
ТРИ РАССКАЗА

ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ?

Только за пару лет до смерти отца я узнал, что моя семья, оказывается, чуть было не эмигрировала из России в начале двадцатых – то ли в двадцатом, то ли в двадцать первом году. Следует, конечно, поправить: часть моей семьи, ибо в рассказе отца фигурировали только его родители (половина, стало быть, комплекта моих бабушек и дедушек), он сам – в возрасте девяти-десяти лет, его младший брат Наумчик, на пять лет младше, и ещё какие-то дальние родственники, так и оставшиеся мне неизвестными. Причём собирались они эмигрировать не в какую-нибудь там Америку или экзотическую Аргентину (прецедент в семье был), а именно в Эрец-Исраэль, что мне как израильтянину особенно приятно. В том смысле, что я чувствую себя как бы выполнившим наказ, можно выразиться красивее – осуществившим мечту предков. Всё было уже, так сказать, на мази. Покинув родную Умань, наши путешественники добрались до маленького молдавского городка на берегу Днестра, противоположный берег которого в те времена был румынским, и уже через несколько дней оказались ночью в хибарке-развалюхе на берегу пограничной реки, где должен был ждать местный человек – контрабандист, взявшийся переправить их на лодке (интересна вместительность этой лодки – такая большая или за несколько ходок?) на тот, иностранный, берег. Естественно, за плату. Вот как я представляю себе ситуацию. Хибара, как я уже говорил, развалюха (пункт обязательный хотя бы из соображений конспирации). В ней, естественно, без света (из тех же соображений), группа из нескольких (восьми? десяти? двенадцати?) человек в напряжённом ожидании. Женщины, само собой разумеется, боятся. Мужчины, конечно, тоже (а то нет?), но не подают виду. Дети, которым сказано вести себя тихо, возбуждены, а может быть, просто спят, не представляя себе ни опасности, ни судьбоносности этой, казалось бы, вполне обычной ночи. Вокруг хибарки темнота, хоть глаз выколи, шум не Бог весть какой широкой и быстрой реки (однажды сам смотрел на неё три недели из болгарского села Парканы, куда приехал на заработки, и уехал, ничего не заработав, кроме отвращения к розовому сухому, впрочем, не надолго), темнота еще более мрачная – одновременно пугающая и манящая – на том берегу: Румыния!

И вот среди всего этого – всего того, что я вам нарисовал, – появляется долгожданная фигура – контрабандист. Нет, не жу-

лик – честный малый, плату должен был получить уже по выполнении работы, на том берегу, – и сообщает, что сегодня никак нельзя, надо быстро уходить: вот-вот будет облава. Сведения точные, из самого ЧК, что ж вы думаете, там ангелы работают? Вот так. И вся моя семья (да моя ли? Ведь меня ещё нет и не скоро ожидаюсь) возвращается в безымянный (для меня) городок ждать следующей (или там через две? три?) ночи. Но уже на другой день в городе очевидным образом проявляется – сразу несколько смертельных случаев – брюшной тиф, оспа, холера, выбирайте что кому нравится, я точно на запомнил, – и город закрывают на карантин. Карантин длится месяц или больше, мишпах^{*} продаёт вещи, чтобы прокормиться и на лекарства, кто-то (может быть, даже не один) умирает... И – после снятия карантина – глава мишпахи, мой любимый (значительно позже) дедушка Шаврум говорит: «Возвращаемся в Умань. Всё. Не судьба».

Дальше – проще, а, главное, меньше экзотики. Не попав в Румынию (далее – везде...), мой отец ещё года через четыре рванёт из родного дома в Ленинград, там устроится на работу, сделает карьеру в комсомоле, вылетит с работы и из комсомола как скрывший своё происхождение «из бывших», устроится на новую работу, сделает карьеру хозяйственника, выпишет к себе родителей с младшим братом, сам уедет в Углич, женится на моей маме – москвичке, родит мне сестру (гордость семьи) и, наконец, меня (в семье не без урода). Ещё одна подробность. К эмиграции, оказывается, дед подготовился основательно. Некоторый, до лучших дней отложенный капитал (не как у Ротшильда, но и не копейки), был заранее переправлен за границу. Как раз об этом факте я знал всегда (рассказала мама, больше всех сокрушавшаяся по этому поводу, – образец женской логики – в том смысле, что именно ей эти деньги не светили в любом варианте), но подробности узнал совсем недавно и неожиданно в 1995-м, приехав в Израиль в гости за год до репатриации. О злополучных этих деньгах, но уже с подробностями, рассказал мне родной племянник деда Шаврума, мой двоюродный дядя, пришедший в Израиль (тогда Палестину) в двадцать четвертом году в возрасте двенадцати лет пешком, через ту же, к слову сказать, Румынию. Выяснилось, что где-то в тридцатых годах мой дядя, молодой тогда человек, попал в тяжёлое финансовое положение и ухитрился каким-то образом сообщить об этом (30-е годы, представляете – в Россию, ужас-то какой!) моему деду, славившемуся среди родных и знакомых добротой, что я успел оценить позже – и попользоваться! И мой дед Шаврум переслал ему через Париж значительную сумму. Какую, дядя не уточнял. Мой дед – в тридцатых – через Париж! – я не мог этому поверить. Однако, здесь, уже переехав, я прочитал в газете «Вести» статью – и

* Мишпах – семья (иврит).

всё понял. По-видимому, мой дед, как и многие небедные евреи, вложил когда-то некую, надо думать, немалую сумму – для приобретения недвижимости в Эрец-Исраэль – в какую-то сионистскую контору, квартировавшую в Париже. В контору, от которой, как и от денег, ничего не осталось (так сообщила газета «Вести») самым таинственным (т. е. до сегодняшнего дня непрояснённым) образом. В итоге получается, что мой дед Шаврум оказался менее лопухим, чем прочие вкладчики, и хотя бы часть своего капитала успел передать в родные руки. Так что совсем не все его денежки, а может, и вообще ни франка не пошли на девочек из Мулен-Руж и прочие сионистские штучки. Другое дело, что мой двоюродный дядя, получив эту (в который раз с удовольствием пишу – немалую) сумму, тут же вложил её в одно очень выгодное дело. В разговоре со мной дядя утверждал, что не ошибся, дело действительно было очень выгодным, жаль только, что не для него. Просто удивительно, что из многочисленных потомков моего прадеда Хунз ни один не унаследовал хотя бы части его предпринимательских талантов. Однако вернёмся в двадцатый (или двадцать первый) год. Какой смысл во всём случившемся (вернее, не случившемся) – спросите вы, глядя на опустевшую хибару у теперь уже обоими берегами иностранной реки Днестра – усматриваю я, русскоязычный израильский литератор, сын своих родителей и отец своих детей? Прежде всего, следует сказать о главном: удайся данное мероприятие, не было бы в первую очередь меня самого. То есть, разумеется, кто-то с относительно похожей генетической структурой, должно быть, был бы, но только – относительно похожий. Будучи человеком «некриминального», как выразился один знакомый поэт, честолубия, эту тему я развивать не буду. Честно говоря, меня в этом случае волнует другое: что не было бы босоногого детства в Угличе, Ленинграда с художественной школой и хореографическим кружком Дворца пионеров (с поступлением в Вагановское, между прочим!), Царского Села с его волшебными парками – идеальным местом для пьянок и кобеляжа. Не было бы писания стихов, вольнолюбивого диссидентства, незапланированных путешествий на третьей полке, приблизительно двух сотен (или больше, но кто считает!) славянских женщин, нынешней жены, дочки, внука, Израиля, тихой пристани в будке шомера, т. е. сторожа (работать приходится в три раза больше, чем в России, – «тихая пристань», бляха-муха!), съёмной квартиры в русско-марокканской шхуне (квартале) Катамонов, Иерусалима. Насчёт Израиля и Иерусалима я, пожалуй, хватил лишнего – эти-то, похоже, как раз были бы и в первом варианте, а вот всё остальное – включая упомянутую шхуну, – всё остальное, скажем так, под вопросом.

Вариант «что было бы», мы обсуждать не будем, ибо на деле это не вариант, а море, океан вариантов, и рассуждать на эту тему пристало разве что каким-нибудь бессовестным сочи-

нителем так называемой «фантастики», а мы – увольте, не станем и пытаться. А вот в чём я себе не откажу, так это в том, чтобы поразмыслить на тему «Почему?». Почему не получилось так, как замышлялось? Вы ведь помните: подготовка была ой-ой! Продумано всё было до мелочей. И *не вышло*. Почему? И вот что приходит мне в голову.

Присмотримся: 20-й или 21-й год. Берег Днестра. На берегу ветхая хибара-развалюха. В ней – естественно, без света – группа людей (восемь? десять? двенадцать?) – еврейская семья, ждущая обещавшего переправить их в Румынию контрабандиста. Тихо. Несмотря на это, женщины, само собой, боятся. Мужчины не показывают виду. Дети спят. Вокруг хибары, и на том берегу, где Румыния, темно, небо затянуто тучами. А вот уже там – над тучами – где-то высоко-высоко, за тысячи световых лет или, напротив, совсем рядом – сидит (стоит, парит – любой вариант на выбор) сам Господь Бог, или, как принято говорить по-здешнему, А-Шем (Имя). Сидит это, значит, А-Шем и неотрывно смотрит куда-то вниз.

– Ты не знаешь, что там за хибара на берегу этого... как его? – спрашивает Он кого-то рядом, по-видимому, ангела.

«Ведь Сам всё знает, – с привычным раздражением думает ангел, – так нет, всё время надо кого-нибудь дёргать». Однако отвечает вежливо:

– На берегу Днестра. N-ские. Ждут контрабандиста. Едут в Эрец-Исраэль, через Румынию.

– Ма питом?* – рассеянно роняет А-Шем, продолжая внимательно смотреть вниз.

«Ма питом!» – про себя передразнивает ангел, но отвечает по-прежнему спокойно, с микроскопической долей раздражения:

– А я знаю? Это ведь Ты там для них намазал... этим, ну... молоком и мёдом. Вот и едут.

– Ладно, – говорит Всеведающий, – сейчас глянем, разберёмся.

Некоторое время до ангела доносится бормотанье: «Так... Дева – сирота в Москве... Ереван, Углич, этот, чёрт бы его драл, всё время название меняют... Ленинград. Так... В Арэце русскоязычных пока не надо, пусть попишет там. Что ещё? – Одного кочегара на Уткин, 2. Ага... Так...».

– Ну, вот что, – это уже ангелу, – никуда они не едут. Не время. Возвращай.

– Как это – возвращай?! – едва не срывается ангел. – Люди всё бросили. Все мысли только о...

– Кончен спор! – это Вседержитель. – Сказано – выполняй! Успеют ещё этого... с мёдом. Как вернуть – забота твоя. Ты за это амброзию получаешь и Меня лицезришь. Я сказал! – И унёсся.

* Ма питом? – Что вдруг? (иврит).

На следующий день в семь часов утра в кабинете Председателя ГорЧК известного нам городка раздался телефонный звонок. Трубка поднимается сразу:

– Слушаю.

– Это ГорЧК? – спрашивает до неправдоподобия благостный голос. – Как гражданин, лояльный рабоче-крестьянской власти, довожу до вашего сведения, что контрреволюционным элементом в город – путём заражения колодцев – занесена бацилла брюшного тифа (оспы, холеры – выбирайте, что хотите). Есть случаи заболевания со смертельным исходом.

– Ясно! – твёрдо сказано в трубку, – через тридцать минут город будет закрыт на карантин. Спасибо за сообщение, мы этого не забываем. А вы, кстати, кто, товарищ?

– Да я, собственно... Да хрен меня знает, кто! – неожиданно взрывается голос, но уже спустя секунду, успокоившись, продолжает прежним тоном:

– Понимаю... Разумеется, порядок есть порядок. Записывайте: *Доброжелатель*.

Иерусалим, 22 января, 99

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ НА ПОДОКОННИК

Эти две фотографии на газетной странице сразу обращали на себя внимание. Симпатичная девушка и пожилая женщина запущенного, мягко говоря, вида, объединённые явным, хотя и не бросающимся в глаза сходством. Подметив его, я заинтересовался текстом. Статья была об известном русском писателе, сравнительно недавно умершим и ныне – дружными усилиями «соратников» и друзей – превращаемом в икону. С этим писателем, действительно очень талантливым, я был недолгое время знаком. Когда-то мы жили в одном городе, даже недалеко друг от друга, хотя познакомились на другом конце земли. Рассказ был не столько о нём, сколько о его окружении, друзьях и знакомых, в данном случае, о женщине, изображённой на снимках. Прочитав ещё несколько строк, я понял, что тоже её знал. Знал, впрочем, мало, даже можно сказать, не знал, а разве что был представлен, и виделся с ней всего несколько раз. Это всегда бывало на днях рождения моих приятелей – ленинградских «левых», как тогда говорилось, художников-неформалов. На дни рождения она приходила с мужем, директором крупного, а если точнее, крупнейшего ленинградского музея. Его интерес к художникам был, таким образом, частью его профессии, он свёл знакомство со многими из них и даже покупал, вернее, его музей покупал у них картины. На самом деле всё было не так просто. Мои друзья художники, из которых кое-кто

приобрёл ныне международную известность, в то время властями воспринимались в лучшем случае как бездарные мазины, а в худшем, более типичном, как враги народа и построваемого этим народом социализма. Директор музея, покупающий работы художников такого рода, проявлял, помимо художественного вкуса, и незаурядное мужество, ибо серьёзнейшим образом рисковал своей непыльной, хорошо оплачиваемой и более чем престижной должностью. Само его присутствие в этом кресле было, разумеется, недоразумением, которое вскоре было исправлено: из музея его попросили. Это был, несомненно, порядочный человек, а если учесть, что он был к тому же очень хорош собой, то у любого прозорливца, – случись таковой в нашей компании, – были бы все основания для вердикта: «не жилец!». И действительно, он умер скоропостижно – молодым. С женой они составляли красивую пару. Ирина была роскошной женщиной с роскошной (а не красивой, пышной или что-нибудь в этом роде) грудью, роскошными плечами, я уверен, что все остальные части её тела, которые было позволено видеть и осязать не слишком малочисленным, как кажется, счастливым, были также, несомненно, роскошны. Пол – вот что было в ней главное. Следовало бы даже сказать – мощь пола. Это была женщина-крепость, но крепость, не сдававшаяся на милость победителя, а милостиво позволявшая себя завоевать, оставаясь при этом, – что ни у кого из окружающих не вызывало сомнения, – истинным победителем. Её муж был, как я уже говорил, красив и интеллигентен. И вот это «и интеллигентен», как и любое другое дополнение через «и»: «Красив и мужествен», «Красив и благороден», «Красив и что угодно ещё...» делало разницу между ними существенной. Он был «что-то и что-то», она была вся – одно. Его внешняя красивость, как, впрочем, и все остальные характеристики, оставались его личными обстоятельствами, тогда как её роскошность являлась обстоятельством – не побоюсь этого слова – о б щ е с т в е н н ы м. «Res, – так сказать, – publika» – да простят мне читатели подобную вольность!

После смерти её мужа – а мысль о том, что её измены эту смерть приблизили, бывала назойливой – я не раз думал, что ему, как н о м и н а л ь н о м у правителю этой *республики*, следовало бы относиться к ней, как, скажем, к статуе Кановы, мимо которой он регулярно проходил, инспектируя своё хозяйство, да и притяжательным местоимением «моя» в тот же адрес надлежало пользоваться лишь в таком, а д м и н и с т р а т и в н о м по внутреннему содержанию, смысле. Предполагаю, что чего-то в этом роде он не мог не понимать.

Художники, на днях рождения которых я встречал эту пару, писали в разной манере. Группа была пёстрой по составу – и национальному (русские, еврей, армянин, украинец), и возрастному – и объединялась по каким-то иным, не эстетическим, признакам. Остряки (в компании считали: завистники) из коллег

называли их «Группа Доллар» за умение находить и устанавливать связи с дипломатами и корреспондентами западных стран, среди которых их картины пользовались успехом и спросом. Однако, время шло, маразм крепчал, застой расползлся (можно и наоборот: застой крепчал, маразм расползлся), всё вокруг затягивало плесенью, эйфория молодости, дружб и объединений куда-то отступала, все рассаживались по своим конурам, кто-то уходил в бизнес (живописный в том числе), некоторые уезжали. В общем, последние десять лет героиню моего рассказа я не встречал. Статья в израильской газете заставила меня о ней вспомнить.

В те два-три года, когда мне случалось видеть Ирину, ей было около сорока. На одном из газетных снимков ей двадцать с небольшим. Довольно симпатичная (однако, ничего особенного) молодая женщина с короткой стрижкой и смелым, как бы нечто обещающим взглядом, – мало, к слову сказать, похожая на ту красотку, которую я знал. Её взгляд обещал определённо, пожалуй, только одно: эта женщина будет жить так, как захочет она сама, её судьбой никто другой распоряжаться не будет. Со второй фотографии, сделанной недавно, месяц-два назад, на нас смотрит почти старуха в затёрханной, пятого срока свежести, шубе, с явно не вчера (и не позавчера) мытой головой, и лицом, специфические морщины и улыбка которого недвусмысленно свидетельствуют об отсутствии сколько-нибудь комфортабельного жилья и слабости к алкоголю. Короче говоря, тип ленинградской (теперь петербургской), ещё окончательно не опустившейся, бомжихи. Вот так. Конечно, я испытал что-то вроде шока. «Боже мой! – подумал я самыми банальными на свете словами, – что жизнь делает с людьми!», хотя немалый опыт пожившего человека рекомендует эту горькую эмоцию формулировать прямо противоположным образом: «Что люди делают со своей жизнью!»

Думаю, что именно этой реакции ожидал, даже можно сказать – вызывал – автор статьи, поместив рядом две эти фотографии. Я продолжал всматриваться. Первый снимок был сделан за много лет до нашего знакомства, второй – через много лет после нашей последней встречи. Таким образом, в каком-то смысле я оказался как бы связующим звеном между ними – и, может быть, поэтому сумел кое-что понять. Нет, не вышел у автора статьи контраст, который был им задуман. Вопреки его (так я предполагаю) воле изображения героини не спорят между собой, не противостоят друг другу. На обоих снимках ясно виден один психологический тип, один характер. И даже клюке в руке у старухи, долженствующей символизировать как бы неотменяемость, окончательность падения, её роль явно не удаётся.

Нашу героиню автор нашёл у ограды Владимирского собора, где она, в ряду ей подобных, продавала с ящика, служившего прилавком, какие-то никому не нужные, Бог знает где подобранные, вещи. Дальше следовал набор – в случае мужского вариан-

та мы сказали бы «джентльменский» – типичных бомжовских приёмов: просьба покормить (два дня не ела), купить сигарет, «одолжить», естественно, без отдачи, необременительную для автора сумму. В процессе кормления автор узнаёт о нынешних обстоятельствах собеседницы: выгнанная из собственной квартиры сыном, она ночует на подоконнике в чужом доме, где её обижают отвязанные подростки и иногда подкармливают горячим сердобольные жильцы. И уже после этого разговор переходит к главному, незримо присутствующему, герою – покойному писателю. Во время чтения я испытывал разные, не интересные читателю, чувства. Могу только сказать, что среди них не было ни отвращения, ни – и это более странно – жалости. Довольно быстро я сообразил, в чём дело: оно было в тоне героини очерка, точнее, в его внутреннем наполнении. В просьбах: накормить, сигареты, деньги – не было униженности, в рассказе о квартире и подоконнике – не было жалости к себе, а, стало быть, и желанья вызвать её у других. Не менее интересно и то, как она рассказывала о своих отношениях с писателем. Вот уж где развернулись бы (и, знаю, разворачиваются) девять из десяти мужиков, особенно, в сходном положении: «Эх, бывало, мы с Серёгой!.. А потом он – вон куда, а я – эх...» и тому подобное. Ирина рассказывала о нём как о равном, причём, равном не только тогда, но и сейчас. Я не знаю, как её собеседнику, но мне было понятно, что она вовсе не считает, что разошедшиеся их дороги пошли – его вверх, а её вниз, нет: они пошли в разные, верно, но равноценные стороны. Такое отношение к жизни невозможно подделать, как невозможно подделать настоящий аристократизм. В общем, из контекста беседы читателю становится понятно, что, каким бы ни выглядело положение нашей героини в чужих глазах, ею оно осознано и принято. А вот уж каким образом эта немолодая и, наверняка, больная женщина ухитрилась в подобных условиях сохранить настоящее, непоказное достоинство – да ещё в стране, где его днём с огнём не сыщешь и у самых благополучных её соотечественников, – её личная тайна.

Как ни странно, я без труда представляю себе её, бывшую повелительницу и королеву, у ограды Владимирского собора на Петроградской стороне торгующей каким-то, найденным на помойках, барахлом, стоящую за ящиком-прилавком, опираясь на самодельную клюку. Так же, без труда, я могу представить себе принца из новорусской сказки, пленившегося ею – и вот уже бережно усаживающего предмет своей любви в шикарный мерседес, чтобы навсегда увезти в свой новорусский – за тридевять земель – замок.

В конце концов я и сам, если накоплю достаточно денег, а она дождётся меня у соборной ограды, уведу её от её паскудного прилавка (скупив оптом весь «товар»), приглашу в какое-нибудь приличное кафе, подходящее моим капиталам и её гардеробу, накормлю, напою, куплю сигарет и подарю скромную,

однако, не пустяшную сумму. Я объясню ей, что это не милостыня, а знак благодарности за то, что она напомнила мне об очень важной вещи: что достоинство человек должен сохранять в любых обстоятельствах. И хотя я знаю об этом давно, каждое напоминание в моих глазах многого стоит.

Я смотрю на две фотографии на газетной полосе, и мне кажется, что я слышу или, может быть, угадываю их диалог.

«Представь себе, – говорит молодая женщина своей визави, – у меня нет к тебе никаких претензий. Даже за эти морщины, эту шубу, я помню её только что купленной... и эту клюку. Конечно, я пока ещё мало понимаю в жизни, но мне кажется, что во мне есть серьёзная готовность принять любой, в том числе и этот, вариант судьбы. Потому что жизнь и проще, и сложнее, чем мы думаем в молодости...»

«Вот и ладушки, – отвечает вторая, – нам ли с тобой считаться: ни ты меня, ни я тебя на самом деле ни в чём не обманули... Так что у меня к тебе претензий тоже нет – ни за то, как ты жила, ни за то, где я оказалась. Жизнь – она ведь важна вся, целиком... Поэтому я не считаю нашу с тобой неудавшейся. А уж когда я перед сном выпиваю свою «маленькую», тогда и вовсе...»

Когда-то у Германа Гессе я прочитал и выписал себе в тетрадку мысль, что человек постигает жизнь одним из двух способов: праведник – идя путём праведности, а грешник – идя путём греха. Главное для человека, – говорит писатель, – не праведность, а чёткое осознание того, какой из этих путей твой, чтобы идти именно им, не путая его с другими.

Точно слов я не помню, но смысл тот.

Иерусалим, 5 июня, 99

ОБУХОВО, НА КЛАДБИЩАХ ТВОИХ

В первое лето после переезда в Ленинград семья Марика снимала дачу в поселке Славянка, по московской, в смысле направления, «Октябрьской», по названию, железной дороге. Одноэтажные деревянные дома, не асфальтированные дороги – раздолье для босых ног, каждодневные походы на речку Молоканку, которой следовало бы называться не по молоку, а по какао – таков был цвет ее воды, да нет в русском языке подходящего красивого слова. Плюс к тому, время долгих каникул между весенней и осенней учебой – вообще самое, может быть, счастливое в жизни. Родители Марика были люди общительные, часто ходили в гости, а ещё чаще принимали у себя. Как правило, собирались они в Славянке такой вот интернациональной компанией: русская пара, татарская — и там, и там,

помнится, не было детей, и – естественно – их, еврейская, с детьми: Мариком и его сестрой. Именно в таком составе поехали они в Обухово, поселок по той же железной дороге, неподалеку от Славянки. Поехали по приглашению русской семьи – на обуховское русское Преображенское кладбище – по случаю «родительского дня», то есть, дня, когда русские люди ходят на кладбище помянуть похороненных там родных.

На кладбище было оживленно. На могилах были расстелены газеты с провизией, водкой, и сидящие вокруг люди с аппетитом всё это употребляли. Также расположилась и наша компания. Общество, следует отметить, было спитое. Русская его часть пила, как положено, то есть, много. Татарская – как ей не положено, то есть, тоже много. А еврейская – в опровержение известного русского мифа о том, что «евреи не пьют» – пила не меньше собутыльников, а могла – и больше. По какой-то странной русской традиции водки всегда берется меньше, чем надо (может быть, правда, что выпивают всю – сколько ни возьми, а может, есть особый кайф в том, чтобы добавить), и через некоторое время компания всем составом пошла к магазину за добавкой. Рядом с кладбищем был магазинчик, типичное «сельпо», маленький, крашенный салатного цвета, местами облупившейся, краской, перед которым уже собрались двести сотни жаждущих. Магазинчик, несмотря на праздник, был закрыт на обед, народ ждал, нервничал, колбасился. И естественным для данных обстоятельств образом приключилась, говоря словами Зоценко, драка. Минут через пять после того, как данная драка приключилась, дралась воя площадь перед магазином. Дрались азартно, по-праздничному весело и буйно, с рваньем своих и чужих тельников, визгом женщин, но – не жестоко, без привлечения подручных средств, ногами никого, как нынче принято, не добивали. Наши дамы, как и большинство жен, довольно скоро вытащили своих мужей из потасовки, и на поле боя остались только энтузиасты, но и их пыл через короткое время увял; драка, слегка еще пополюхав, выдохлась, стихла, сошла на нет. Скоро опять установилась очередь, а поскольку, как уже было сказано, никого не убили и даже не покалечили, то очередь не только не уменьшилась, но и выросла за счет зевак и естественного – с кладбища – пополнения. Энтузиазм наших взрослых насчет добавить поостыл, да и «детям пора спать», да и «завтра рано на работу» – и компания распалась, добирались домой порознь. Всё-таки гигантское это побоище оставило неприятный след и, обмениваясь репликами насчет того, что «гоим без этого (то есть, праздничного мордобоя) не могут» – в каком-то смысле и направляемые этими репликами, – родители Марика двинулись, отец вёл, в сторону еврейского кладбища, находившегося от русского неподалеку – через железнодорожные пути. Позже об этих соседствующих кладбищах Марик напишет стихотворение. (А пока ещё до него далеко. Далек даже до стихотворения Иосифа Бродского, ко-

торое он напишет о еврейском кладбище, вошедшем к тому времени уже в городскую черту). Так Марик в первый раз оказался на еврейском кладбище. Тут можно ещё добавить, что Марик и вообще впервые оказался в месте, которое можно было бы однозначно характеризовать этим словом: еврейское. В школе он чуть ли ни все одиннадцать лет был единственным евреем в классе, ни в синагоге, ни в однородно еврейских компаниях не бывал.

Было уже поздно. На кладбище не было ни души. В ясном темно-синем небе висела яркая луна – невысоко над куполом синагоги (позже Марк узнал, что это не синагога, а дом омовений). Они прошли по центральной аллее – не далеко. Марик обернулся, увидел залитое лунным светом необычное здание, группу памятников и склепов рядом с ним, аллею – запомнил и навсегда вобрал это в себя. Вообще, о евреях Марик знал мало. «Мы, евреев...» – иногда вздыхала бабушка, привычно путая падежи. На этом кладбище у Марика не было похоронено никого из родных. Было тихо. Отец, любящий комментировать, молчал. Как всякий советский мальчик, воспитанный на Хоттабыче с Синдбадом-мореходом, Марик немало знал о мусульманском Востоке – здесь было иное. Иное, никогда до этого не виданное, непонятое, волнующее – и почему-то своё. И это своё оевало Марика особым своим древним воздухом, проникало в него через подошвы его обутых в маленькие сандалии ног.

Несколько лет после этого – до смерти деда – Марик там не бывал. Потом хоронил бабушку, потом родственников и знакомых, просто приходил на могилу проведать своих, кладбище узнал ближе и лучше.

Переезд в Израиль заставил Марика задуматься о вещах, воспринимавшихся раньше автоматически, без анализа. Родина. Что такое Родина? Что это за феномен – географический? Физиологический – кровный? Эмоциональный? Что его, Марика, родина? Ереван, где он родился (уже за это любимый), откуда его увезли двухмесячным? Углич, с которого началась его осознающая себя жизнь? Ленинград, с которого он себя помнит, или Царское Село, где были – и юность, и молодость, и первая любовь? «Отечество нам Царское Село...» – а ведь отечество – земля отцов «смуглого отрока» была не здесь, не в Царском... Почему, ступив на землю еврейского кладбища, почувствовал Марик родственность этой земли? Что за токи ощутил он, идущие из земли ленинградского, пригородного тогда ещё, поселка? Наверное, это (кладбище) и есть то, что называется «отеческие могилы», хотя собственно отеческих у Марика там ещё не было? Может быть, дело в том – подергивая себя за поседевшие и поредевшие волосы, размышлял Марик в сторожевой будке посредине ночного Иерусалима, – что тысячи и тысячи похороненных там соплеменников стали уже землей, то есть эта земля стала уже еврейской плотью, перстью, прахом,

из которого и в который... И поэтому мало думавшей ещё его голове и мало чувствовавшему его сердечку было там покойно? А в мире вокруг – нет. А то, что я впервые это почувствовал, так сказать, стопами, – продолжал умствовать склонный к этому занятию Марик, – в этом даже видна определённая логика: можно даже сказать, что это она – назовем её «логикой шага» – запустила «механизм перехода» – переезда оттуда (спустя огромное количество лет) сюда – на уже бесспорно еврейскую землю.

Ведь как закономерно, – продолжал интеллектуально занудствовать Марик, – что начальная информация идет снизу: информация почвы, Земли, плоти, – «материнское», условно, но точно говоря, – влияние. И только позже, при наличии определенной, скажем так – «созрелости» – начинает поступать информация духовная, «отцовская», сверху. Это даже наглядно, – окончательно увлекался и прозревал Марик, – знание снизу толкает человека вверх, в рост, увеличивая (до определенного предела, конечно) его тело. А знание сверху – толкает его вниз, уменьшая его плоть, пока не сокращает её до поверхности земли, за её, можно сказать, поверхность. Откуда, став землёю, она начинает питать собой следующих, опять-таки условно говоря, Марики.

В жизни человека, думается мне, нет случайностей. Всё, что с ним происходит, имеет свой смысл. Иногда он виден сразу, иногда он долгое время остаётся в темноте и проясняется вдруг, много лет спустя. И всё-таки не ищите в данном рассказе попытки увязать далеко отстоящие друг от друга факты: репатриацию в Израиль и заурядную русскую драку у магазина рядом с православным кладбищем, в родительский день летом 1954 года. Просто вспомнилось – и всё.

Иерусалим, 3 июня 1998

ОБИДА И ЗАМЕШАТЕЛЬНОСТЬ ВЕРУЮЩЕГО ЕВРЕЯ

(Размышления о странных рассказах Ш. Й. Агнона)

Нам не дано предугадать...
Ф. Тютчев

– Мы поднимаемся?
– Нет, мы опускаемся. Хуже того, мы падаем!
Жюль Верн

13 мая 1932 года в пятничном приложении к газете «Давар» были опубликованы сразу пять очень коротких рассказов Агнона: «Последний автобус», «Справка», «По дороге к врачу», «Свечи» и «Дружество». Над ними значилось обобщающее название «Книга деяний».

Вот как пишет об этих рассказах биограф Агнона, Дан Лаор:

«То, что появилось тогда в приложении к «Давар», резко отличалось от всего, написанного им прежде. <...> Первые же строки «Последнего автобуса» представили читателю рассказчика, повествующего от первого лица и никоим образом не определенного; он сообщает о стечении странных обстоятельств, лишенных, вроде бы, всякой логики; оказался он в них помимо воли – и нет у него никакой возможности воздействовать на происходящее. <...> Странная цепочка обстоятельств повторяется, варьируясь, и в остальных рассказах газетного выпуска»¹.

Далее исследователь касается сюжета рассказов и пишет о том, что Агنون впервые выстраивает повествование как набор причинно не обусловленных эпизодов, между которыми абсурдно искать какую-либо связь, и проводит аналогию с Кафкой, особенно с его повестью «Процесс». Однако Агنون, творчество которого и при жизни пытались связать с Кафкой, всячески отказывался признать зависимость собственной художественной системы от этого писателя, которого называл «не своим», зато заявлял, что охотно признает влияние Гоголя, хоть и не уточнял, в чем именно.

Мне тоже кажется, что вышеназванные рассказы Агнона по природе своей принципиально разнятся с Кафкой. Для того, чтобы почувствовать это, необходимо коснуться биографических обстоятельств ивритского писателя и постараться понять его мироощущение.

Как известно, Агنون в 1908 году приехал в Палестину, вполне проникнутый сионистским духом. Правда, его приезд сюда преследовал и определенно практическую цель – избежать мобилизации в австрийскую армию (его родной галицийский город Бучач в то время находился в границах Австро-Венгрии). У юноши были и другие воз-

¹ Д. Лаор. Жизнь Агнона. Издательство Шокена, Иерусалим – Тель-Авив, 1998, с. 256 – 257 (иврит).

возможности, например, поехать в Европу и поступить в университет, чтобы выучиться и стать «доктором наук», как шутливо писал он в автобиографическом рассказе «Хемдат». Тем не менее, полученное воспитание привело его в Яффу. Фотографии Агнона первого яффского периода изображают не лишённого изящества молодого человека в белом костюме и с зажатой в руке шляпой-канотье, а на непокрытой голове – смазанные бриллиантином темные волнистые волосы.

«Агнону тогда было почти двадцать лет, но он был невысок ростом и выглядел совсем еще ребенком, – вспоминал художник Нахум Гутман, у отца которого, писателя и педагога Симхи Бен-Циона [Гутмана], Агنون состоял в секретарях. – Я хорошо помню, как он впервые появился у нас... У него было ясное лицо без признаков загара, щеки розовые, как яблоки, привозимые из-за границы. Из-под шляпы, отбрасывающей тень на лицо, на меня глядели светлые глаза:

– Господин, твой отец дома?

Отец встретил его с распростертыми объятиями и закричал матери:

– Ривка, Ривка! Чачкес приехал!

<...> Агنون поднял свои большие светлые глаза, но тотчас же опустил ресницы и покраснел. Он сел на самый краешек стула, избегая смотреть на мать»².

Чачкес была фамилия Агнона до того, как он сделал фамилией свой литературный псевдоним. Я же предлагаю обратить внимание на следующие слова мемуариста:

«Я так подробно описываю первый визит Агнона к нам, потому что храню в сердце глубокую благодарность к нему за его отношение к маме, да будет благословенна ее память. Именно ему выпало быть с ней, когда она тяжело заболела и поехала на лечение в Тверию. Там же она и скончалась, и Агنون позаботился о том, чтобы на могиле был установлен памятник. В течение долгих лет хранилась в нашем доме открытка, которую он прислал из Тверии отцу. В ней были такие слова: "Надеюсь, что Бог зачтет мне то, как я ухаживал за Ривкой"»³. Эта фраза Агнона станет одним из ключей к странным рассказам из «Книги деяний».

Агنون не прижился в Палестине: в еврейской колонии в Яффе и в Тель-Авиве ему не хватало духа и ценностей традиции, в сельскохозяйственных поселениях – атмосферы литературного творчества, а в Иерусалиме старый религиозный ишув, не признававший сионизма, был для него узок. И пусть эти определения более чем схематичны, для наших целей они пока достаточны. Так или иначе, Агنون покинул Землю Израиля и в 1913 году уехал в Германию.

Он получил место редактора в идишском издательстве «Юдишер ферлаг» и стал профессиональным писателем на иврите. Успех ему сопутствовал, в 1920 году он удачно женился на довольно состоятельной девушке из традиционной семьи из Кенигсберга – Эстер Маркс, и у них родилось двое детей: дочь Эмуна (1921) и сын Шломо

² Н. Гутман, Э. Бен-Эзер. Меж песками и небесной синью. «Библиотека-Алия», Иерусалим, 1990, сс. 42-43.

³ Там же, с. 44.

Мордехай (1922), взявший впоследствии именем домашнее прозвище Хемдат. Агнон много читает, собирает еврейские книги, обсуждает с Мартином Бубером работу над наследием хасидизма и пишет большой роман из жизни галицийско-польского еврейства. Казалось бы, жизнь налажена. Но 6 июня 1924 году в его доме в Баден-Гомбурге разразился пожар. Сосед, выгодно застраховавав имущество, устроил поджог. Семья Агнона не пострадала: он был в больнице, жена с детьми – в отъезде, но вся библиотека и все рукописи, в частности, почти готовый большой роман, о выходе в свет которого уже объявило издательство Штыбеля, сгорели.

Агнон, ведший относительно светский образ жизни, делает однозначный, насколько можно судить по его письмам и поступкам, вывод. Он наказан за то, что покинул Землю Израиля и отказался от жизненного уклада своих предков. В октябре того же 1924 года он возвращается в Палестину и поселяется в Иерусалиме. Спустя почти полтора года к нему присоединяются жена и дети. «После того, как сгорело все мое достояние, даровал Всевышний сердцу моему мудрость – и я вернулся в Иерусалим», – скажет он в 1966 году в своей Нобелевской речи.

В Иерусалиме Агнон переходит к традиционному образу жизни, он надевает кипу, вводит кашрут, исключив полностью мясную пищу, ходит в синагогу и общается с раввинами. При этом, к неудовольствию некоторых его религиозных знакомых, он не примыкает однозначно ни к одной общине и в разные субботы посещает то один, то другой миньян.

Но удары судьбы продолжают преследовать верующего и исполняющего заповеди Агнона. 11 июня 1927 года постигшее Иерусалим землетрясение повредило его дом в Рехавии, хотя никто не пострадал, и рукописи тоже были спасены. После этого Агнон поселился в Тальпиоте.

В 1929 году на него снова обрушилось несчастье. По стране прокатилась волна арабских погромов. 23 августа евреи отрезанного от центра города района Тальпиот сгрудились в одном из наиболее крепких домов и выставили вооруженную охрану. Арабы убили сторожа, один пустой дом подожгли, некоторые другие, в том числе дом Агнона, разграбили. Какое счастье, что жена и дети были на курорте в Европе! «Итак, Эстерляйн, приходится все начинать сначала. Дом разорен, вещи украдены, а что не унесено грабителями, то разбито. Из одежды не осталось ничего, только то, что в ванной. Из столового серебра – ничего. Все, все забрали арабские убийцы. Но Господь нам поможет, и мы заживем вновь. Не печалься и не думай об этом. В такое время надо радоваться, что остался живым, здоровым и невредимым», – писал он жене 28 августа 1929 года⁴.

В 1931 году Агнон поселился в новом доме в Тальпиоте, где сейчас размещается его музей. Он лично руководил постройкой дома, определял направления сторон и старался сделать его как можно бо-

⁴ Ш. Й. Агнон. Эстерляйн, дорогая моя... (Письма к жене). Изд-во Шокена, Иерусалим, 1983, с. 154 (*иврит*).

лее неприступным. Однако погром 1929 года не прошел бесследно, Агнон словно силился понять меру своей личной причастности к тому, что произошло с ним, и когда в 1930 году его вызвали в Лейпциг для сверки корректур печатавшегося там в издательстве Шокена собрания его сочинений, Агнон не только навестил в Германии своих сестер и братьев, но и улучил время и летом съездил в Польшу, где посетил родной Бучач. Он словно хотел еще раз проверить правильность избранного пути, разыскать родных и их могилы и понять, чего ждут от него в этом мире и можно ли считать постигшие его беды неодобрительной реакцией Бога на то, что он делает.

Попробую реконструировать мироощущение автора «Книги деяний». Человек, в частности, он сам, видится религиозному еврею Агнону всегда пребывающим под недреманным оком Всевышнего. Это – кредо еврейской веры: Господь равно и неустанно взирает на все творения Свои и оценивает их поступки. Заповеди иудаизма и его устная традиция последовательно и целенаправленно заботятся о неукоснительном соблюдении евреем наказов Бога, поскольку именно так можно доказать Богу свою верность, любовь и трепет и оградить себя от напастей. Сложность заключается в том, что каждая персональная судьба и коллективная судьба еврейского народа не защищены от злоключений и трагедий. Наивная вера, а вера зиждется на определенной доле наивности, предполагает некое равновесие между поступками и степенью успешливости человека. Казалось бы, чем более праведную, с точки зрения еврейского Закона, жизнь ведет человек, тем более обоснованы его ожидания благополучия. Однако с древнейших времен религиозная мысль иудаизма пыталась осмыслить тот эмпирический факт, что «праведник – и худо ему, злодей – и хорошо ему». Какие бы примеры и рассуждения ни приводили Мудрецы Талмуда и Мидрашей в пояснение этого печального наблюдения, в душе гордящегося своей богопослушностью еврея теплится надежда, что он может избежать превратностей судьбы. Эта проблематика, в частности, содержится и в библейской книге Иова, упомянутой в рассказе «Дружество».

Агноновский, якобы автобиографический, герой рассказов из «Книги деяний», многие события в жизни которого совпадают с жизненными обстоятельствами писателя, не обладает убежденностью Иова в своей правоте. Он трепещет и сомневается. Жизненный путь видится ему постоянно обновляющимся выбором: делая шаг вперед, ты отвергаешь возможность движения вправо или влево, или покоя, или отступления назад. Аналогично, каждое твое слово и дело – лишь одна из огромного количества «упущенных возможностей» (словосочетание, употребленное Агноном еще в 1919 году в применении к оценке жизни). Наивно верящему еврею хотелось бы чувствовать реакцию Отца Небесного на каждый свой шаг, но Бог не дает простых знамений, и человеку ничего не остается, как вырабатывать в себе собственные критерии познания добра и зла. Вот этой-то рефлексией сделанного выбора и занят герой «Книги деяний». Попробую пояснить свою мысль на примере рассказа «Справка». Рассказ настолько мал, что его можно разобрать детально.

Во-первых, мы сразу видим, что при всей любви и жалости автора к герою-рассказчику, он настроен по отношению к нему весьма критически. Зачем, спрашивается, нужно было пренебрежительно охарактеризовать родича, как такого, «о котором я ни разу не слышал... из города, о существовании которого я и не подозревал». Разве для того, чтобы прийти на помощь человеку в вопросе, от которого «зависит вся его жизнь», необходимо что-то знать об этом человеке? А если тонет безымянный человек, разве, прежде чем броситься спасать, надобно узнать его имя и адрес? Ясно, что уже зачин рассказа должен побудить читателя к этической оценке героя.

Далее выясняется, что герой нездоров и озабочен состоянием собственного организма. Есть ли у этой озабоченности моральная сторона? Она дает о себе знать в третьем абзаце, где заходит речь о покорности героя судьбе. В чем покорность? Смирился ли он с властью недуга над своим телом? Нет, речь определенно идет о смирении перед необходимостью помочь родичу. Более того, семейное чувство, столь культивируемое в еврейской традиции, не позволяет даже подумать об отмене похода в министерство, хотя не может заглушить желания поскорее отделаться от неожиданно свалившегося поручения и вернуться к своей привычной рутине. Почему помянуто чувство собственного достоинства? Да потому, наверное, что сознание исполняемой заповеди питает его. Ведь в иудаизме так привычно услышать в ответ на доброе дело: «Удостоился исполненной заповеди» или «Пусть на небе это дело запишется тебе в заслугу», а здесь эти слова герой будто сказал самому себе.

Катаральные явления – вполне заурядный признак зимнего недомогания, однако почему так важно было упомянуть гротескную пыль, заложившую «дыхательные пути»? Мне кажется, речь идет о двойственной природе человека: он сотворен из земного праха, а через дыхательные пути Создатель «вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие, 2:7). Пыль, сделавшая «непроходимыми» дыхательные пути героя, словно отрезала его от Создателя, лишила связи с Ним, и мир погрузился в омраченное пылью пространство, где невозможно или чрезвычайно затруднительно отличить добро от зла. О чем будет просить герой чиновника – о справке, жизненно важной для родича, или об учете доброго дела, совершаемого им, подобно тому, как Агнон написал Гутманам о своем участии в судьбе их жены и матери Ривки?

Иудаизм, как известно, учит, что все дела людские пишутся в Книги деяний и на основании этих записей в Дни Трепета, т. е. между новолетием и Судным днем, выносится приговор человеку на жизнь или на смерть. Неготовность героя дать себе правдивый отчет в том, что привело его в серое министерство, выражена словами, завершающими пятый абзац: «если б и спросили, вряд ли бы я смог им что-либо сказать, ведь горло у меня все еще саднило от пыли». Не просто о неспособности произнести слова пишет тут Агнон, а еще и о неспособности различить истинную мотивацию поступка. И пока герой не сделает выбора, не поймет, что важнее – продиктованная гордыней покорность судьбе (ведь тот, кто с радостью берет

на себя поступок, не ощущает гнета судьбы) или желание помочь ближнему. Любит ли герой ближнего своего, в нашем случае дальнего родича, как самого себя (Левит, 19:18)? Мне, как читателю, и автору, как писателю, видно, что герой не достиг еще исполнения этой заповеди.

Ощущение того, что и во второй день все так же, как в первый, что ничего вокруг не меняется, связано с отсутствием душевной динамики героя. Он не ощутил необходимости этической взыскательности к самому себе, а следовательно, не продвинулся в самосовершенствовании ни на йоту. Аналогом ему может служить «дохлая муха», прилипшая к стрелке часов и ползущая вместе с нею.

Седьмой абзац вносит изменение: герою полегчало. Отчего? Правда, кто-то умер (*memento mori!*), но появление нового чиновника по имени Нахман Хорданкер, земляка, принесло утешение. Имя Нахман и означает «утешитель». Казалось бы, воспоминание о родине, о предках, о семье должно покачнуть чашу весов «я и мой организм – родич и его справка» в сторону последнего. Но наш герой не умеет распознавать знамения: поначалу он оценивает новые обстоятельства корыстно, однако тут же раскаивается и делает второй (после решения пойти за справкой) верный, хоть и полусознательный, выбор – не пытается добиться «преимущества» перед другими просителями. Обратим внимание на повторное и более подробное описание болезни: уже и глаза заволочло туманом, и цель и причина, свергнувшие героя в создавшуюся ситуацию, сделались ему невняты.

Бог, так сказать, пытается вывести героя из этой невнятицы. Внезапно раздается звук лопнувшего шнурка от ботинка и, связывая шнурок, герой словно обретает способность связывать разные вещи. Теперь родной городок являет себя более откровенно – будто из ниоткуда возникает аптекарь, хорошо знакомый земляк, а не просто человек, чье имя и повадки изобличают выходца из Галиции. Чем ближе к отчужденному дому, тем сильнее влияние традиции и религиозной этики, тем вернее связь с Богом⁵. Эта ностальгическая иллюзия пронизывает все творчество Агнона, даже когда отчий край кажется ему лишь запустение. Узнавание аптекаря связано с воспоминанием о его доброй привычке подавать посетителям больницы стакан содовой воды. Тут уж не желание пожить за счет земляка ощущает герой рассказа, а благодарность. И ему немедленно предоставляется хотя бы эфемерная возможность улучшить свое положение – сесть.

Вот она, тщетно желаемая в жизни и возможная лишь в литературе обратная связь: ты – по-доброму, тебе – по-доброму, ты – не лучшим образом, тебе – долготерпение Всевышнего и Его милосердие. За предложением присесть следует предложение шоколада, которое ставит героя перед новым испытанием, и он в итоге сумел выйти из него с честью: «Устыдился я, что позарился на большее, чем мне предназначалось. Лицо мое покраснело, и глаза опустились долу».

⁵ Ср. с рассказом «К отчужденному дому» в переводе Светланы Шенбрунн, опубликованным в «ИЖ» № 2; он был написан несколько позже и тоже был включен Агноном в «Книгу деяний».

Еще ничего не решено. Но есть надежда. Однако прежде надежды наступает отчаяние. Это отчаяние от невозможности получить немедленный отклик на свои деяния. Тебе о чем-то толкуют, и ты, как кажется, все воспринимаешь, но чувство «безнадзорности» в этом мире охватывает тебя против воли. Буква, кажущаяся всем коренной, на деле случайна, как, может быть, поступок, которым ты гордился или которого стыдился, а он, судя по всему, никак не повлиял на твою судьбу. И все-таки, опорой в безнадзорности герою служит буква «фей», которая «выглядит синей». Как мы помним (Числа, 15:37-41), в цицит – кисточки на краю мужской одежды – вплетена лазоревая нить, а, глядя на цицит, надо вспомнить все заповеди, данные еврею Богом. Вот она – надежда на краю безверия! Ведь признать безнадзорность – это усомниться в сути еврейской веры. Если же убрать «фей» и заменить ее на «бейт», то не просто исчезнет лазурный цвет надежды и покаяния, но мы окажемся в ином ивритском корне, среди иных смыслов⁶.

Так или иначе, «затеplился новый день», и добрый поступок аптекаря, отложившего для героя ломоть хлеба, совершил то, что, казалось бы, никогда не произойдет: героя вынесло из серого министерства на простор безбрежного моря. Теперь, как кажется, можно начать заново и постараться пройти тот же путь иначе.

Таким образом, параллель с Кафкой может быть только негативной. Йозеф К. помимо своей воли оказывается пассивной и страдающей игрушкой в объективно существующей и расположенной вне его бюрократической машине. Герой Агнона, напротив, сам связывает свои поступки и речения, имевшие место в разные моменты его жизни и в разных местах его пребывания, сам судит их и оценивает и на основании этих оценок вьет нить своей судьбы. Этот нескончаемый поиск зависимости и взаимобусловленности событий и поступков отражен в навязчиво повторяющемся синтаксисе: ни в каких других произведениях этого автора не встретишь такого количества утомительных «оттого», «поскольку», «поэтому» и прочих словечек, грамматически увязывающих факты как причину и следствие. Но не реальные связи природного мира, а этические и мистические связи определяют мир экзистенции героя, кажущийся ему то раем, то адом исключительно вследствие баланса между тем, что он ставит себе в заслугу и что в вину.

Странные рассказы Агнона словно отвергают всякий детерминизм материального, поступательное движение времени и механическую последовательность событий. Как и в коллективном сознании евреев, воспитанном на принципе «нет раннего и позднего в Торе», так и в

⁶ Слово «безнадзорность», на иврите «хефкер», имеет корень «ф-к-р», а после замены буквы получается «б-к-р». Семантика этого нового корня, т. е. согласных «б-к-р», обыгрывается Агноном в повести «Ад хена», т. е. «До сего предела» (см. одноименный том собр. соч. Ш. Й. Агнона, изд. Шокена, 1974, сс. 27 – 28, *иврит*). Обращу внимание читателя лишь на некоторые из приведенных автором смыслов, например, *бакар* – скот, *бикер* – поверять критикой; *бокер* – утро. Замечу, что действие рассказа «Справка» переходит в утро следующего дня.

индивидуальной экзистенции, по Агнону, все, тобою содеянное, присутствует и влияет одновременно. Не песчинкой громадного и равнодушного мироздания оказывается герой Агнона, а пребывающим в постоянном замешательстве творцом своего пути. И коль скоро иудаизм дал ему, казалось бы, четкие критерии добра и зла, правоты и неправоты, он, следуя путем добра, претендует на более благоприятную судьбу. Однако благополучие не достигается, и это заставляет его вновь и вновь искать ошибку в своих деяниях (отсюда общность мотивов в «Книге деяний» и их вариативность) или хотя бы в их оценке. Обреченность на пожизненную рефлексю – вот приговор, который верующий человек Агنون выносит своему религиозному герою, пожизненная рефлексия и горечь обиды на то, что гармоничное существование так редко достижимо.

Отсюда ностальгическое отношение к общеврейскому и семейному прошлому – к дарованию Торы на горе Синай⁷, к житию и учению Бешта, основателя хасидизма⁸, к историям о собственных прародителях. Переписывая заново эти, казалось бы, известные эпизоды национальной и индивидуальной жизни, можно нащупать новые оценки и тем самым спрясть новую, более спокойную судьбу.

Возвращаясь к «Книге деяний», хотелось бы добавить, что это не аллегория, допускающая почти автоматическую замену одного содержания другим. Это рассказы, одновременно живущие в нескольких измерениях, и реальный план – вещи как приметы времени и эмоции как неустрашимый никакими заповедями личностный фактор – важен не меньше, чем, скажем, символическая ономастика. Не в ней ли наследие Гоголя? Андерман – «другой человек», моя тень, мое alter ego. Хаим Апропо – «жизнь мимоходом», оттого и роста этот господин «ниже среднего», оттого и вечная его улыбка, пусть и влекущая, предназначена не ищущему праведности еврею. И образ моря – этого послушного Богу орудия, предназначенного, чтобы являть людям чудо. Как писал Агنون: «Он, благословенный, поставил условием всему, что было создано Им в шесть дней творения, не уклоняться от своей роли (кроме моря, которое должно было в будущем расступиться и пропустить евреев)»⁹. Вот об этой-то роли своей, которую так трудно отыскать, должны напомнить вновь вставшие стеной морские воды в рассказе «Свечи». Выход к морю – это всякий раз преодоление завесы, отделяющей человека от его Создателя, возвращение к исходному перекрестку, с которого можно снова двинуться в путь по прожитой жизни, сделать новый выбор и исправить содеянное. И так без конца. Отчего вся жизнь оборачивается Днями Трепета, и каждый день в ней – Судный день.

Зоя Копельман

⁷ См. «Атем реитем», т. е. «Вы видели – о том, как была дарована Тора: простые и сокровенные смыслы, отобранные Шмуэлем Йосефом Агноном». Изд. Шокена, 1961 (*иврит*).

⁸ См. Ш. Й. Агنون, «Сифрейхем шель цадикиим», т. е. «Книги цадииков: сто и один рассказ о книгах учеников Бешта и учеников его учеников». Изд. Шокена, 1961 (*иврит*).

⁹ Ш. Й. Агنون, «Ореах ната лалун», т. е. «Гость на одну ночь» (*иврит*).

Шмуэль Йосеф Агнон
ИЗ «КНИЖИ ДЕЯНИЙ»

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС

Я разжег примус и поставил чугунок, чтобы вскипятить воды для стирки. Увидела меня соседка и сказала: вот вы зажгли примус, а керосина-то в нем нет. Я удивился: отчего она говорит, что нет керосина, ведь примус тяжелый. Снял крышку и заслонку и увидел, что и впрямь, верно она сказала – керосин был там лишь на донышке и блестел, как чешуя карпа в садке по вечерам в месяце тишрее, когда обновляется луна¹.

Оставил я примус и отправился к господину Шриту. Это тот самый Шрит, которого так любил мой отец, мир его праху, когда же отец умер, господин Шрит сделался опекуном его осиротевших детей. Уже много раз я собирался навестить его, да все что-то мешало.

Господин Шрит жил в большом каменном доме, подобного которому не было во всем городе. Говорили, что это такой дом, что конь и всадник свободно могут взойти по его лестнице.

В тот час господин Шрит лежал в постели, поскольку было у него в обычае ложиться с наступлением темноты.

Когда я вошел, он протянул мне руку, приветливо поздоровался со мной и сказал: хорошо ты сделал, что пришел. Он смотрел на меня так, словно ждал моего прихода уже долгие дни и собирался мне что-то сказать. Но, начав разговор, не сказал ничего, что было бы для меня ново. Говорил о знатных людях нашего города, что, мол, не слишком утруждают себя общественными заботами, зато все мыслимые добродетели приписывают себе. Особенно досталось от него домохозяину, Ицхаку Монтагу, за то, что ходит целыми днями без всякого дела, неизменная сигарета тлеет во рту, а он сует свой нос в чужие дела и только всем мешает. Он говорит, а я сижу и молчу, и не могу вымолвить ни словечка. Наверно, я должен был вступить за Ицхака Монтага, ведь он сделался мне почти приятель, и мы вместе ходим на прогулки, хотя он богат и знаменит, и древен годами. А возможно, я правильно сделал, что промолчал, ибо горько было на сердце у господина Шрита, а тут он выговорился и облегчил себе душу.

Дом был полон кроватей, столов, стульев, шкафов и прочих изделий столярного искусства, и запах скипидара стоял во всех его комнатах, поскольку господин Шрит торговал мебелью и

¹ В месяце тишрее, когда обновляется луна, евреи отмечают десять Дней Трепета между новолетием и Судным днем. В этот период следует дать себе отчет в своих поступках и попросить прощения у тех, кого обидел.

все, что не вмещалось в его магазин, находило приют в его доме. И еще стоял там ларь для белья, такой точно ларь, как в отчем доме. Мыши прогрызли у него крышку, и господин Шрит отдал его тогда отцу задешево. И не было между ним и тем ларем, что у отца, никакой разницы, только этот попорчен справа, а тот попорчен слева. А возможно, оба они были попорчены одинаково, да я не сумел верно определить, с какой стороны.

Домашняя утварь наполняла комнаты запахом, а господин Шрит все говорил и говорил. То возвысит голос, то понизит. Из его слов можно было понять, что он давно уже размышляет об этом, и оттого речь его текла гладко.

Прошел час, и я собрался уходить. Надо дать господину Шриту отдохнуть, ведь господин Шрит тщательно печется о своем сне и не поступает им даже ради важных дел. Хорошо проводить время с людьми, которые рано укладываются спать, потому что так и ты сам не лишаешь себя ночного отдыха.

Собираясь уходить, я рассказал господину Шриту о том, что произошло у меня с примусом. Явилась старшая дочь господина Шрита от первой жены, смешливая, полнотелая девушка возраста своей мачехи, встала на пороге и улыбнулась. Она улыбнулась – и в ее лукавых глазах вспыхнули два снолика зеленоватого света, вспыхнули и смутили меня. Всякий раз, как эта девушка смотрит на меня, охватывает меня смущение. Когда я был маленьким, она хлопала передо мною в ладоши, подобно тому, как я хлопал в ладоши перед ее новорожденным братцем, и теперь я опасался, как бы она вновь не сделала так же.

Тут вошла жена господина Шрита. Господин Шрит наморщил лоб и рассказал ей о моей задаче. Вышла госпожа Шрит и вернулась с тазиком для стирки. Взял я тазик, поблагодарил, распрощался и ушел.

Спускаясь с лестницы, я удивился, что не сбился с пути. Ведь дом чрезвычайно велик, а мне никто дорогу не показывал. Я мог сбиться и спуститься до самого низа, и оказаться в темном подвале, который все тянется и тянется, и ведет к черному мосту над Стрифой¹. Но я не сбился и спустился на ту лестницу, которая выводит на улицу. Возможно, поскольку я знаком с хозяином этого дома, я не плутаю в нем, хотя прежде бывать здесь мне не доводилось.

Ночь выдалась славная и воздух приятен, не холодно и не жарко. Оттого ли, что мой дом далек и не предназначен для услады, но я решил погулять и насладиться вне дома.

Я начал обходить дом господина Шрита и считать в нем окна. Затем пошел в обратную сторону и дошел до черного моста. Так я прогуливался туда-сюда, пока не почувствовал усталость и не решил направиться домой. Мой дом находится в северном районе, и с центром города его соединяет линия автобуса. С половины седьмого утра и до половины двенадцатого

¹ Стрифа – река в Бучаче, родном городе Агнона.

вечера ездит этот автобус туда и обратно, туда и обратно. Иногда раз в час, иногда раз в полчаса, в зависимости от проворства водителя и от количества пассажиров. Когда я добрался до автобусной остановки, настала полночь, время, когда движение автобуса прекращается, поскольку все автобусы ночью отдыхают. Но, несмотря на это, я не бежал и не спешил: группа девушек стояла там, и я понял, что должен прийти еще один автобус, потому что в городе давали в тот вечер новую пьесу и многие жители находились в театре. В дни, когда в театре идут спектакли, подают дополнительный автобус, чтобы жители отдаленных районов могли добраться до дому. Девушки, стоявшие там в ожидании автобуса, были моими соседками. Хоть я ни разу не разговаривал с ними, и они никогда не говорили со мной, я узнал их, а они узнали меня. Тому, кто часто ездит в автобусе, пусть даже он не заговаривает с пассажирами, но оттого, что видит их каждый день, кажется, будто они ему приятели. Были среди этих девушек такие, которым я несколько раз уступал место. В особенности той стройной блондинке, у которой волосы спускаются на плечи – до середины заплетены в косы, а внизу падают свободно. Она носит брюки, такая милостивая юная труженица, и ведь знает, что брюки ее красят. Поскольку автобус не приходил, а у меня времени было довольно, я заговорил со своим дедом и рассказал ему, что побывал в большом доме. Но о том, что навещал господина Шрита, я умолчал, оттого что дед его недолюбливает, так как господин Шрит ворчлив и вечно бранит знатных людей нашего города. За рассказом я добрался и до Ицхака Монтага, которому известны все памятники нашего старого кладбища, более того, он умеет прочесть надпись на каждом памятнике и пропеть ее на ту мелодию, которая была принята во времена лежащего под этим камнем покойника.

В тот миг послышался шум автобуса, и я увидел, как он приближается. Не успел я подойти, как все девушки вошли в автобус и уехали.

Я возвысил голос и закричал водителю, чтоб дождался меня. Тут стиральный тазик выпал у меня из рук. Я нагнулся, чтобы его поднять. Крутанул водитель свой руль и отправился в путь. А я стоял расстроенный и глядел ему в след.

Велика была моя мука. Ведь я должен вернуться домой, я устал, а последний автобус уехал без меня. Я ждал, что девушки задержат его ради меня. Но они не задержали его, каждая из них сидела на своем месте, а меня даже не заметила. И сейчас они возвращаются домой и ложатся в свои постели, тогда как я стою на улице и не знаю, как и вернусь. А ведь если бы они хоть намекнули водителю, он подождал бы меня. Я нелщу себя тем, что мысли девиц заняты мною, но удивительно, что в такой час они обо мне не вспомнили.

Что делать? Найму машину, а пешком не пойду, потому что на дорогах опасно, путь лежит неблизкий, и я устал. Мой дед

взял меня под руку, пошел со мной в автобусную контору и спросил ответственного, будет ли еще транспорт в северный район.

Ответственный потер руки и коварно так улыбнулся – деду, оттого что не знает порядка в этом мире, а мне – оттого что я опоздал на последний автобус. Огорчился я, что он выказал неуважение моему деду, который потревожил себя и пришел из другого мира, а когда покидал этот мир, в нем еще не было автобусов. И еще я огорчился, оттого что все это произошло по моей вине.

Я был в полном отчаянии. Показал ответственный кивком головы на стену и сказал: есть выход. Есть тут один старый автобус, и он сам готов меня отвезти, только вот не знает, когда я доберусь до места. Ухватился мой дед за ножку стола и стал поторапливать ответственного, чтоб скорее отправлялся. Ох, эта дедова наивность, старик решил, что это и есть автобус, о котором говорил тот человек. Я знал, что не стоит ехать на старом автобусе, и хотел взять такси. Отяжелел мой язык, и я не смог выговорить ни слова.

Ответственный посмотрел на меня и сказал: поездка обойдется вам в три груша. Три груша – ничто по сравнению с двенадцатью грушами, которые я был готов уплатить за такси, только я не был уверен, что автобусом доберусь до дому раньше следующего дня. Оттого что отнялась у меня речь, я кивнул ему и пошел к старому автобусу. Мой дед поспешил первым и поскользнулся, но поскольку был мертв, его падение не обеспокоило меня, ведь мертвые не чувствуют физической боли.

Я торопился и потому оставил деда, а сам собрался сесть в автобус. Усмехнулся ответственный и сказал: подождите, пока водитель придет. По его улыбке было видно, что водитель придет не скоро, но я все же стал дожидаться. Ответственный запер свою контору и ушел.

Что делать? Водитель не придет, и такси не возьмешь, потому что контора закрыта. Пришлось мне идти пешком.

Ночь выдалась славная, воздух приятен, не холодно и не жарко. Кто не тревожится за свой сон, ничего не потеряет, если прогуляется такой вот ночью.

Я приподнял шляпу и вытер лоб. Тихое спокойствие разлилось на дорогах, то особое спокойствие, которое наступает после полуночи, когда люди спят, а земля и небо тихо переговариваются друг с другом. Позабылись мне все прежние страхи, и я пошел.

Поблизости от своего квартала я увидел пятерых людей, идущих шеренгой. Люди на вид благообразные, роста ниже среднего, сложения приятного, не толстые и не худые. Одежды на них, как у почтенных жителей Иерусалима в зимнее время. Четверо из пятерых были мне знакомы, только имен их я не знал, а пятый был мне знаком и известен по имени. Я неодно-

кратно обижал его, хоть он не сделал мне ничего плохого. Сбоку от него шел молодой человек, один глаз которого, не помню, какой, был меньше другого, и казалось, что он мило улыбается и смотрит на тебя с симпатией. Я был уверен, что в сердцах этих пятерых нет против меня дурного намерения, и даже тот, кого я в прошлом задел, не желает мне зла, однако сердце мое преисполнилось печали, как у человека, который вышел один на дорогу и не знает, что ждет его впереди.

Подошел ко мне некто, смуглый и плотный, небольшая округлая борода его была сильно тронута сединой. Руки в карманах, лицо желтоватое, похож на человека, который идет получать денежное вспомоществование и убежден, что получит. Он не был мне знаком, но я знал, что если поприветствую его, он пойдет со мною. Я подбежал к нему и поздоровался. Ох, как нуждался я в тот момент в поддержке и защите от тех, кто не любит меня и среди которых один – мой недруг! Но тот, кто мог поддержать меня, был занят своими делами. Он поздоровался со мной и отправился дальше с неясной улыбкой на лице. А я поплелся следом за теми, кто был мне либо недругом, либо просто не испытывал ко мне никакой приязни.

СПРАВКА

Три дня я провел в отделении серого министерства. Один мой родич, о котором я никогда прежде не слышал, написал мне из города, о существовании которого я и не подозревал, и попросил получить для него справку, от которой зависит вся его жизнь.

Я опасался за свое горло и за весь свой организм, но все же встал пораньше и пошел за справкой для своего родича; я полагал, что получу ее без задержек и снова вернусь в постель, чтобы не дать развиться недугу, который донимал меня всю зиму, а в тот день, будто нарочно, пробудился во мне с новой силой.

Покорность судьбе и чувство собственного достоинства равно были со мной, когда я вошел в департамент. Явился я рано, и ни единый человек не встретился мне там, оттого я был уверен, что все пройдет без задержек и мне выдадут нужную справку.

Тут департамент почтила своим присутствием уборщица и подняла пыль. Дыхательные пути мои сделались непроходимыми, и голос мой пресекся. Повременю, сказал я себе, покуда прочистится мое горло, ведь иначе служащий не поймет, о чем я прошу, и все мои усилия будут напрасны.

Покуда я стоял, департамент наполнился людьми. Они протискивались с места на место или стояли с угрюмой и упрямой покорностью и с нетерпением и вождедением смотрели на чи-

новников и чиновниц, сидевших за своими обшарпанными столами и водивших серыми перьями по страницам учетных книг и ведомостей. Разок-другой и я проталкивался то к чиновнику, то к чиновнице и перед каждым склонял покорно голову в надежде, что обратит на меня внимание и спросит о моей нужде. Но они не замечали меня, и стоит ли добавлять, что ни о чем не спрашивали. И даже хорошо, что не спрашивали, потому что если б и спросили, вряд ли бы я смог им что-либо сказать, ведь горло у меня все еще саднило от пыли.

Так прошел день и так прошел второй. С раннего утра и до позднего вечера я простаивал в департаменте министерства. Ноги мои сделались тяжелы, будто каменные, и душа моя истомилась. По временам я переходил с места на место, попадал то в одну комнату, то в другую, оказывался то перед служащим, то перед служащей, и снова меня выталкивало в приемную, где начались мои мытарства. Чиновники сидели все тем же порядком: взоры их были устремлены в бумаги, перья строчили и строчили себе, не переставая, часы тускло отбивали время, стрелка кое-как ползла, описывая круги, и дохлая муха, прилипшая к ней, ползла вместе с нею.

На третий день мне немного полегчало. Новый чиновник заступил на место того, что умер. Новый чиновник, по имени Нахман Хорданкер¹, светловолосый, грузный молодой человек, за прозрачными очками которого глядели добрые глаза. По имени, по чертам и по медвежьим повадкам я распознал в нем земляка. Стоит мне только объявить во всеуслышание, что я из Галиции, – и вот уже все преимущества на моей стороне. Но смутное ощущение, словно некое нравственное чувство, помешало мне это сделать. Я сдержался и промолчал. Нездоровье мое усиливалось, и все мои мысли сосредоточились на нем. В ту зиму я болел дважды, и оба раза хвороба начиналась именно так: язык обложен, в горле першит, губы сухие и обветренные. Эти первые признаки болезни появились сегодня снова, глаза заволокло туманом, лоб покрыла испарина, горло свербило. Я достал из кармана сигарету и закурил. Не успел выкурить одну, как зажег другую. Я уже позабыл, зачем пришел в этот департамент, и зачем я стою тут, и зачем суечусь и толкусь, и перехожу из комнаты в комнату и от чиновника к чиновнику.

Вдруг я услышал какой-то звук, и сразу моей левой ногой стало просторно в ботинке. Я нагнулся и увидел, что лопнул шнурок. Не успел я его связать, как меня окликнули по имени. Я поднял глаза и увидел какого-то человека, который сидел

¹ Нахман (*иврит*) означает «утешитель», данкер (*идиш*) – «благодаритель», а денкер (*идиш*) – «мыслитель». Ивритская приставка «хор» – дыра (сравни с дырой на платье героя в рассказе «По дороге к врачу») – может придать имени смысл «утешитель не умеющего благодарить» или «утешитель не умеющего мыслить» или объединить оба эти смысла вместе.

один за маленьким, крытым облезлой черной клеенкой столиком, а по обе стороны от него возвышались груды бумаг. На его сосредоточенном лице приветливо улыбались глаза. Потеплело у меня на сердце, и я обрадовался, как радуется человек, повстречав кого-то, с кем был знаком еще до войны. Он тогда был аптекарем в нашей городской больнице и, когда я приходил навещать болеющих, наливал мне стаканчик содовой воды. Аптекарь поднял голову и предложил мне сесть. Великая эта человечность, им проявленная, возвысила меня в собственных глазах, но мысли мои не позволили мне усесться, так как стул был завален бумагами.

Аптекарь достал плитку шоколада и предложил мне. Я подумал: вот уже три дня и три ночи не видал я ни жены, ни детей, и они, наверное, сердятся на меня, теперь я умилостивлю их шоколадкой. Только протянул руку, как понял, что он вовсе не предполагал дать мне целую плитку. Устыдился я, что позарился на большее, чем мне предназначалось. Лицо мое покраснело, и глаза опустились долу.

Приподнял я взгляд и увидел, что рядом с моим знакомцем сидит один профессор. У него короткая желтоватая борода, между коленями зажата тяжелая трость, и лукавая улыбка притаилась в уголках губ. Я склонил почтительно голову и поздоровался. Он схватил меня за руку и воскликнул: великое открытие удалось мне совершить! Буква «*ламед*» в таком-то слове, про которую весь мир говорит: корневая она, не имеет к корню никакого отношения, и ее надо заменить на другую. Речь профессора была мне ясна, и то слово было полностью растолковано, но мне почему-то казалось, что он говорит о слове «*хефкер*», т.е. безнадзорность, в котором хочет заменить букву «*фей*» на «*бейт*». Я расстроился и опечалился, потому что буква «*фей*» выглядит лазурной, а буква «*бейт*» – мрачной. Между тем затеплился новый день, и я знал, что где-то на краю стола мой знакомый положил для меня ломоть хлеба, только не видел, где именно. Тем временем рядом снова начали толкаться люди. Меня вынесло на улицу, и я оказался на большом балконе, лицом к лицу с безбрежным морем.

ПО ДОРОГЕ К ВРАЧУ

Мой отец лежал больной; мокрая салфетка покрывала пылающий лоб. Лицо его было измучено болезнью, и тяжкая забота замутила сияние синих глаз, как у человека, который знает, что смерть близка, и не знает, что станет с его малолетними сыновьями и дочерьми. Подобно ему, лежала в соседней комнате моя младшая сестренка. Оба они страдали от разных недугов, которым врач еще не успел дать названия.

Моя жена находилась в кухне и лушила горох. Сложив очищенный от стручков горох в кастрюлю, она оделась и вместе со мною пошла за врачом.

Выходя из дома, я наступил на горох, потому что когда жена занималась готовкой, некоторые горошины выскользнули у нее из рук и выкатились на ступеньки лестницы. Я хотел собрать их, пока не почуяли мыши и не явились в дом, но надо было спешить, потому что пробило уже восемь часов с половиною, а в девять врач имел обыкновение идти к друзьям и там пил с ними ночь напролет, у меня же в доме лежат двое больных, нуждающихся в уходе и постоянном присмотре, особенно озорница-сестра, которая любит петь, иногда довольно громко, и может свалиться с кровати либо нарушить сон отца.

Горошины лишили меня покоя – они показались мне чечевицею, а чечевицу едят в трауре и скорби¹. Легко понять огорчение человека, у которого в доме двое больных, а тут еще пробуждаются в его сердце подобные мысли.

Неловко признаваться, но я немного рассердился на жену и подумал о том, как мало толку от женщин, ведь вот старалась приготовить нам ужин, а вышло, что весь горох рассыпан. Когда же я увидел, что жена бегом направляется ко мне, и понял, отчего она спешит, исчез мой гнев, и вместо него пришла любовь.

По дороге, вблизи черного моста, повстречался мне господин Андерман² и поздоровался со мною. Я тоже поздоровался в ответ и постарался поскорее от него отделаться. Он же ухватил меня за руку и принялся рассказывать, что воротился из английского города Бордвей³ и не сегодня-завтра придет вместе с отцом посмотреть на наш новый дом. Ай-яй-яй, сказал господин Андерман, рассказывают, что дом господина прямо чудо из чудес. Я осклабился, желая придать лицу приветливое выражение, и подумал: что это он говорит, будто придет с отцом, – разве у него, у Андермана, есть отец? И еще подумал: возможно ли, что мое усердное желание выглядеть радушным не произведет никакого впечатления? Я вспомнил горох, который обернулся чечевицей, и забеспокоился, как бы не случилось чего плохого.

Чтобы господин Андерман не догадался о том, что у меня на сердце, я сунул руку в карман, вытащил часы и увидел, что время близится к девяти, а в девять часов врач имеет обыкновение идти в свой клуб и напиваться, у меня же в доме лежат двое больных, страдающих неизвестной болезнью. Увидел господин Андерман, что я тороплюсь, и решил, в свою очередь, что я спешу на почту. Сказал мне: время работы почты изменилось, и теперь вам нет нужды спешить.

¹ По еврейской традиции, вареную чечевицу едят на поминках.

² Андерман (*идиш*) – «другой человек».

³ Бордвей (*якобы английский*) – «путь за границу».

Я оставил господина Андермана в его заблуждении и не сказал ему о своих больных, боясь, что начнет давать мне советы и еще дольше меня задержит.

Подошел к нам один почтенный старец, в бейт-мидраше которого я молюсь в осенние Дни Трепета. Много я слышал разных канторов, а такого, как он – у которого и в плаче молитва звучит приятно и все слова разборчивы, – такого не слышал. Уже не раз я хотел с ним поговорить, да все не удавалось. Теперь он смотрел на меня своими воспаленными от слез глазами, и во взгляде его чувствовалось доброе расположение, словно хотел сказать: вот я, здесь, есть у вас желание – поговорим. А господин Андерман держит меня за руку и не дает идти. По правде говоря, я мог бы вытащить свою руку из рук господина Андермана, но как раз в тот день укусил меня пес и разодрал на мне одежду, так что если бы я повернулся к господину Андерману спиной и ушел, он увидел бы мою дыру.

В тот миг я вспомнил, как этот старец стоял перед ковчегом и читал молитву «И от грехов наших...», и бил головой об пол так, что сотрясались стены бейт-мидраша. Встрепенулось мое сердце и повлекло меня к нему, но господин Андерман крепко держал меня за руку, так что я снова ослабился и постарался улыбнуться ему как можно приветливей.

Моя жена перешла по мосту и приблизилась к дому врача, совсем рядом с почтой. Вот она стоит у входа в дом и ждет, а плечи ее вздрагивают, и весь вид выражает огорчение. Выдернул я свою руку из рук господина Андермана и поспешил к жене. Качнулся черный мост у меня под ногами, волны реки взметнулись и плеснули на мост, плеснули и отступили.

СВЕЧИ

Я наконец-то выбрал время, чтобы пойти к морю. Все шесть дней, которые Бог заповедал для труда, я трудился, а в предсубботний полдень оставил дела, взял чистое белье и пошел омыться.

Повстречался мне господин Хаим Апропо¹. Роста Хаим Апропо ниже среднего, живот у него округлый, а может быть, квадратный, спина ссутулилась, голова свесилась на грудь, а лицо всегда весело – никогда с его губ не сходит улыбка. Эта-то улыбка и притягивала меня, хоть я знал, что предназначена она не мне.

Я поклонился и поздоровался. Он тоже поздоровался в ответ и спросил: к каббалистам молиться идете? Я кивнул ему в

¹ Хаим Апропо (*иврит с заимствованием из французского*) – «жизнь мимоходом».

знак согласия. И пусть я не произнес ни слова, а все-таки согласал. Мне не хотелось лгать, просто сердце не позволило перечить этому человеку. Я был смущен, как всегда бываю смущен в его присутствии, поскольку знаю, что он меня недолюбливает, а может, еще оттого, что я засматриваюсь на его дочку, да только не меня она дожидается.

Так я отправился вслед за ним и попал в некий дом, где ни разу еще не был. Тот дом был полностью готов к приходу Субботы, но люди в нем занимались повседневными делами. Был там и книгоноша, он торговал самарийскими книгами. Я заглянул в них и удивился, что могу читать и что написанное в них мне известно. Частью это было то, что написал я, только переписано на языке самаритян, а частью это было то, что я задумал написать и не написал, потому что перо мое не умело схватить этого. Мой дед стоял тут же рядом, глядел на меня и молчал. Черная ермолка покоилась у него на темени, глаза были полузакрыты, и нездешняя скорбь осеняла лицо. Белые пейсы ниспадали вдоль впалых щек и походили на серебряные колокольцы, звон которых затаился внутри и затих.

Пока я стоял и читал, день склонился к вечеру. Хаим Апропо куда-то ушел, а я все стоял там, где остановился. Тут я заметил четыре белые свечи в четырех медных подсвечниках и увидел, что свечи те покосились – того гляди, упадут. Я решил их поправить, чтоб не прожгли скатерть и не спалили стол. Одна свеча покривилась у меня в руках, другая смялась под моими пальцами, да и остальные тоже погнулись.

Я пожалел, что увязался за господином Хаимом Апропо и занялся не своим делом. Но раз уж начал, невозможно было немедленно все бросить. Я вытер лоб, узелок с бельем положил на пол, чтоб облегчить себе задачу, и опять принялся поправлять свечи. Руки мои сделались слабыми, а пальцы – неверными.

Я поднял голову и увидел, что в окрестных домах зажглись субботние свечи, а в этом доме люди раздражены. Подумал: поторопились в тех домах, еще не истек день и не пришла святая Суббота, но мне в любом случае надо спешить. Я глянул на деда. Нижняя губа его оттопырилась и слегка отвисла, как у человека, недовольного тем, что творится вокруг. Сказал я себе: я тут стою и изнуряю себя заботой о чужих свечах, тогда как мне следует идти к морю, омыться.

Только вспомнил про море, как увидел – вот оно раскинулось передо мною и много-много людей стоит в нем по пояс в воде. Сказал себе: ничего не поделаешь, пойду. Наклонился какой-то человек к окну, выглянул наружу, обернулся и сказал: светает. По правде говоря, слово «светает» было тут совсем не к месту, но я каким-то образом понял, что он имел в виду темноту. То есть, что тот человек нарочно так сказал, чтобы не срамить меня за нерасторопность. Встрепенулся и поспешил к морю.

Море вознесло свои воды, и они встали стеною. Обнажился берег и сделался широк, и много-много людей стояли теперь между лужицами, поблескивающими в лучах предзакатного солнца. Одни – нагишом, другие – полуодетые, а у некоторых на глаза налипла рубаха, как если бы стали надевать ее, натянули на голову, а дальше спустить не успели. Я поискал место, куда бы положить узелок, но все вокруг было занято. Я стоял одетый среди обнаженных, и было мне неловко. Снова огляделся я по сторонам и увидел – вроде мост какой-то ведет к морю. Положил узелок под мостом рядом с лужицей, снял с себя одежду и хотел было прыгнуть, да только забеспокоился, как это я отличу рубаху, которую снял, от чистой, что принес с собою, чтобы надеть после омовения. Всколыхнулись морские воды и захлестнули ступни моих ног. Я подпрыгнул и оказался на мосту. Только взобрался на мост, покачнулся мост и начал дрожать.

ДРУЖЕСТВО

Моя жена вернулась издалека, и я обрадовался ей чрезвычайно. Но капля горечи подмешалась в мою радость: а вдруг придут к нам соседи и станут мне докучать. Сказал я жене: давай пойдем к такому-то или к такой-то, ведь если они к нам придут, мы не скоро от них отделаемся, а если мы к ним придем, побудем немного и распрощаемся, когда захотим.

Мы поскорей собрались и отправились к госпоже Клингель¹. Поскольку госпожа Клингель была у нас частым гостем, мы направились прежде всего к ней.

Госпожа Клингель когда-то была знаменита: до войны она руководила школой, а когда порядок в мире переменился, лишилась былого величия и сделалась простой учительницей. Но она по-прежнему держалась с подчеркнутым достоинством и разговаривала с людьми покровительственным тоном. И если кто-нибудь приобретал известность, она спешила сблизиться с этим человеком и стать своей в его доме. Моя жена познакомилась с нею еще в бытность ее директором, а потому госпожа Клингель старалась почаще бывать с моей женой, как и со всяким человеком, знававшим ее в лучшие времена. Она относилась к моей жене с преувеличенной приязнью и даже звала ее по имени. Я тоже был знаком с госпожой Клингель еще с довоенного времени, но едва ли мне довелось перекинуться с нею хоть парой слов.

Госпожа Клингель лежала в постели. Чуть поодаль, на бархатной кушетке, сидели три ее подруги, которых я не знал. Войдя, я поздоровался с каждой из них в отдельности, но не представился и их имена тоже не удосужился разобрать.

¹ Клингель (*идиш*) – здесь: «пустозвон».

Госпожа Клингель улыбнулась нам и продолжала болтать, по своему обыкновению. Я сомкнул губы и подумал: по правде сказать, мне не в чем ее упрекнуть, но она мне в тягость. Ибо когда я выхожу на улицу, то не имею ни малейшего желания, чтобы меня кто-нибудь заметил, а тут вдруг появляется мне навстречу эта дама, и я осведомляюсь о ее здоровье, и вот – течение моих мыслей прервано. Неужто из-за того, что знавал ее несколько лет назад, я на всю жизнь обречен числиться в ее приятелях? Раздражение закипало во мне, но я сказал себе: если тебе повстречался человек, с которым у тебя нет никакой видимой связи, значит, ты не разделался со своими прежними долгами, и вот вы снова встретились в этом воплощении, чтобы ты мог исправить дело и загладить свою старую вину перед ним.

Пока я так сидел и прислушивался к своему раздражению, госпожа Клингель сказала моей жене: вот ты, голубушка, уехала, а твой муж тем временем развлекался. Говоря так, она указала на меня пальцем и, смеясь, добавила: я не стану сообщать вашей жене, что к вам вечерами наведывались хорошенькие девушки.

Как далеко были тогда от меня какие бы то ни было развлечения! Даже во снах не находил я ничего утешительного, и вот приходит эта дамочка и заявляет моей жене: к твоему мужу наведывались красотки, и он с ними приятно проводил время. Ярость захлестнула меня, я так и вскипел. Вскочил и принялся честить ее на чем свет стоит, все оскорбительные слова выплеснул ей прямо в лицо. Она и жена моя с изумлением взглянули на меня. Я и сам себе удивлялся, ведь госпожа Клингель всего-навсего пошутила, зачем же тут сердиться да еще и оскорблять прилюдно? Но сердце мое негодовало, и какое бы слово ни слетало с моих уст – все оскорбление и поношение. В конце концов, я схватил жену под руку и ушел, не простившись.

Уходя, я опять прошел мимо трех подружек госпожи Клингель и, кажется мне, услышал, как одна из них сказала: странные шутки шутит госпожа Клингель.

Моя жена молча следовала за мной. По ее молчанию я догадался, что она огорчена. И даже не столько тем, что я осрамил госпожу Клингель, сколько тем, что рассердился и утратил над собою власть. Но она молчала из любви ко мне и ничего мне не сказала.

Так мы шли и молчали. Попались нам навстречу трое. Двоих я не знал, а третий был мне знаком. Он был некогда учителем иврита, затем отправился за границу и разбогател, а теперь сидит себе и строчит статью за статьей в журналы. Такие вот учителя, даже когда их ученики вырастают, по-прежнему относятся к ним, словно меламед к желторотому юнцу, и поучают их во всяких мелочах. Однако в одной из его статей я нашел нечто весьма достойное и, раз уж мы встретились, сказал ему об этом. Лицо его засветилось, и он представил меня своим спут-

никам, один из которых был членом польского сейма, а другой – братом одной из подруг госпожи Клингель, но может быть, я спутал, и нет у нее никакого брата.

Следовало бы расспросить почтенных гостей, как понравился им наш город и тому подобное, но моя жена устала с дороги, вдобавок была огорчена, и ей было трудно долго стоять. Я постарался сократить беседу и вскоре расстался с ними.

Жена меня не дождалась и пошла вперед. Я не сердился. Молодой женщине трудно оставаться на людях, когда она утомлена и опечалена.

По дороге я сунул руку за пазуху, вынул письмо в конверте, остановился и начал читать. Испытание Иова, по сути, не испытанием Иова было, а Всевышнего Пресвятого, который предал своего верного раба в руки Сатаны. Иначе говоря, испытание Всевышнего тяжелее испытания Иова: был у Него один чистый и честный человек, а Он отдал его в руки Сатаны. Прочитав написанное, я разорвал конверт и письмо, а кусочки развеял по ветру, как я обычно поступаю с письмами, иногда еще не читая их, иногда же во время чтения.

Сделав так, я сказал себе: надобно отыскать жену. Тут всякие мысли одолели меня, я сбился с пути и неожиданно очутился на совершенно незнакомой улице. В той улице не было ничего такого, чего не встречалось бы на других улицах, и все-таки я был уверен, что никогда здесь не бывал. Все магазины были уже закрыты, и маленькие лампочки светились в витринах среди всевозможных товаров. Понял я, что удалился от дома и что мне нужно идти иным путем, да только не знал, каким. Я посмотрел на лестницу, обрамленную с обеих сторон железным забором, взобрался по ней и оказался возле магазина цветов. Там стояла небольшая группка людей; повернувшись спиной к цветам, они внимали доктору Ришелю¹, который рассказывал им о своих нововведениях в лексике и грамматике. Я поздоровался с ним и спросил, как пройти к... Не успел вымолвить название улицы, как начал бормотать что-то невнятное. Я помнил название улицы, но слова застревали у меня в горле.

Нетрудно представить себе состояние человека, который ищет путь к себе, а едва собирается спросить дорогу, не в силах вымолвить нужного слова. Но я совладал с собой и притворился, что пошутил. Прошиб меня холодный пот, и то, что я хотел скрыть, сделалось явным. Когда же я вновь отважился повторить свой вопрос, все случилось, как в первый раз.

Доктор Ришель стоял, словно бесом обуйанный: он весь был поглощен лекцией о своих открытиях, но тут явился я и перебил его на полуслове. Тем временем слушатели его разошлись, а, уходя, посматривали на меня и усмехались. Я огляделся. Силился вспомнить название своей улицы и не мог. То

¹ Ришель (*иврит*) – букв. «сделал халатно».

мне казалось, что это улица Гумбольдта, то – что улица Маарав¹. Когда же я открыл рот, чтобы спросить дорогу, понял, что не Гумольдта и не Маарав вовсе. Я сунул руку за пазуху – может, найду там какое-нибудь письмо и увижу свой адрес. И действительно, обнаружил два письма, которые еще не успел порвать, но только одно из них было послано мне на старую квартиру, где я больше не живу, а другое – до востребования. Лишь одно письмо получил я на свой новый адрес и только что изорвал его в клочья собственными руками. Стал я перечислять по памяти названия городов и городишек, имена царей и великих людей, мудрецов и поэтов, деревья и цветы – все возможные названия улиц, – вдруг вспомню название своей улицы. Но так и не вспомнил.

Терпение доктора Ришеля истошилось, и он принялся ковырять землю носком ботинка. Подумалось мне: у меня беда, а он только и ждет, как бы от меня избавиться, нет, не друзья мы, не люди мы, разве можно бросать человека в такой беде. Сегодня вернулась издалека моя жена, а я не могу к ней попасть, и всего-то из-за пустяка – просто забыл название улицы, на которой живу. Доктор Ришель сказал: садитесь со мной в трамвай и поедem вместе. Я спросил себя: отчего он дает мне совет, от которого не будет мне никакого толку? Но он схватил меня за руку и втащил за собой.

Я ехал не по своей воле и думал: зачем это Ришель впихнул меня в трамвай? Ведь он не только не привезет меня к дому, но увезет еще дальше. Тут я вспомнил, что видел во сне, как Ришель боролся со мной, выскочил из вагона и оставил его одного.

Выскочив из трамвая, я оказался рядом со зданием почты. Пришло мне на ум узнать там свой адрес. Но сердце мое вразумило меня: будь осторожен, как бы почтовый служащий не принял тебя за сумасшедшего, ибо здравомыслящий человек свое место знает. Отыскал я там какого-то господина и попросил, чтобы он вместо меня обратился к почтовому служащему.

Тут в почтовую залу вошел толстяк, одет с иголки – страховой агент, как видно, – потер самодовольно руки и прицепился к тому господину, и отвлек его. Ярость захлестнула меня, и я ему сказал: экий вы невежа! Два человека беседуют друг с другом, а вы непрошенно вклиниваетесь между ними! Я знал, что повел себя некрасиво, но я торопился, и мне было не до правил хорошего тона. Посмотрел на меня агент с недоумением, словно хотел сказать: разве я сделал вам что-нибудь плохое, что вы меня на позор выставили? Я знал, что если промолчу, выйдет, будто он прав, и снова закричал: мне домой надо, я ишу свою квартиру, забыл название своей улицы и не знаю, как

¹ Улица Гумбольдта указывает на Германию, а улица Маарав (*иврит*) – «Запад» – соединяет Землю Израиля и Европу в нерасторжимое единство личной биографии автора и, видимо, его героя.

доберусь до жены. Он и привлеченные звуками моего голоса люди стали усмехаться. Тем временем почтовый служащий затворил свое окошечко и ушел, а я так и не узнал своего адреса.

Напротив здания почты расположилось кафе. Там я увидел господина Иакова Цорева¹. Господин Иаков Цорев некогда работал в банке, в другом городе, и я был знаком с ним еще до войны. Когда я уехал из Земли Израилевой, он узнал, что я нуждаюсь, и выслал мне денег. С тех самых пор, как вернул долг, я не писал ему. Я говорил себе: не сегодня-завтра возвращусь в Землю Израилеву и навещу его. Прошло двадцать лет, а мы так и не встретились. Теперь, заметив его, я поспешил в кафе, обхватил его сзади за плечи, с радостью погладил и окликнул его по имени. Он обернулся и ничего не сказал. Я спросил себя: отчего он молчит и почему не выказывает мне никаких знаков дружества? Разве он не видит, как он мне дорог, как я люблю его?

Какой-то парень прошептал мне: мой отец слеп. Глянул я и понял, что он слеп на оба глаза. Трудно мне было не радоваться встрече с другом, и трудно мне было радоваться встрече с ним, ибо, когда я расстался с ним и уехал за границу, глаза его были зрячи, а теперь они потухли.

Я хотел расспросить его о здоровье жены, о нем самом, а начал говорить – и стал рассказывать о своей квартире. Две морщинки появились у него под глазами, и казалось, что он смотрит из них. Вдруг он пошарил руками и наклонился к сыну, сказал: этот господин был моим другом. Я кивнул и добавил: верно, я был вашим другом, я и остался вашим другом. Но ни слова отца, ни мои слова не произвели на сына никакого впечатления, он меня словно не замечал. Воцарилось молчание. Тут господин Цорев сказал сыну: пойди, помоги ему отыскать его дом.

Поднялся парень и помешкал минутку. Видно было, что нелегко ему оставить отца одного. Наконец, поднял глаза и посмотрел на меня. Засветились его добрые глаза, и я понял, что стою у своего дома.

Перевела с иврита Зоя Копельман

¹ Цорев (*иврит*) – «обжигающий»; возможно, перевод арамейского «цорва», которое встречается в других произведениях Агнона в значении «еврейский мудрец, знаток еврейских законов». Иаков – первоначальное имя Израиля, как бы второе собирательное имя еврейского народа.

ХРИСТИАНСКИЙ КВАРТАЛ

Улдис Берзиньш *ЛЕТО СВЯТЫХ*

* * *

Ребе в пляс, в пляс, в пляс,
Ребе раз, раз, раз.

Ребе скок, скок, скок –
Стар Адам, да молод Бог.

Ребе каплю в оборот –
Боженька, что смотришь в рот?

Ребе пьет, ребе пьет –
Дождь-то льет, а гром-то бьет.

Уговор дороже драм!
Небо в крап – и ребе в храп.

СПРОСОНОК

Как улочки забавны вновь,
Как весел вновь народец,
И денежка из давних снов
По их прилавкам бродит.

Ах, как легко на сцене той
Мои сгорают свечи,
И спорят с Откровением
Там на моем наречье.

Хоть просыпаюсь, плачу я,
Зато смеюсь во сне так,
Что полны мои ящички
Приснившихся монеток.

* * *

Суй кутенка в корзину, бабка,
Брось мусолить Коран свой, шапка!

Что, какие стихи, не парься,
Пенься, штоф, поросенок, жарься!

Ты веревочкой мне не вейся,
Вечность, прочь! Самобранка, действуй!

Ну, к чему тут музыка, дочка?
Юбка, мнись, отодвинься, кочка!

РАССКАЗ О ПАСХЕ

Агнец, чаша, хлеб в вине,
Им воздастся, но не мне.

Здесь не кровь, а просто мед.
Под окном Иуда ждет.

Сыр и серп вступают в брак,
Остальное сказки, брат?

Чаден, сперт пасхальный дух!
В третий раз кричит петух.

ЛИЕПАЯ

То жмудский дождь, считаешь? И
в нем закаты тают; российские
льны стонут, и в них рассветы то-
нут; пусть улицы углов полны, в
конце увидим волны, с лесами
мачт над головой, мы – воробьи на
мостовой, мы друг для друга пища,
один другого ищем.

ОДНА ПТИЧКА ПОЕТ

Чуть свет, ты за стеклом уже
Паришь на том же этаже.

Застыло время, только ты
То от земли, то с высоты.

Да разве это может быть?
За век мгновенья не избыть!
Приходит Бог, толкает в бок,
Все кончено: лишь ты и Бог.

БЕЛЫЕ КОЛГОТКИ

Раз имам меня спросил, спросит
Вдруг иван: правда ли, что в вас
Мессия, или вы обман?
Но в столбцах заплесневелых вы-
доенные кем-то пущены мы в дело.
Выдуманные, что несемся в
маскхалатах, как в халатном сне.
Пецис, Йецис, Макс&Мориц, весе-
лы, как снег, не на той войне, мы
стынем, с нами пополам сам не
хочешь ли в пустыню, *алейкум' с-*
салам! Но к твоим колготкам бе-
лым, выдуманная, карабин несу с
прицелом, выдуман и я; *Алла'*
алим, байты биты белые во мне, с
кем за Ригу будем квиты, на какой
волне? Что в твоём мне делать
свитке, ангел Азраил, обобрав ме-
ня до нитки, мой свинец остыл, как
же быть? А веселиться, всем нам
жестко стлать: «Исполать вам, ви-
селицы!» – «Тебе исполать!»

* * *

Есть особый любовный час: авгу-
стовская нега, маятники весны
молчат перед осенним бегом, за-
навесившаяся голова, удары ус-
талых весел, заневестившаяся
трава, жар запоздалых чресел,
угольки из горна к губам крон зо-
лотистых веток – послеобеден-
ная волшба, последнее солнце
лета.

* * *

Я нес глагол давно и подвернул
 лодыжку, держал я слово, но
 подвела одышка, как в финской
 бане пар, не моя, небо сушит,
 так мотыльков угар немое небо
 тушит, чужой контекст кипит в
 пустых руках, что стигмы, грам-
 матика вопит без парадигмы,
 дрожат губенки, врут: вдруг
 лопнут; на камне выбит слог,
 Бог – вот он.

МОТИВ РУФУСА

Под сердцем зреет.
 Зеленый кран течет – июль почти
 что полон.
 Ну, что там за?
 Попробуй ковырни.
 Чу, голоса звучат! Те хором о нас
 судачат!
 Нет, ну же: показалось. Безумным
 бабкам больше знать дано – сквозь яс-
 ный знак и желтый дрок мотает душу
 Аннушка в клубок.

ПОЛЕ ОЯРА ВАЦИЕТИСА

День Яна, о: как хлещет дождь, как губы липнут к чаркам,
 А в знойном Вифлееме ночи жарки, жарки, жарки.

Кого-то вверх, кого-то вниз – что движет нами? Дух же!
 Сияют на небе огни, что видишь там? Звезду же.

Твой пласт не перепахан, нет – хоть близок, не укушен,
 И топлю цепкою след в след бредут стеная души.

Перевел с латышского Сергей Морейно

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Михаил Зив

ПОСЕЛЕНИЯ

* * *

Эта тьма – в золоченых серьгах:
В полумесяцах, звездах, крестах,
На скрипучих сосновых стеньгах
Отправляется в ночь, раз так. –

По холмам, по гробниц грибницам
В загадычную тьму-тепльнь,
Чтоб ревнивцам с холма позиций
Было зорче учить рабынь

Ставить свечи, детишек растить
И облизывать сласть молитв,
Чтобы в звездном ночном холокосте
Убедить гееном олив,

Где повыше – при абажуре
В ветках путаного фонаря
Гефсиманская стынь дежурит,
Ожидая с зарей царя.

Нам еще не пора родиться,
Где слезится от черных маслин
Дорогая моя Столица,
Золотеющий Иерусалим.

НОЧЬЮ В ИЕРУСАЛИМЕ

Город спит на цирлах общих,
На скрипучих пятках тьмы,
Где сопением усопших
Услаждаются холмы.

Мчит автобус, вдетый в линзу,
Освещенную от пульь,
Световую фанзой извне
Видит в чайном сне патруль.

Но, и сам крылом касаем,
Ходит крадучись песок.
То, что сбудется, мы знаем.
Веселы на волосок.

Мышцы камнем пропитали,
Терли тени вдоль стены.
То, что смерть немного краля,
Мы-то знаем, – и хоть хны.

И фонарь, как дятел, петел, –
Долбит камень, цедит срок.
Растопырявая ветер,
Век нас выиграть обрек.

Это на кон горы скоком
Спят под током – и хоть хны.
Ходит смерть под боком боком, –
Так ведь с каждой стороны.

ТЕРРИТОРИИ

В лощину напущен коричневый морфий,
И в торфе небес поросится луна.
Готов ли наш дом из обросших холмов ли
Живой темноты, где стена не видна?
За камнем араб сухощавой ладошкой
В дегтярной обиде винтовку ведет.
Не вечность тут корчится самокормежкой,
А данность, ища непрорезанный рот.
И мы не узнаем, как сложится время,
Как скажется правда, как выглядит суд,
И множеством ртов составляется темень
И ищет уюта, где нас не спасут.

* * *

Словно хочется выкрикнуть: «Перегрузи
Этот сон зависания боком в программу!».
На сухую застежку с отщелком «узи»
Застегнули шершавую гор панораму.
Где засижены склоны селеньями дат. –
Эти числа и сны переклички в отключке,
Где холмы растопорщили свой циферблат
И железную ткнут неверблужью колючку.

То ли иней шершав, то ли громок песок,
Только в горле от пения гор непролазно,
И тяжелой, набрякшей повязкой Восток
Натирает глаза до сукровицы с язвой.

И болит нестерпимо блескучий экран. –
Отключите нам свет, что ущельями скрючен
По гремучим горам, где Тора и Коран
Забегают в кустарник сражаться колючим.

ПСАГОТ

Утро медленно тянет пожитки
С горизонта, что в камне продрог,
И, наверно, не с первой попытки
Развязался дороги шнурок.

Словно путники – дни и недели,
Подобрев, подобрав от земли
Каменистые скаты и щели, –
Пили-ели – и в гору пошли.

Словно солнце, глядя через щелку,
Через челку откинутых гор,
Недостроенный абрис поселка
Рассмотреть попыталось в упор.

Так достраивай стены и кровли
В этой ловле, где часа леса
Водит войны по нежной жаровне,
И сыреют в садах голоса.

И скучает солдат виновато
Бородатою свежестью цел,
И пестрявая даль воровата
На винтовочный черствый прицел.

* * *

Мы не спорили – наше? не наше ль?
Это умершим родины жаль,
Где черствеет винтовочный кашель,
Вопрошая пестрявую даль.

Этот спор, где не имут ответа,
Словно срама, ловя на лету

Даль тугую сквозь губы продетой,
В кулаки прихватив пустоту.

И, не ладаном солнца намазан,
Сиплый камень настойчиво злой, –
Отвернувшись гордым намазом
И невлюбчивой грозной филоей.

РАКУРС

Нагретая от камня тишина,
Сухой, установившийся в ней климат.
Восходит красноватая луна,
И над горой ее немного клинит.

Краснеют камни. В хаосе меж них –
Фрагменты стен и, в дар аборигенам, –
Мельканье троп в завалах шерстяных,
Просвеченных случившимся рентгеном.

Чей слон задрых? Чей хобот не трубит
Над жесткою доской архистратега,
Где не окончен каменный гамбит,
И горный выводок не кличут: Тега, тега?

Где узловаты вывихи олив,
Ползущих под шумок по склонам нагло,
Бесчисленные тени вниз пролив,
Скрипучее осваивая тягло.

Заслуженный холодный блеск стекла
Ближайшего ночного поселенья.
Чья шахматная битва замерла?
Так чья? – людская? Божья ли? Селенья?

Нам тоже это тягло довелось –
Пить купорос из роз анабиоза
И на авось крутить земную ось
Страдающего остеохондроза.

Ходить, шурша по клетчатой доске*,
Носить в дворах обиду позвоночью,
Сквозить в листве и мерзнуть налегке
Всеобщую рентгеновскую ночью.

* Дорожки между домами в поселении Псагот выложены плитками.

НОЧНОЙ ПСАГОТ

Тихонечко, как я не знаю что,
Тропа с горы спускается сторожко,
Цепляя куст, где пыльно пролито
Окна пятно, – специально не прольешь так.

Ночные горы сыплют тихий вздор –
Их больше всех на солнце днем нагрели –
И тыкаются к небу в коридор –
Попить пространств от каменной мигрени.

Ни ветерка. Военный пост. Фонарь
Слезится, словно цитруса кожурка.
Ни ветерка, а дышит снизу гарь.
Солдат сидит над книгою в дежурке.

Бормочет телевизор из кустов.
Тропа опять спускается куда-то.
А кто, скажите, к вечности готов,
Летящей за спиною у солдата?

Или хотя бы – к тьме при фонаре,
К пустым задворкам, спящей детворе,
Или к ночной горе шероховатой?

С солдатской тенью в этом ноябре.
2000 г.

СЛУЧАЙНАЯ ВЕЧНОСТЬ

С. О.

1

Этот кашель пустыни трактуется так:
Человечьей бы речью ущелья озвучить.
На больших четвереньках спускается мрак
По соседнему склону с отцепленной тучи.

И щебечущий щебень впотьмах верещит,
И встает по ущельям условная дымка,
И небрежных небес приколоченный щит
Вновь напомнит – и здесь нашей жизни заимка.

А что варят в ущельях – то нам это впрок,
И расхлебывать нам эту кашу камению
Во вселенной, что пущена на самотек
Дополнительным днем к шестидневке творенья.

И без нас не свершат обязательный круг
Те миры, где и согнуть – лишь больно, не трудно. –
В мокрощекою мглу залетающий звук,
Где случайная вечность творится прилюдно.

2

Родились не случайно и согнем не вдруг, –
И я тут не о воинской долбаной чести,
Мокрощекою мглой залетающий звук –
О гражданской страде в предназначенном месте.

Где без нас не свершат заведенный маршрут
Небеса, где и согнуть – почти что безлюдно,
Где винтовочным выстрелом горы дерут,
А попутная вечность – и мертвым подсудна.

3

Ничего не свершится на свете без нас –
Ни победы царя, ни пучка электрона,
Ни разгневанных каменных Божьих гримас
Из надвинутой тучи с соседнего склона.

А в ущелье обиженно кашляет танк,
И огульно живешь, словно жив произвольно,
Словно горная темень трактуется так –
Что не страшно совсем, только чуточку больно.

И творится вселенной походный расклад –
Круговой и приватной твоей обороны,
Словно жить – это плыть навсегда наугад
За щебечущий щебень, что в темень обронен.

* * *

За крупной луной приударь
Асфальтом, щебечущим сухо.
Завистливо виснет фонарь
С горы, что живет вислоухо

Бурьянами лавров и роз,
Во тьме оттоптавших дорогу,
Оврагом сопящую в нос,
С горою на босую ногу.

Побросаны кто где и как,
Дома в этих складках и сносах,
Где скисший израильский флаг
Полоской окна ополоскан.

И местный прижмуренный клуб,
И шепотный гвалт синагоги
Привстали с разморенных клумб
Взмолиться о нас в эпилоге.

И будто листвою ходит дождь,
А вот же – усоп и контужен.
И в складчину, тих и всеобщ,
Страны государственный ужин.

* * *

Уже по склонам камни щерит,
Внезапно сбраживаясь, сумрак,
И темень лезет из ущелий,
Стекая пропастям в подсумок.

В душе декабристо и знобко,
Облыжно холодно и шатко.
Просвечивая через штопку,
Несет луна к поселку шапку.

И, будто в воздух натряся грязь,
Шершавым шепотом очерчен,
Горы соседствующий абрис
Встает из мглистой гуттаперчи.

А там, смиряя холод зверский,
Забыв про миф ударных добыч,
Старая в сказке пионерской
И нахлобучив гор всеобуч,

Во тьме Ган-Эдена для Дана, –
В рамалльской вотчине хотя б уж,
Начистил лампу Рамадана
На нас обиженный Хоттабыч.

Вот так арабская Валгалла
Врачует школьную ангину,
Под храп «Интернационала»
Бычки огней туша о глину.

И промолчим перед затяжкой
Той мглой, в которой будет клацать
Калашниковым одноклашкам
Дискант винтовки «М-16»

И сыпать пули-растеряшки,
Чьи решки резки, взблески вески,
Уткнутся в горы-замарашки
Всплакнуть в советской арабеске.

НА РАССВЕТЕ

1

Ибо в воздухе пахнет железом.
Ибо входит в купальни война.
Но и стыд правоте сотрапезен,
И виною страна голодна.

Ноздри внемлют, да время не видит,
И авгурам бы птиц потрошить,
Но нельзя в правоте и обиде
Долгосрочную правду решить.

Только вновь колдовать над железом.
Ибо нюхает воздух война,
И за пазуху каменно лезет
К оскорбленным пространствам страна.

2

В толчее вековой – нелюдность
Под рукой не имеющим рта,
Подъяремная необходимость,
Ременная любви правота.

Повторяю же снова, что рта нет
У зажмуренно-ноющих мин.
Все равно никогда не настанет
Запоздалый судейский помин.

Все равно родовую обиду
Заедать шерстяным рукавом,
По Левантам, Чечням и Колхидам
Проревев сквозь подручный ревком,

Где генштабам по вспоротым птицам
И в густой человеческой шерсти
Амуницией грозных традиций
Над глазницами родин трясти.

3

Над границами родин-уродин,
Над ресницами родин-цариц –
Если только настанет Господень
Час для читки судейских страниц.

И смешно заповедное братство,
Ибо глины от плоти не сбыть,
И посредством лишь рукоприкладства
Можно правду земную лепить.

Мир же на слово нежное падок,
Но в пеленках родных матерщин
Составитель обещанных радуг –
Прожектор, – ибо небо трещит!

И пространство обиженно голо,
Ибо сушу купает война.
И вернется разведочный голубь,
Ибо трюмная пища темна.

Ольга Авия Касьяненко

*ИЗ ОДНОГО – В ДРУГОЕ**

Простодушно, назойливо, ревниво: «Не скучаешь?» – то есть, про пресловутую ностальгию, есть, мол, или нет. Раньше, бывало, декларативно, резко: «Не было, нет и не будет». Не верят, наверное, до сих пор.

Однажды, осенним днем возник образ. Как бы взбираюсь по золотым ступеням. Чем выше, тем дальше от моего взора оставленный город, остров. Чем он туманнее, мельче, тем, разумеется, подробней. Серебряней. Не доплыть: плавать не умею, несмотря на широкую реку и девяносто восемь каналов, включая Обводный. Переход из одного в другое был тягучим, как микстура, длинным, как расставанье. Разлука Навсегда – концентрированна, как порошок, – невесома, легка. Из серебряного в золотое – не только не страшно, но и не больно. Нужно лишь осторожно обращаться с этой субстанцией, которая состоит из элементов прошедшего времени.

Далеко на северо-западе, в Меньшиковском дворце Васильевского острова в пять тысяч семьсот восьмом году помещался роддом, где я родилась четвертого сивана. В парках расцветал шиповник, на рынках – пионы.

Безмятежное детство перешло в отрочество, когда Мария Федоровна, пожилая вдова подарила мне черную железную коробку акварельных красок из двенадцати цветов, узнав о моем излюбленном занятии. Помню ее горестные рассказы у нас на кухне, за чаем со сливками, о единственной дочери, о зятя-алкоголике-таксисте, то и дело уносившем из дому рисунки и акварели Кузьмы Сергеевича, чтобы обменять их на бутылку в соседних подворотнях. «Лучше относил бы уж в Русский музей, в запасник, может, и заплатили бы больше, и сохранились бы», – сокрушалась она.

Лет через десять, потрясенно рассматривая монографию Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (впервые изданную), я обнаруживала портреты молодой француженки Марии Федоровны, жены. А «розовые» и «утренние» натюрморты с металлическим чайником, где отражаются граненый стакан, спичечный коробок, селедка, фонарик, голова узбекского мальчика, яблоневая ветка, петроградская улица двадцатых годов – все это сияло в залах Русского музея. Но Марии Федоровны уже не было на этом свете.

* Отрывок из книги «Фармакология».

«Демидовское» располагалось на Моховой, в здании бывшего Тенишевского. О том, что по его переходам и ступенькам бегал В. В. Набоков в его отрочестве (наперегонки, так сказать, с О. Э. Мандельштамом), я узнала много лет спустя. К сожалению: может, училась бы усерднее. Прогулки по маршруту: Моховая – «Сайгон» – Малая Садовая. С дымного угла Владимирского на влажные песочные аллеи – и обратно. Кофе: двойной, тройной, четверной, с горячими чашками в руках – по улицам и проспектам. «Европейская», «Астория», подкат на двести метров в такси – на уроки, между уроками, вместо уроков. Новые знакомые, превращающиеся в многочисленных поэтов, прозаиков, фотографов – друзей.

Последним троллейбусом в зимнюю пору, трамваем – в осеннюю, а в летнюю – сквозь город пешком. С тяжелым этюдником, наполненным смелыми акварелями, свидетелями защиты, свидетелями ночных экспедиций. Как говорится, желтые сумерки, белые ночи, серые дни.

Между тем, дипломную работу составили двенадцать листов – иллюстраций некой «весенней прозы». Тогда экзаменаторы с брезгливой гримасой произносили имя «Конашевич». Кто такой по-настоящему Владимир Михайлович Конашевич, я узнала позже, и именно он, этот гений детской книги и тонкий станковист, оказал на меня влияние. А еще – Георгий Нарбут, Сергей Чехонин, Дмитрий Митрохин. Впоследствии – Моранди и Ян Раухвергер.

...Пятым в нашей семье стал племенной боксер, благодаря которому в течение двенадцати (с половиной) лет я называлась кинологом. Умер он у нас на руках, до этого почеловечески попрощавшись, и тайно был похоронен летней ночью рядом с дворцом губернатора. Из каменной земли высекались золотые искры, мы спешили, надо было успеть до рассвета, а Организация Объединенных Наций, засевшая во дворце, высвечивала наши четыре силуэта прожекторами. Через две недели там вырос куст, вскоре превратившийся в густое вечнозеленое дерево. Теперь я знаю, что есть единственное животное на свете, толкающее закрытую дверь. Но наш пятый участник семейной жизни делал это деликатно, желая за закрытой дверью обнаружить нас.

...Все старательнее запоминаю, стремлюсь понять. Когда-то мой наставник в книжной графике Аркадий Мильковицкий определял формулу художника как «глаз – мозг – рука». Но эта формула отражает лишь микроскопическую часть деталей сложнейшего аппарата. Он, аппарат (рабочий инструмент постижения) обязан пребывать в постоянной готовности, но, главное, требуются еще: азбука, ноты, камертон – инструкция. Но все это только средства, как, впрочем, средство и одухотворяемый мною мир, похожий на просторный, длинный, щедро и безупречно обставленный коридор. И важно учиться ориентированию в тончайших переливах серого цвета, потому что с

«некоторых пор нет ни черного, ни белого» – узнала я от моего учителя Ашера Кушнира и подумала: «Как это похоже на задачи, которые ставит перед собой гризайль – монохромная живопись с тональными градациями серого цвета».

Что делать с физическим светом, «спасаясь в исчезающей тени и растворяясь в воздухе нагретом», – это уже упражнения другого рода.

Почти врожденная способность принять, впитать в себя настоящее, даруемое – раскрепощает от воспоминаний. Грубое (или нежное) вторжение в состав прошедшего времени, которое давным-давно утратило ингредиент моего физического присутствия – нежелательно, даже запрещено. Не полностью уничтожить, а спрятать подальше в недоступное темное место. (Вещество, хранящееся длительный срок, лишается активности и смысла.) Не выключая совсем, смикшировать звук. Не следует пребывать в заблуждении, ибо это вызывает нежелательный побочный эффект – утрату нового драгоценного состояния: повышенной чувствительности, равновесия, свободы.

Только крайне редко, в узком семейном кругу позволить себе это излишество – однократную, неопасную дозу «тонкого яда воспоминаний». Некоторые яды при повторном введении обладают свойством суммироваться и вызывать осложнения – условный рефлекс зависимости. И яд, каким бы он ни был, горьким, приторным или просто сладким на вкус – все равно разрушителен. И чем отличается раствор от экстракта, я теперь знаю.

Не без усилий добытая, «самостоятельно» выработанная технология самозащиты для одного лишь – душе не вредить для продолжения новой работы, освоения новой любви. На чужие сравнения, тусклые ассоциации, возгласы типа «как похоже» – никак, ни на что, никогда. Все абсолютно наоборот. Из потенциала – в проекцию. Из колосьев пшеницы и ячменя – в их зерна.

...Наблюдаю за кипарисами, вечером, утром и днем. Как они торжественно вырастают в эту Землю.

Перед сном и по пробуждении вспоминаю: какие, оказывается, листья у граната, ритмический порядок расположения плодов на ветках инжира, прикрепление кроны к стволу, внешний и внутренний ее силуэт при боковом, фронтальном, контражном или верхнем освещении.

Виноградное дерево, всегда нуждающееся в помощи «подпорок», интенсивность его цвета и глубина тона перед закатом.

В чем отличие оливы «мидбар Йегуда» от оливы «Шомрон».

Разнохарактерность пальм: «Тамар» и «Декель».

Соединение плодов, побегов, ветвей.

Особенность перехода трех лепестков «нижнего этажа» адасса (мирта) – в следующий, трехлепестковый, «верхний».

Все растет, как по просьбе. Кроме кофейного, чужеродного дерева, якобы нуждающегося более других во влаге.

Зафиксировать, чтобы не забыть: убедительность и иллюзорность горизонта, вертикаль горизонтального пейзажа, штормовую мощь городского ветра.

А климатических зон – двенадцать, по числу колен, и три дополнительных зоны, как поведала моя учительница Циля Городницкая. Ури Таяр, учитель топографии, знакомя с розмарином, навсегда погрузил его в оливковое масло: надо опустить ветку в золотую бутылку.

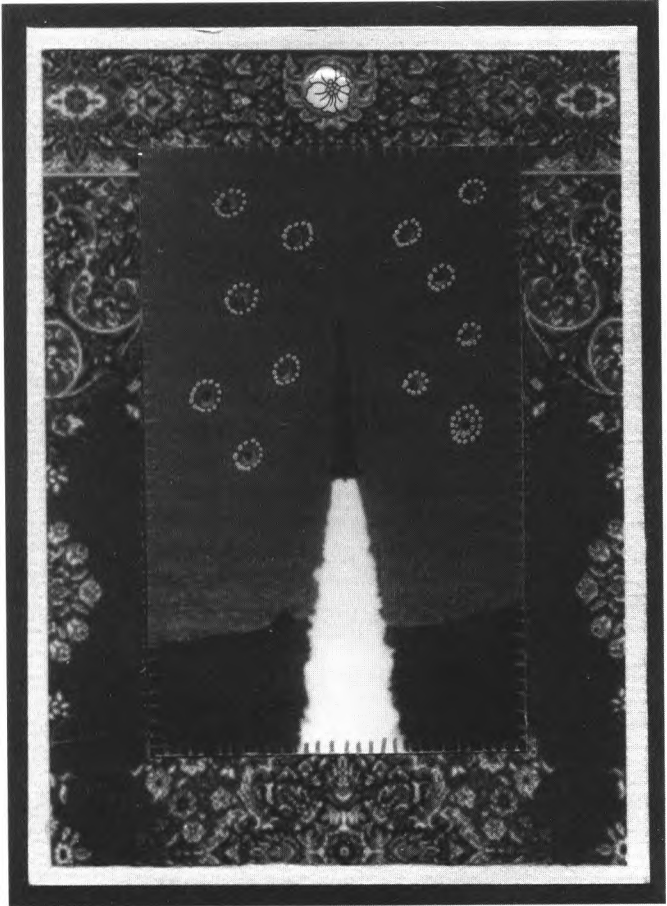
...Из потока сознания – в последовательный анализ. От осторожного сравнения – к неспешному выводу, тихому, личному, частному. От косвенного воздействия – к прямому, непосредственному, «растворенному светом».

...Первым словом, мною выученным, теперь изучаемым («Гашмиют»), стало «гешем». Чтобы лучше его запомнить, вышла это сочетание букв шерстяными нитками на новой шерстяной кофте. То, что сформировано, нужно сохранить.

...Летняя осень первого года была затяжной, сбором урожая грецких орехов – для старшего сына. Дожди начались с появлением в ночном небе ракет средне-дальнего радиуса действия. Бесконтрольное в ту пору, воображение мое раскалилось, и я увидела всю эту Землю, во все четыре стороны, как бы с высоты орлиного полета. Зашкаливало, но я уже не боялась. Через несколько лет это «ночное небо» стало охраняться младшим сыном.

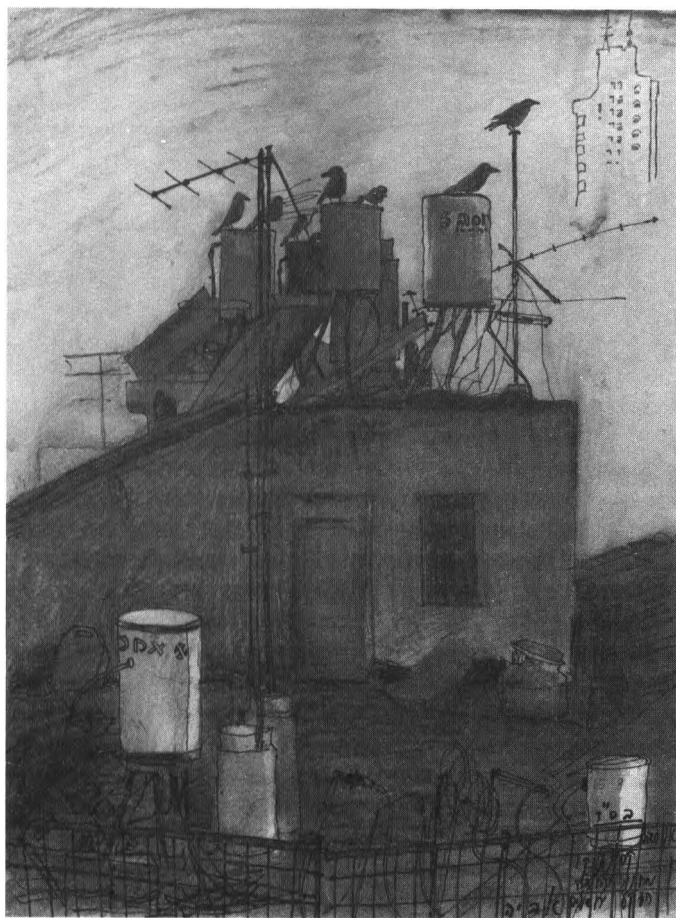
Еще один учитель, Леонид Иоффе, беспокоился, что вдруг привыкну, что сейчас-то, мол, все в первый раз – и зимние громы и молнии, и дождь в первый Пурим, а потом...

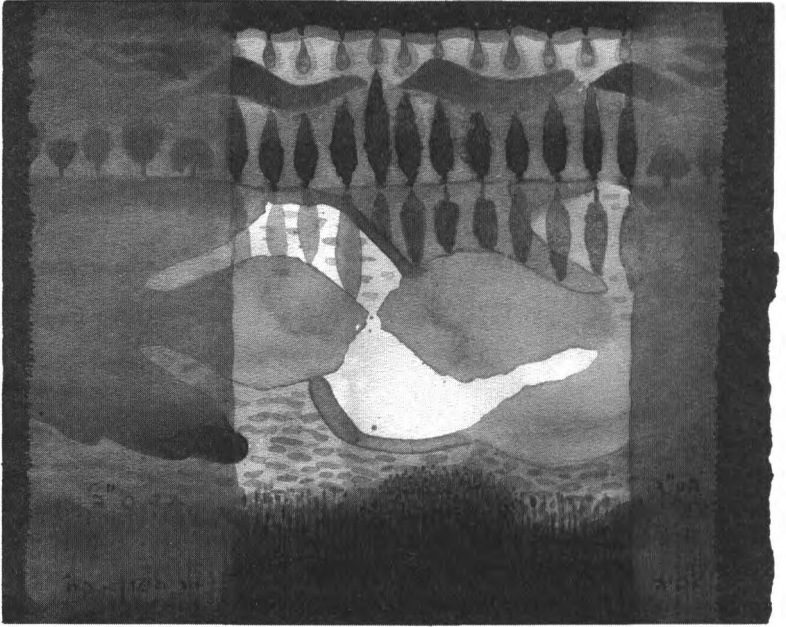
Но угрозы привыкания нет. Есть опасность разрыва сердца от любви.

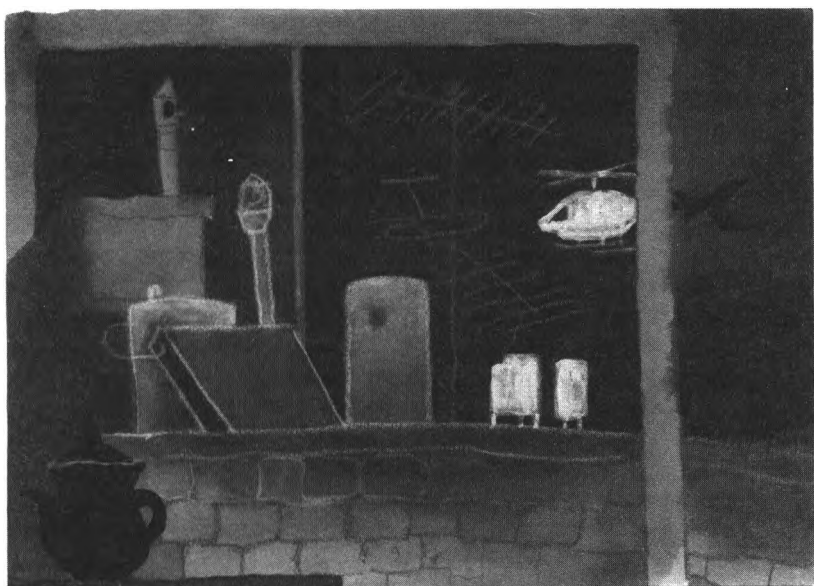


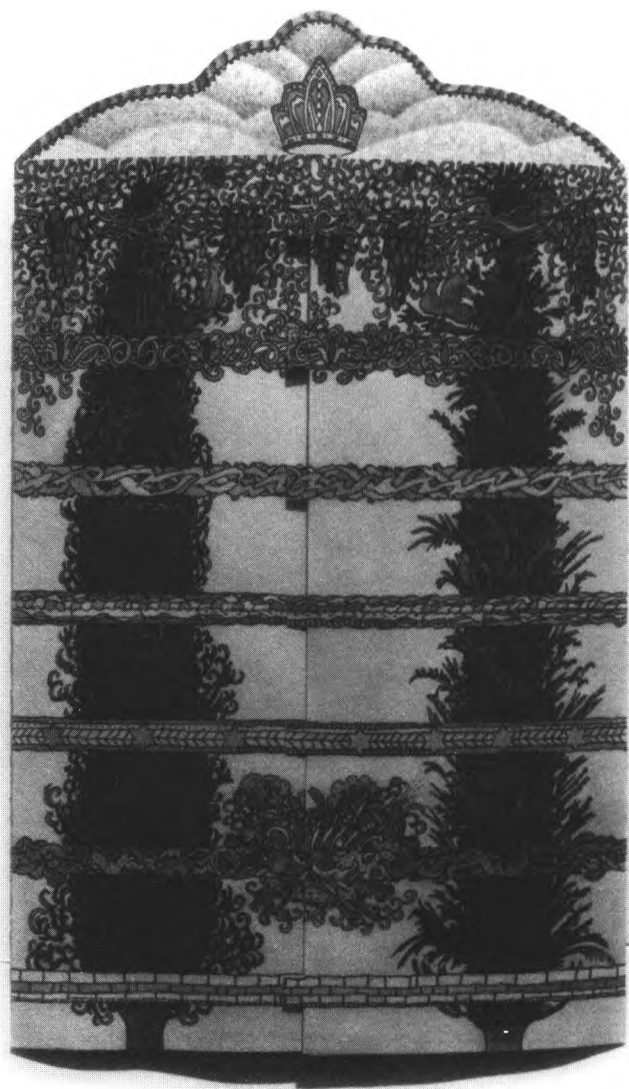












Рав Іцхак Зильбер

*«ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО Я СТАЛ РАССКАЗЫВАТЬ...»**

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. АРЕСТ

История моего ареста

Двух учительских зарплат, которые получали мы с женой, на жизнь не хватало. Постоянно приходилось в конце месяца занимать. Как-то перед Песах я занял у знакомого пять рублей. Близился Шавуот (между Песах и Шавуот – пятьдесят дней), а я всё не мог отдать. Меня это очень угнетало. Тут пришел счет за свет, жена дала мне пять рублей, и я отправился платить. По дороге я решил, что лучше нам пожить какое-то время без света, но вернуть долг...

С этого момента всё и закрутилось... Я вдруг вспомнил, что еще раньше одолжил пять рублей у другого человека, и поехал отдавать ему. В трамвае я подумал: тот, кто дал в долг позже, может обидеться, а этот, который раньше, наверное, нет. Я сошел на полпути с трамвая и пошел к тому, кто мог обидеться...

Дверь мне открыл... милиционер. В квартире всё вверх дном – идет обыск. Меня задержали и повели ко мне домой. А у меня под кроватью лежал сверток с облигациями Государственного займа...

Облигации принес мне и попросил спрятать один знакомый – пенсионер Моше Народович. Он из каких-то своих расчетов скупил по дешевке большое количество облигаций, но держать у себя дома боялся. У меня же, он был уверен, искать не станут:

– Если что случится, и все-таки найдут, скажешь, что это мои, – и написал на одной облигации свою фамилию.

Жена была против:

– Ицхак, я боюсь!

– Чего ты боишься? – успокаивал я. – Мы же ничем таким не занимаемся, у нас искать не будут.

Естественно, при обыске эти облигации тут же нашли. Когда спросили, чьи они, я сказал – мои. Думал, Народович человек пожилой, ему арест перенести труднее. А я как-нибудь выкручусь: учитель всё-таки, и репутация у меня неплохая.

Меня арестовали. Было это как раз накануне Шавуот.

Началось следствие. Каждый раз перед допросом меня ставили в маленькую, как телефонная будка, камеру. Спустя несколько минут я уже

* Журнальный вариант. Окончание. Начало публикации см. в № 9

чувствовал, что задыхаюсь, вот-вот умру... В последний миг меня выволакивали и вели к следователю. (Потом о таких пытках я читал у Солженицына.) Помню имя следователя – Старовер. Он кричал на меня:

– Нет угла, где торгуют облигациями, которого бы я не знал! И тебя там ни разу не видел! Признавайся, чьи они?

Я отвечал:

– Мои.

Допросы были мучительные. Недаром заключенные говорят: полчаса у следователя – как год в лагере. Когда меня привели на допрос в первый раз, там сидело человек пять. Заговорили не про облигации:

– Мы знаем, ты человек верующий. Объясни нам, что это за Б-г такой. У русских он один, у татар – другой, у евреев – третий. И все говорят, что их Б-г – самый правильный. И вообще – как можно в него верить? Вот мы боремся с религией, закрываем церкви и синагоги. Что же он не вступится, если есть? Где же он?

А потом и вовсе сменили тон:

– Знаешь что? Мы сейчас не следователи. Просто люди, товарищи. Сидим, разговариваем, никому ничего докладывать не собираемся. Докажи нам, что есть Б-г!

Я задумался: говорить или нет? Чувствую подвох. Вдруг они собираются использовать мои слова против меня? Очень может быть! Облигации – ерунда! Ну, осудят на пару лет. А вот если добавить обвинения в «религиозной пропаганде», дело станет посерьезней.

Один следователь, еврей, не задавал никаких вопросов, а сидел молча, но как-то напряженно. По лицу я понял, что ему трудно видеть эту игру. Внезапно он вмешался:

– Знаете, товарищи, мы его не изменим, и он нас тоже менять не хочет. Давайте говорить о деле, – и прервал «дружескую» беседу.

Только тогда я осознал, насколько было опасно.

А Народович услышал, что меня взяли, пришел в милицию и заявил, что это его облигации, полагая, что меня сразу отпустят. Но вышло только хуже: меня не отпустили, а его посадили, да еще и оформили дело как «групповое преступление», а за это, сами понимаете, полагался больший срок.

Потом был суд. Год пятьдесят первый – самое время сталинских репрессий и антисемитских кампаний, так что свое я получил. Отсидел я два года (плюс следствие) и вышел по амнистии.

Тюрьма

Во время следствия в тюрьме условия были невыносимые. Сорок три человека в тесной камере, жара, спертый воздух и две открытые параша – большие ведра для отправления надобностей. Я стеснялся ими пользоваться на людях, ходил только ночью, когда все спали. В туалет выводили дважды в сутки: в шесть утра и в шесть вечера – и всего на десять-пятнадцать минут.

Уголовники приметили мое состояние, и когда нас выводили в туалет, нарочно занимали кабинки и сидели до последней минуты, чтобы

я не успел войти. Оправка превратилась для меня в страшное мученье, я чувствовал, что погибаю.

Вскоре я заболел дизентерией. В субботу, в день рождения моей дочери, я совершил омовение рук и хотел съесть кусочек хлеба. Но не смог проглотить ни крошки. У меня не было сил выйти на прогулку, и я просил, чтобы меня оставили в камере. Но не разрешили. Я вышел, прошел два шага и упал...

Очнулся я в тюремной больнице. А придя в себя, узнал, что тут столько же шансов выздороветь, сколько подцепить что-нибудь новенькое. Диагнозы у моих соседей по палате были хуже некуда – открытая форма туберкулеза, сифилис, еще что-то страшное... Я поспешил вернуться в камеру.

Была еще проблема. Мне выдали одеяло, но я не знал, не «шаатнез» ли это («шаатнез» – запрещенная для евреев материя, сотканная из смеси шерсти и льна), и не мог им укрываться.

У моего русского соседа по камере было хлопковое одеяло. Я предложил ему поменяться.

– Зачем тебе?

Я объяснил, в чем дело. Он вскипел:

– Расстреливать вас надо! Из-за таких, как вы, мы не можем построить социализм!

Бесился – просто ужас.

Через три дня его переводят в другую камеру. Он сам подходит с этим одеялом и говорит:

– На, бери!

Чего, спрашивается, подобрел? Не знаю. Все равно – спасибо.

А как быть с молитвой? В камере открытые параша, а молиться в зловонном месте запрещено. Нужно отдалиться не меньше чем на четыре локтя. Пришлось на время молитвы накрывать одну парашу пиджаком, а вторую – пальто, и искать в переполненной камере место, отдаленное от них на четыре локтя. Так я молился.

Про отношения с сокамерниками я уже говорил. Может, их выходки и казались смешными, но мне было не до смеха. Как-то принесли в камеру посылки из дому и дали карандаш расписаться в получении. Все расписались, надзиратель требует карандаш обратно, а его нет!

Ищут-ищут. Все показывают на меня, будто это я взял.

Надзиратель говорит:

– Жду пять минут. Не отдадите – камера лишается передачи на месяц.

Угроза угрозой, а оставить карандаш в камере он в любом случае не имеет права. Обыскали всю камеру, и нашли... у меня, в моей постели!

Как они его подкинули – не знаю, на то они и мастера своего дела. Просто повезло, что тюремщики меня не наказали.

После вынесения приговора заключенных из тюрьмы переводят в лагерь. Со дня на день меня могли отправить неизвестно куда. Выручил рав Пионтек, бывший раввин Тулы. Если бы не он, не знаю, что бы со мной было.

Рав Пионтек сказал моей жене, что он поговорит с человеком, который работает в лагере возле Казани, чтобы меня не выслали далеко.

Гита моя сообразила, добыла деньги, и уже назавтра меня перевели в лагерь в двадцати километрах от Казани.

Первый шабат в лагере

Жена потом шутила, что с курорта не пишут таких писем, какие я писал из лагеря: «Здесь очень хорошо, в туалет хожу, когда пожелаю, весь день работаю на свежем воздухе...»

Когда меня привезли в лагерь, подошли двое заключенных, и один из них спросил на идише:

– А ид? (Еврей?)

– Да.

Он говорит:

– Чем помочь?

– Не хочу в субботу работать.

– Ладно, – говорит, – в пятницу с утра придешь, будет тебе больничный.

Я обрадовался. Но воспользоваться бюллетенем не пришлось. Почему? Потому что я по-настоящему оказался в больнице.

Меня направили на лесоповал. Вдвоем с напарником мы должны были таскать и складывать бревна. Чтобы уложить бревно, мы по узкой доске поднимались на верх штабеля: он впереди, я сзади.

Подъем был крутой, я боялся упасть и шел осторожно. Напарник заметил это и, как только я ступал на доску, начинал на ней приплясывать, чтобы меня напугать. Так он плясал во вторник, в среду, а в четверг я сорвался и упал вместе с бревном. Счастье, что очки сразу свалились, а то бы остался без глаз.

Расшибся я основательно, если судить по тому, что продержали в лагерьной больнице три недели, а там «просто так» не лежат. Левая рука так и не восстановилась полностью. Я лежал забинтованный и не помнил себя от радости – три шабата свободен! Найди я клад в миллион долларов, и то, наверно, так не радовался бы.

Но прошли три недели, и вот меня выписывают, да еще перед самой субботой. Что делать? Когда в субботу меня погнали работать, я сказал, что еще болит рука. Бригадир обратился к врачу, тот говорит:

– Раз я выписал, значит, может работать.

Бригадир стал меня бить. Я убежал и спрятался в сломанной лодке, их там много было на берегу реки. В двенадцать часов идут обедать. Слышу, один заключенный говорит: «Смотри, кто-то лежит в лодке». Что делать? Если охранники меня обнаружат, не миновать обвинения в саботаже. Вижу, прямо в мою сторону идут несколько заключенных, и среди них тот самый еврей, который обещал мне больничный, – Семен Семенович Лукацкий. Он был еще довольно далеко, но, что называется, в пределах слышимости. Я подумал: он всё-таки одессит, идиш, наверно, знает. И шепчу:

– Семен Семенович, фарклап зей дем коп («заморочь им голову»).

Это чтоб меня не заметили. В ответ раздается бодрый голос:

– Между прочим, сегодня в газете – статья великого Сталина. Экономические проблемы при строительстве социалистического общества. Такая глубина мысли! Хотите, прочитаем?

Кто посмеет отказаться? Остановились, и он начинает читать и комментировать. Болтает, болтает, вдруг я слышу:

– Как говорит известная латинская пословица, баалт зих ин а цвейтн орт (на идише – «спрячься в другом месте»).

И чтение продолжается.

Я потихоньку выбрался из-под лодки, прошел метров сто и спрятался под другой. Была осень, шел дождь. Много часов я пролежал, не поднимая головы.

Кончился рабочий день. Без четверти пять прозвучал гудок отбоя, а я всё лежу – ничего не слышу.

Заклоченных выстроили, пересчитали – одного не хватает. Стали искать, и нашли меня только через сорок пять минут.

Сорок пять минут люди стояли под холодным дождем, а в столовой сыхла еда. Вы представить себе не можете, что творилось, когда меня нашли... Каждый был готов разорвать меня на тысячу кусков.

Я с ужасом думал: «Ведь это только первая суббота!»

В этот вечер я читал «слихот» (покаянные молитвы перед Рош а-Шана – Новым годом) так сосредоточенно, как, может, молился раз в жизни – когда в Столбищах сбился с дороги и замерзал. Меня не покидала мысль, что Б-г укажет мне путь.

И я опять увидел, что есть Тот, Кто слышит молитву. Вышел на улицу и встретил Кольку-нарядчика. Я говорю:

– Слушай, Коля! Ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я хочу другую работу.

Он спрашивает:

– Какую?

А меня Лукацкий уже научил, что просить.

– Надо, чтобы ты ни от кого не зависел, – сказал он. – Есть работа – воду носить. Конечно, натаскать воды на три тысячи человек одному тяжело, но, если будешь один, как-нибудь выкрутишься в субботу.

Поэтому я сказал Кольке:

– Хочу носить воду.

Он говорит:

– А что я с этого буду иметь?

– Двадцать пять, – говорю, и тут же вручаю ему пятнадцать рублей – аванс, так сказать.

С того вечера у меня появилась возможность не работать в субботу. И я носил воду до конца срока.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. В ЛАГЕРЕ

Будни и праздники

Спустя неделю после моего прибытия в лагерь наступил праздник Рош а-Шана. Молитвы я знал наизусть, но всё-таки хотелось иметь

махзор (сборник праздничных молитв). Верьте – не верьте, но махзор мне принес секретарь парторганизации лагеря, еврей Вишневецкий.

Как я не побоялся прийти к нему с такой просьбой? А я увидел, что он, несмотря на коммунистическое воспитание, человек честный и порядочный. Когда нас никто не слышал, я с ним спорил о Сталине, доказывал, что у того нет пророческого дара (что, конечно, было смертельно опасно). Не знаю, действительно ли Вишневецкий так думал, но вот как он объяснял мне плохое отношение к евреям:

– Представь себе, что у отца два сына. Один работает, делает все, что требуется, а второй отлынивает, любит пенки снимать. Наступает праздник. Кого посадить во главе стола? Того, кто отлынивает и ничего не делает, или того, кто работает, старается? Русский народ строит социализм, а евреи – отлынивают. Они или в торговле, или в науке.

Тем не менее, я спросил:

– Если я дам тебе адрес и попрошу принести книгу, принесешь?

– Принесу, – говорит.

И он принес мне, кроме махзора, *мишнайт*, ТАНАХ и даже карманного формата Агаду. Агада – рассказ об исходе евреев из египетского рабства; его читают во время праздничной пасхальной трапезы, которая называется *седер Песах*. Передавая книги, Вишневецкий предупредил:

– Даже если тебя будут резать на куски, не говори, кто принес.

Итак, молитвенник у меня был, и в первый день Рош а-Шана мы вместе с еще несколькими евреями тайно молились.

Едва мы закончили, в лагере вдруг вспыхнул пожар. Мгновенно началось столпотворение. Лагерь весь в дыму и огне, заключенные и охрана мечутся, крики, распоряжения, паника. Усилия надзирателей были направлены не столько против пожара, сколько против заключенных – нас загнали в какую-то комнату, полную дыма, и заперли.

Это было страшно. Только что мы читали молитву: «Поведаем о святости этого дня, ибо он страшен и грозен...» Только что мы произносили: «В новолетие приговор записывается... кому жить и кому умереть... кому смерть от воды и кому от огня...» И тут же – часа не прошло! – горит весь лагерь! Сгорел внешний забор, часть бараков, административных зданий... Погибли люди, не знаю, сколько!

Благословен Всевышний, я остался жив. Жене сперва сказали, что я среди сгоревших. Сколько она пережила!..

В Йом-Кипур я внушил всем заключенным-евреям, что необходимо поститься и работать нельзя. Если же человек вынужден работать, он должен хотя бы отложить на завтра то, что можно. С каждым по очереди (все сумели найти по паре минут) я выполнил «капарот» – обряд искупления накануне Йом-Кипур.

Вечером после Йом-Кипур ко мне заглянул один заключенный:

– Слушай, у меня вопрос. Работать, ты сказал, нельзя. А курить?

Ничего люди не знали. До ареста этот человек был видным деятелем профсоюза.

Коллективную молитву мне организовать удалось, а вот миньян за время заключения я смог собрать только один раз – в *йорцайт* отца. Но – молились или не молились – стукачей среди евреев не было.

Всё, что мог, я старался строго выполнять. Только в Суккот не смог ни построить *сукку*, ни раздобыть «четыре вида». Есть правило: если выполнить мицву невозможно, человек от нее освобожден. Думается, на меня такое освобождение в этом случае распространялось.

Я молился всегда в определенное время – до работы.

Помню, однажды вызвали к начальнику лагеря. А я стоял и читал «Шмонэ эсре». Естественно, я и не двинулся. Пришли снова, раскричались. Я стою. Кто-то из заключенных говорит:

– Есть у него это: если он так «стоит», убей – ничего не сделаешь.

Пришлось им подождать, пока я кончу молиться.

Тфилин

Я просил жену отыскать для меня в Казани самые маленькие тфилин. В октябре жена пришла ко мне на свидание вместе с детьми. Сару – ей было тогда три года – дали мне на руки. Трое надзирателей не спускали с нас глаз.

Я знал, что в одном валеночке у Сары спрятаны головные тфилин, а в другом – наручные. Я посадил ее на колени, положил ногу на ногу (а был я в больших широких валенках), снимаю валеночек, переворачиваю его прямо над своим валенком. Тфилин падает из ее валенка в мой. Я загоняю его под стопу. Повторяю всё со вторым валенком. Готово!

Свидание окончено. Обыск. У меня ничего не находят.

Следующая задача – где хранить. Обошел весь лагерь – ничего подходящего. Наконец набредаю на барак, где в углу свалена куча изорванных валенок. И пространство – сантиметров в тридцать-сорок шириной – отгорожено занавеской. Говорю себе: «Этот барак приготовлен Всевышним для меня – чтобы прятать тфилин».

Иду к старосте барака:

– Михаил Иваныч, хочу у тебя в бараке жить.

В ответ – традиционный вопрос:

– А что я с этого буду иметь?

Ну, тут уж просто:

– Тебе положено мыть полы и приносить шесть ведер кипятка утром и шесть – вечером. Буду носить за тебя кипяток и полы мыть помогу.

На том и поладили.

Теперь я мог прятать книги под валенками за занавеской. Оставлять здесь на весь день тфилин я все-таки не решался: вдруг это место вздумают расчистить! Каждое утро я надевал тфилин, потом прятал в карман пальто, а пальто сдавал в каптерку. Наутро, в полшестого, я брал пальто, надевал тфилин, молился и опять сдавал пальто в каптерку. Что думали про мои манипуляции, я не интересовался.

Из-за этого все два года в лагере я работал на улице в одном пиджаке, а зимы в Татарии суровые: минус двадцать – двадцать пять, а то и тридцать пять градусов. Страшно мерзли руки и уши, но я ни разу не

простудился. (Удивительная вещь: выйдя из лагеря, я одевался тепло и всё-таки подхватил воспаление легких.)

Лагерный НОТ

Знаете, что такое НОТ? Научная организация труда. Хотя я и не специалист в этой области, однажды пришлось заняться и этим.

Я взялся обеспечивать лагерь водой, таскать воду ведрами из проруби на реке Казанке. Я был доволен, что успевал до захода солнца в пятницу натаскать воды, чтобы хватило до полудня в субботу. Оставалось еще от полудня до исхода субботы. Помогали заключенные, за три-пять рублей, пайку хлеба...

Сказано у Рамбама: «Каждый еврей обязан учить Тору... даже бедняк, который просит по домам и обременен семьей, должен найти время учить Тору днем и ночью». И до какой поры? Сказано: все дни твоей жизни. Поэтому я искал время для занятий.

Но как же его найти, если я ношу воду с половины шестого утра до половины восьмого вечера и прихожу в барак уже совсем без сил?

Что делать, стал я работать бегом. И удавалось каждый час на пятнадцать минут забегать в барак за занавеску, где спрятаны книги, – и опять бегом к реке.

Говорят, чередовать физический труд с умственным очень полезно. Я и чередовал.

Работал я примерно четырнадцать часов – значит, учился часа три, три с половиной. Три часа – да мне и сегодня трудно выкроить столько для учебы! Так я выучил многое наизусть, хоть сейчас в любом месте откройте – скажу... Это осталось от лагеря. И еще я разобрал в лагере трактат «Киним» (его мне тоже принес Вишневу). На воле я его учил – не понимал, а здесь – понял.

Камера освещалась слабой сорокаваттной лампочкой. Было, правда, еще и окно, но оно так обрастало льдом, что практически не пропускало света. Почти не проникал свет и через занавеску, за которой я прятался.

Долго я мучился, пока, в конце концов, не приобрел способность читать в темноте. Она у меня по сей день сохранилась – иногда я демонстрирую ее своим слушателям: выключаю свет, накрываюсь с головой – и читаю.

Бригадир-татарин был доволен моей работой. Кроме того, что я носил воду, я очищал территорию от снега и льда и вообще выполнял все его просьбы. Он был человек порядочный, и я был с ним откровенен: «Давай мне сейчас любую работу – всё сделаю. Но на Пасху два дня я работать не буду».

Договорился и со старостой барака: мытье полов и доставка кипятка – на субботу и Песах отменяются.

Что же он сделал? Он поступил некрасиво.

В Песах в барак зашел мой бригадир. Староста специально при нем предлагает мне помыть пол:

– Давай, помоги.

Я ему напоминаю:

– Мы же договорились, что сегодня я не мою.

Он поворачивается к бригадиру:

– Нет, ты глянь! Для нас с тобой нет праздника, а Зильбер что-то там празднует. Работать отказывается.

Бригадир спокойно отвечает:

– Да, ни у кого нет праздника, а у него – есть. Он договорился со мной, всё сделал заранее, пусть сегодня отдыхает.

Староста остался с носом. И хотя я еще долго жил в этом бараке, помогал мыть полы, носил воду, но никогда с ним не разговаривал.

Новый бригадир Гайнуллин

Так я устраивался, пока мой бригадир не вышел на свободу. На его место назначили некоего Гайнуллина. Вредный тип оказался. Несмотря на то, что в воде недостатка не было, он заметил, что в субботу я воду не ношу, и решил заставить меня нарушить субботу.

Расскажу только два случая, а их было много.

В мои обязанности входило мыть пол в умывальной комнате. В пятницу я вымыл, а в субботу утром по договоренности пол вымыл другой заключенный. Вымыл очень добросовестно.

Гайнуллин приходит в девять утра и тычет в пол ногой:

– Грязь развели!

Добивается, чтобы я сам мыл. Я опять нашел кого-то, тот помыл.

Гайнуллин приходит в двенадцать – спустя три часа, и опять:

– Пол грязный, надо помыть.

Я снова нашел помощника.

Является через три часа, опять топает в пол. Я нашел еще мойщика. Так Гайнуллин пришел в пять и снова топает: «Пол не помыт».

Тут я, сколько ни искал, – нет желающих подзаработать. Что делать?

Нашел я одного русского старика, лет под семьдесят. На фоне других – человек более или менее приличный, верующий. Лежит, бедняга, больной, без сил.

Я прошу:

– Выручи, пожалуйста. Ты ведь знаешь, я в субботу не работаю. А бригадир заставляет.

И он, больной, поднялся и помыл пол.

Второй случай. В ночь с пятницы на субботу, часов в двенадцать, меня вдруг будят. Пришел Гайнуллин еще с одним заключенным, с двумя лопатами:

– Что, Зильбер? Спишь себе? А завтра с утра, между прочим, комиссия приезжает. Сам министр внутренних дел из Москвы! А на территории уйма хлама! Надо убрать. Вот вы вдвоем и идите. Площадь большая, но за ночь управитесь. К шести утра чтоб было готово.

Что тут возразишь? Да у меня и привычки такой нет – спорить. Одеваюсь, иду. На улице мороз за тридцать и метель. Снег колет лицо.

Лопаты нес напарник, а я вот что сделал. По природе я нетерпелив, всегда тороплюсь и действую быстро. Но тут стал тянуть время. Дожидаюсь, пока Гайнуллин промерзнет и уйдет.

Пришли на место. Бригадир показывает, как и что.

– Ладно, – говорю, и, не спеша, завязываю ушанку. Потом начинаю застегивать пальто, тоже очень тщательно – холодно ведь!

Так, рукавиц нет! Надо найти. Суечусь, ищу. Одну нашел, второй не хватает...

Короче, минут за двадцать он дошел – метель была нешуточная. Повернулся, буркнул: «Чтобы к шести кончили» – и удалился. Я говорю напарнику:

– Слушай, заплачу, сколько скажешь, только сделай работу сам.

И вернулся в барак.

Конечно, всё оказалось враньем: никакой министр не приезжал, Гайнуллин это для меня выдумал.

А потом он придумал кое-что похуже: разнюхал, видно, негодяй, что я за занавеской читаю. Было общее собрание. Гайнуллин отчитывался за чистоту территории и снабжение водой:

– В смысле воды и чистоты сейчас всё в порядке, одно нехорошо: не могу заставить Зильбера работать в субботу.

Начальство, как услышало, расшумелось:

– Что этот Зильбер себе воображает? Он где? В Америке, в Израиле или в лагере в Союзе? Что значит – не работает! А чем он занимается?

Гайнуллин распустил язык:

– Я слышал, какие-то книжки читает.

Тут бы мне плохо пришлось, но случилось чудо. К Гайнуллину подошли с двух сторон и схватили его за горло.

Это были два удмурта, старые лагерные волки. Высокие такие, здоровые. Сроки у них были большие, таких страшных людей я в жизни своей не видел. И не сказать, что ко мне хорошо относились, – изводили как могли. Но Гайнуллина они предупредили:

– Ты сколько в лагере? Три года? А мы семь лет. И все семь лет мучились с водой и скандалили из-за нее! А с тех пор, как воду Зильбер носит, всё в порядке. Так что будешь болтать – придушим прямо здесь. Ну, накинут пять лет к сроку – наплевать.

Никто не посмел вмешаться. Гайнуллин перепугался, «сменил пластинку» – и всё как-то замялось.

Загадочное преобразование

Нельзя сказать, что в лагере царили дружелюбие и добрые нравы. Но один из уголовников, некто Уваров, делал мою жизнь просто невыносимой. Порой я приходил в отчаяние от его злобных выходок.

Это был человек лет сорока, с опытом нескольких отсидок. Почему он так стремился причинить мне зло, не знаю. Да это и не важно.

Заметив, что я очень дорожу своим закутком, он сломал балку, на которой держалась занавеска. Это было ужасно. Негде стало учиться, негде молиться...

Уваров занимался ремонтом инструментов. И вот, вместо того, чтобы починить вещи, которые я ему отнес, он передал их начальству: мол, Зильберу выдали, а он изрезал и выбросил. Или ломал мои метлы и лопаты и закидывал обломки на крышу. Короче, искал любой возможности мне навредить...

Вдруг, в пятницу, Уваров подходит ко мне:

– Слушай, ты же ищешь людей, чтобы за тебя в субботу носили воду? Больше не ищи. Я буду носить за тебя каждую субботу.

Уваров выполнил обещание. Вплоть до его выхода из лагеря мне ни разу не пришлось никого просить: вода всегда была принесена, пол вымыт. Я ему платил, конечно.

Отчего Уваров так изменился, я не спрашивал. Но другим было любопытно. Оказалось, во сне его предупредили, что, если он не хочет себе беды, то не должен вредить мне, а напротив – помогать. (В моей жизни было два таких случая. О втором, с Ахмановым, еще расскажу.)

Сон произвел на Уварова такое сильное впечатление, что однажды он даже пошел на «месирут нефеш» (буквально – «предание души», то есть самопожертвование с риском для жизни).

Заключенным делали прививку. Опытный зек, Уваров полагал, что укол может быть опасен для здоровья, и категорически отказался. Его уговаривали, ругали, угрожали карцером – он не отступил. А когда процедура уже заканчивалась, вдруг подошел и говорит:

– Ладно, делайте.

Его спросили:

– О чем же ты раньше думал? И почему всё-таки согласился?

Он объяснил:

– Вспомнил, что завтра суббота!

Он не хотел попасть в карцер, потому что тогда некому будет мыть полы и носить воду. Не хотел нарушить обещание.

На Песах я Уварову и *хамец* продал. Все дни Песаха нельзя не только есть продукты из кислого теста, но и «владеть» ими; их можно заблаговременно продать не еврею, что мы и сделали: отдали Уварову все свои сухари. Я ему объяснил.

Денег у него не было. Я дал ему полтинник, он отдал мне его как задаток, и всё было продано по закону. Ему же отдали и восьмидневный хлебный паек на пятнадцать человек. Он, конечно, был рад.

Так он помогал мне с полгода, пока не вышел на волю.

Жулик ли Зильбер?

Я старался поддерживать с людьми нормальные отношения, дружил и беседовал со всеми. Со всеми, кроме двоих.

Один, русский, до лагеря был главным инженером одесского завода имени Андре Марти и продолжал работать на этом заводе во время

оккупации. Он пытался со мной заговаривать, объяснить свой поступок, но я не мог говорить с тем, кто помогал немцам.

Второй был еврей, главный бухгалтер Казанского университета. Он постоянно высмеивал евреев, говорил о них всякие гадости. Рассядется и начинает:

– Да они все обманщики! Только очки втирают, будто верующие.

Из-за его «откровений» не оставалось никакой возможности соблюдать законы тайно. Это было страшное предательство.

Однажды в перерыве сидит он, как всегда, со своей компанией, среди них – Азат, татарин, карточный шулер. Плохой был человек. Как-то проигравший стал его обвинять в мошенничестве, так Азат разбил ему голову лопатой.

Сидит этот «бухгалтер» и болтает на любимую тему – про евреев. А я ношу воду и, проходя мимо них, слышу обрывки разговора. Кто-то оратору возражает:

– А вот Зильбер как же? Он вроде не жулик!

– Тоже жулик. Наверняка.

– Что-то непохоже.

– Думаете, честный? По еврейскому закону нельзя бриться лезвием.

А он без бороды!

Тут я удаляюсь и ответа не слышу. Потом узнал: кто-то объяснил, что я бреюсь машинкой, – сам, мол, в бане видел.

Опять прохожу с ведрами, и слышу:

– Все равно жулик!

Слушатели:

– Да в чем?

Он начинает рассказывать про Песах: что хлеб нельзя есть.

Какой-то старый татарин говорит ему:

– В Песах, мы видели, он и еще один еврей ели что-то белое, мацу.

И в следующий раз слышу:

– Да жулик он, жулик, нечего говорить.

– Что еще? – спрашивают.

– А суббота как же? В субботу ведь работать нельзя.

Ему объясняют, что я в субботу воду не ношу, а прошу других. Он смеется:

– Да ладно вам! Сколько это может продолжаться? Ну, поработают за него субботу, другую. А потом что?

Тут вскакивает страшный Азат, бьет по скамье кулаком и кричит:

– Нет, мы не допустим! Я буду за него работать, другие будут – не допустим!

Тот еврей притих.

Прошло несколько дней. Он подходит ко мне и спрашивает:

– Почему вы со мной не разговариваете?

Я ему сказал правду:

– Я видел, что вы смеетесь над еврейскими законами, поэтому я с вами не разговариваю.

– А может, вы со мной поговорите, и я изменюсь?

В общем, стал я с ним заниматься. Прошло время, и в Йом-Кипур он постился. Когда человек хочет, из любой грязи может выбраться.

Заклученный по кличке Шинбе

Мне дали кличку Шинбе – «суббота» по-татарски: из-за того, что я в субботу не работаю. В этот день я учил Тору.

В любой камере самым плохим местом считалось у двери, потому что там очень холодно. Я же выбирал именно это место. Во-первых, потому, что у двери бачок с кипятком, а в субботу это особенно удобно, во-вторых, потому, что там стояла узенькая тумбочка, которая служила мне субботним столом. Я добывал два листочка чистой бумаги (что непросто в лагере), выкладывал на один две сбереженные пайки хлеба, накрывал вторым листом и встречал шабат. Заклученные-татары называли мой закуток за дверью «еврейский кабинетка».

Как за столом в своем доме, проводил я субботу и в этом закутке.

Шмини Ацерет

Первое время в должности водоноса я не обращал внимания на постоянно мокрые руки и одежду. Мороз зимой доходил до тридцати градусов. Пролившаяся на руки вода сразу замерзала. Кожа на руках потрескалась, язвы не заживали, и руки так болели, что я не думал, что сохраню их. Но я таскал и таскал ведра с величайшим усердием – ведь за это я получал субботу.

Наступил вечер Шмини Ацерет – праздника, который приходится на восьмой день Суккот. Стояла глубокая осень. Не так уж и холодно – морозов еще нет, но внезапно начались резкие боли в руках и ногах. Сегодня, когда я прожил и пережил уже немало, скажу: за всю жизнь (а я, как-никак, перенес инфаркт и операцию на сердце) я таких болей не испытывал. Похоже было, что дело пахнет острым ревматизмом. Неужели останусь калекой?

Приступ застиг меня на улице. Едва передвигая ноги, с величайшим трудом я добрался до барака, он обогрелся батареей, обхватил батарею обеими руками и так пролежал до вечера. Только вечером я спохватился – сегодня же Шмини Ацерет! Надо веселиться, надо танцевать! Танцевать у меня, конечно, не получится. Но спеть надо!

Со мной в бараке сидел мой подельник Моше Народович. Он хорошо пел, и я предложил:

– Давай споем какой-нибудь *нигун* (так на идише называют праздничные песнопения, а субботние – *змира*).

Он запел, и я присоединился. Все смотрели на меня как на сумасшедшего: чего поет, чему радуется? Это лежа-то на батарее!

Недели через три боли уменьшились. А потом и вовсе прошли.

Ханука

Приближалась Ханука. Первый и главный вопрос – где раздобыть ханукальные свечи?

Я искал, кто бы мог помочь, и нашел художника из Вильнюса, Добровицкого. Правда, обращаться к нему было рискованно, он вертелся возле лагерного оперуполномоченного, и о нем поговаривали, что он «скрипка-опера» («доносчик» на лагерном жаргоне). Но я рассказал ему про Хануку.

Совершенно ничего не знавший о еврействе Добровицкий загорелся. Он работал в КВЧ (культурно-воспитательной части) и раздобыл там одну большую свечу. Я разделил ее на восемь частей, рассчитав, чтобы каждая горела полчаса – по одной свече на каждый из восьми дней праздника. Обычно в каждый из дней Хануки в светильник добавляют по одной свече, так что в восьмой день зажигают уже восемь, но по закону одной свечи достаточно.

Но – где их зажигать, чтобы не обнаружили? Разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит каждые пятнадцать минут, а ханукальные свечи должны гореть не менее получаса. Как быть?

Были две умывальные комнаты. Я собрал евреев в одной из умывален, запер дверь, зажег свечу и вылил на пол ведро воды. Через четверть часа стучит надзиратель. Я говорю:

– Извини, я пол мою. Только что воды налил – тебе не войти. Подожди минут пятнадцать.

В эти пятнадцать минут я выполнил «*тирсума ниса*» – возгласение о чуде. Я для того и слушателей собрал. Рассказывать о чуде с маслом для храмового светильника – одна из ханукальных заповедей.

Так мы провели восемь дней Хануки.

Мишлоах манот

Было это в пятьдесят втором году. С хлебом было туго, и я немножко голодал. А тут – Пурим. Заповедь о «*мишлоах манот*» требует посылать в Пурим подарки друзьям и беднякам.

Что посылать? То, что ценно в данном месте в данное время. В лагере луковица – большое богатство. Я обошел бараки и нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара.

Чтобы полностью выполнить мицву, желательно послать пуримский подарок торжественно, через посланца. Я взял луковицу, сахар и попросил одного ленинградского еврея быть посыльным. Подошли мы вместе, и тот говорит:

– Айзик Миронович (о нем еще будет разговор), тебе Ицхак Зильбер посылает подарок.

Тот взял и тут же съел.

В заповеди сказано: «*мишлоах манот иш ле-резу*» – что толкуется как два блюда другу и подарки двум беднякам. Для подарка бедным я отложил некую сумму, чтобы отдать ее потом, по выходе из лагеря. Я не подумал, что можно отдать в лагере – заключенные ведь тоже бедные. Я привык, что мы все одинаковые – ту же пайку получаем. На самом же деле можно было отдать там.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«Дело врачей»

Зима пятьдесят третьего года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем – разгар «дела врачей».

В январе в центральной печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы «врачей-вредителей», которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей, добиваясь их смерти. Большинство этих «врачей-убийц», «агентов иностранных разведок» были евреи.

Начались увольнения с работы, «разоблачения» и аресты все новых и новых «еврейских вредителей».

Люди, приходившие навещать заключенных, рассказывали страшные истории. Шестнадцатилетняя девушка совершенно искренне делилась с братом известием, что их районный врач-еврейка покончила с собой, сделав тридцати пяти детям уколы, от которых они умерли. Один парень говорил, что при попытке взорвать завод поймали шестерых евреев-инженеров. Причем, на заводе он сам, почти что очевидец, работает. Ну, как было не поверить таким рассказчиком?! Да не будь я евреем, может, сам бы поверил.

Помню, еврей-заключенный, тот самый, что спрашивал, можно ли курить в Йом-Кипур, говорил про врачей:

– Не верю, что это выдумка. Нельзя такое выдумать.

Действительно, это не умещалось в голове. Столько фактов, имен, улик, а главное – признаний!

– Зачем, зачем им это было нужно? – недоумевал он.

Я сказал, что думаю – всё это неправда. Он возмутился:

– Во всем тебе поверю, только не в том, что это – фальшивка!

По всей территории лагеря развесили плакаты: человек в белом халате, с бородой, с крючковатым носом, режет ребенка; кровь льется рекой. Подпись под рисунком: «Врачи-убийцы».

Когда я шел мимо такого плаката, мне неизменно бросали:

– Эй, Абраша! Что твои доктора делают с нашими детьми?

Если проходил не один, следовала реплика:

– Вот и «Джойнт» в полном составе.

О «Джойнте» – Американском обществе помощи нуждающимся евреям – газеты твердили, будто оно занимается диверсиями и вербовкой шпионов в СССР.

Суд над «врачами-убийцами» был назначен на шестое марта. Приговор был заранее известен: повесить на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев в Сибирь и на Дальний Восток.

В домоуправлениях и в отделах кадров были составлены списки тех, у кого и отец, и мать евреи (они подлежали депортации в первую очередь), и кто родился в смешанном браке. Потом, в Израиле, мне довелось встретить людей, которые успели получить распоряжение явиться к поезду не больше, чем с двумя сумками (одна женщина была из Москвы, другая – из Ленинграда).

Сталин намеревался начать высылку еще в середине февраля, но списки не были готовы. По дороге в Сибирь половина выселенных неминуемо бы погибла: голод и холод в неотапливаемых вагонах, расправа на остановках – народ «бурно выразит» свое возмущение преступлением врачей...

Для тех немногих, что уцелеют, в тайге были выстроены бараки по типу концлагерей, длиной в полтора километра...

Мой старый чемодан

Есть у меня чемодан, который я люблю держать под рукой, сидя за столом в Пурим и на *седер Песах*. С этим необыкновенным чемоданом трижды происходили чудеса.

Начнем с того, что чемодан краденый. Что значит – краденый? В лагере, где я находился, имелось мебельное производство. Естественно, заключенные крали фанеру. А из фанеры делали чемоданы. Но, выходя на свободу, это «государственное имущество» они должны были оставлять за проволокой. Один такой оставленный чемодан достался мне, и я держал в нем свои вещи.

В конце февраля группу заключенных, и меня в том числе, переводили в другой лагерь. День отъезда объявили неожиданно, собраться нужно было немедленно. Я оказался перед сложной проблемой: как перенести в новый лагерь мое тайное имущество?

Страшно даже подумать, что будет, если найдут тфилин и книги. Я уж не говорю об обвинениях в контрреволюции. Но ведь сразу начнется: «Откуда это и как сюда попало?» Вишнев же предупреждал: «Резать будут на куски – не говори».

Стоят три надзирателя, смотрят во все глаза, обыск идет самый тщательный, перебирают всё.

Я решил сделать так: положил на дно чемодана книги и тфилин, на них – немного сухарей, сверху – машинку для бритвы. На самый верх положил горшочки из-под риса.

Сейчас объясню, как они ко мне попали. В лагере я ничего, кроме хлеба, не ел, поэтому каждые десять дней жена приносила мне горшочек с рисом. Должен сказать, рис мне так надоел, что с тех пор я на него смотреть не могу.

Однажды рис принесла не жена, а какая-то незнакомая женщина.

– Что с женой? – спрашиваю.

– Заболела.

Проходит несколько недель – никого нет. Потом опять приходит женщина и приносит горшок с рисом.

– У твоего сына воспаление среднего уха. Положение серьезное, жена придти не может, – и опять исчезла.

Можете себе представить мое состояние! Чужие люди приносят еду, о семье нет никаких сведений!

Некому было отдать эти два горшка, и я положил их сверху в чемодан и закрыл его. Я только потом понял, что всё стечение обстоятельств было не случайным. Но тогда мне трудно было это понять.

Собрав чемодан, я сказал Всевышнему: «*Рибоно шель олам*, я делаю, что я могу. Ты сделай, что Ты можешь».

Главным проверяющим при обыске был Олимпиев, скверный человек. Он делал чудовищные вещи. Вот вам один только случай.

Можете мне поверить, работал я добросовестно. Я носил воду для всего лагеря, убирал территорию, да еще взялся чистить ото льда трехэтажную металлическую лестницу, шедшую снаружи здания. Для этого мне выдали лопату и метлу. Как-то раз отбил я лопатой лед, прислонил ее к стене и на секунду отвернулся взять метлу. В это время мимо проходил Олимпиев. Поднимаю голову – нет лопаты. Я бегу за ним:

– Гражданин начальник, где лопата?

Он говорит:

– Какая лопата? Не знаю никакой лопаты.

И пишет рапорт: заключенный Зильбер взял лопату якобы для работы, а на самом деле отдал ее заключенным, чтобы они сводили счета друг с другом. Отправить в карцер на трое суток.

К счастью, засадить меня ему не удалось. Я сперва не знал, почему. Вижу только: приказ отдан, а в карцер не забирают. Потом выяснилось – начальник санчасти воспротивился:

– Кто будет носить воду?

Действительно, сразу такого дурака не найдешь.

Понятно теперь, что за человек был этот Олимпиев? И как раз он руководил обыском.

В этот день мороз был минус тридцать с лишним, да еще метель. Мы буквально замерзли. А наши мучители не спешили. Им-то что! Они заходили в помещение, пили чай, грелись, отдыхали.

Подошла моя очередь на проверку. Олимпиев стоит в стороне, остальные открывают мой чемодан. В глаза сразу бросаются два горшка. Они начинают хохотать:

– Он же религиозный, в столовой ничего не ест. Только хлеб берет и чай. Вот ему и приносят еду в этих горшках, ха-ха-ха! – прямо корчатся со смеху.

Услышал Олимпиев, как они смеются, и говорит из своего угла:

– Да-да, я его знаю. У него еще есть заскок – бреется не лезвием, а какой-то чудной машинкой!

Сняли они эти два горшка, а под ними сухари. Между сухарями и горшками лежала машинка для бритья.

Они хохочут:

– Точно! Вот и машинка!

А Олимпиев опять говорит:

– Разрешение на машинку есть – это я хорошо помню. И чемоданчик этот из дому – могу засвидетельствовать.

До сих пор не понимаю, как он сказал очевидную для всех ложь в мою пользу? При мне за эти три часа он отнял штук тридцать таких чемоданов. Как увидит – выкидывает вещи на снег, и с каким наслаждением! – а чемодан швыряет в сторону. Там уже валялась гора таких чемоданов. А тут он сказал, что это мой чемодан из дому!

Это чудо номер один.

Дальше. Всех проверяли тщательно, а у меня только сняли горшки и машинку. Я был единственный, кого не обыскали! Если бы они чуть тронули сухари, сразу нашли бы книги, и тогда всему конец. Но они не стали искать дальше, хотя были обязаны.

Это чудо номер два.

«Если бы не Г-сподь, который был с нами, когда встали на нас люди, то живыми поглотили бы они нас, когда разгорелся их гнев на нас» (Теилим, 124:2-3).

Пурим пятьдесят третьего

Мы прибыли в другой лагерь на следующий день, в субботу – тринадцатого адара (первого марта), а в ночь на четырнадцатое адара, на исходе субботы, наступил Пурим.

Я собрал пятнадцать евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер (Свиток Эстер): историю об Амане, Ахашвероше и о чудесном спасении евреев.

Один заключенный, Айзик Миронович, вышел из себя, чуть не с кулаками на меня набросился:

– К чему нам твои байки о том, что было две с половиной тысячи лет назад? Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня! Ты знаешь, что скоро будет с евреями Союза? Мало того, что немцы уничтожили шесть миллионов, сейчас еще здесь три миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачей будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы и бараки построены?

Я говорю:

– Верно, положение тяжелое. Но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в сто двадцать семь областей. Б-г еще поможет.

– Как Он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то!

– Ну и что же?

И начинает доказывать про Сталина: три миллиона человек погубил, а коллективизацию провел, всех мужиков России в рабов превратил. В тридцать седьмом своих восемь миллионов уничтожил, а войну у Гитлера выиграл, и после войны татар крымских выселил. И вообще, всё, что ни задумает, у него получается.

Я говорю:

– Со всеми получается, а с евреями – не получится!

– Почему это?

– Потому что сказано: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» (Теилим, 121:4). А Сталин не более чем человек, «басар ва-дам» (буквально – «плоть и кровь», то есть простой смертный).

– Но он крепок, как железо, несмотря на свои семьдесят три.

– Никто не может знать, что будет с «басар ва-дам» через полчаса.

Айзик Миронович рассердился и убежал.

Это было вечером в Пурим, а наутро Айзик Миронович меня ищет:

– Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал.

А я уже и забыл к тому времени.

– Ну, как же? Ты сказал без десяти восемь, – что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с «басар ва-дам» через полчаса. А сегодня один вольный слышал по немецкому радио: в ночь с двадцать восьмого на первое в восемь часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг. Без десяти восемь и восемь двадцать три – это полчаса.

Как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать Теилим (Псалмы), чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это «из-за Сталина». Я читал их трое суток подряд, день и ночь: бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память...

Подготовка к Песах

Прошел Пурим. До Песах оставалось немного времени, готовиться надо было заблаговременно.

Как-то меня спросили:

– Вы, наверно, готовились к Песах с особым чувством? Ждали перемен? Ведь Сталин умер!

Перемен ждал? Я всегда ждал освобождения. Машиаха я ждал. Каждый день. А про Сталина после его смерти не говорил и не думал.

Я говорил евреям в лагере:

– Не могу обещать, что это сократит нам срок, но мы не должны есть хлеб в Песах.

А они:

– Нам и пайки не хватает, а если и ее не есть, что будет?

Я сказал, что жена достанет муку, выпечет мацу, а мы попробуем добыть картошки.

Гите удалось достать муки, что было непросто. Но главная опасность заключалась в том, что тогда пересажали многих за изготовление мацы. Давали по восемь-десять лет.

От большой неприятности Гиту спасло чудо. Когда она на санках везла домой мацу, выпеченную в тайном месте, ее задержал татарин-милиционер.

– Что везешь?

Гита стала обстоятельно рассказывать, что у нее двое детей, у одного из них день рождения, и она везет печенье.

– А почему так много? Идем в милицию!

Она упирается, тянет время... Он посвистел, вызвал еще одного милиционера. Посоветались они (говорили по-татарски, Гита не поняла), и вдруг тот, что пришел, махнул рукой:

– Можешь идти!

Это было так невероятно, что жена потом говорила:

– Это, наверно, был пророк Элияху в виде татарского милиционера.

Дома Гита разломала мацу на куски, положила в мешочки, надписала – «печенье к чаю», и их удалось передать в лагерь.

Итак, маца есть. Есть даже «марор» (горькая зелень) – жена принесла, помнится, хрен. Но как быть с вином? Его вообще нельзя принести в лагерь. Хорошо, что я знал, что если сварить изюм и отцедить отвар, то на него можно произносить благословение, как на вино. Гита передала мне такой «компот» под видом банки с вареньем, я отцедил жидкость накануне Песах, и этого хватило на требуемые законом четыре бокала вина в *седер Песах*.

А в чем варить картошку на Песах? Достал я большой чугунок и стал песком и льдом отчищать, чтобы потом кошеровать. Мучаюсь с ним... Подходит Мишка Косов, «пахан» у блатных, здоровый такой, красивый мужик лет тридцати пяти. И говорит на чистом идише:

– Слышал, вы собираетесь не есть хамец? И я с вами.

Протягивает сотенную бумажку:

– Пусть твоя жена достанет мне кошерную курицу.

Евреи рядом чуть в обморок не упали, да и я порядком оторопел. Мишка Косов – еврей? А Мишка объясняет:

– Что меня воры русским считают – так мне даже удобнее.

Еще вопрос: где хранить мацу? Ведь каждая тумбочка на четырех человек, а вокруг полно воров.

Тут Косов «проявил инициативу». Он взломал дверь в КВЧ, украл тумбочку и принес ее в канун Песах:

– Вот тумбочка с замком. Чистая. Будет специально для Песах.

Потом подошел к «уркам»:

– Сегодня и еще восемь дней, если кто подойдет к Зильберу, попросит «поделиться» – останется без головы.

Но где, собственно, проводить *седер* в лагере, не подскажете? Я рискнул, подошел к еврею из санчасти и сказал:

– Ты обычно раздаешь лекарства с восьми до девяти вечера. Но можно ведь раздавать с шести до семи. Сделай так всего два дня (два – потому что в диаспоре праздничными являются два первых дня).

Он меня послушал, на два вечера освободил санчасть. И сидел с нами и ел мацу.

Лагерный седер Песах

Накануне Песах есть хлеб прекращают уже с утра, и к вечеру мы были страшно голодны. Но вот в восемь я отправился в каптерку за мацой: хранить ее в бараке я не решился. Ведь Мишкино предупреждение касалось только «дележа» посылок, уберечься же от воровства было невозможно.

И вот вечером в Песах мы вошли в санчасть. Мы сидели за столом, как цари. Пили вино, ели мацу и читали Агаду, которую мне принес парторг Вишнев.

Нас было столько человек, сколько могло вместиться, кажется, двенадцать. Я пригласил самых близких. А как быть с остальными?

Я дал им мацы, научил говорить *кидуш* и сказал, чтобы в ночь седера, когда будут есть мацу, они вспомнили хотя бы три основные вещи, о которых в Агаде сказано: «кто не объяснил три вещи – Песах, маца, марор, – не выполнил обязанности».

«Песах» на иврите значит «перескочил». Потому что, наказывая египтян, Б-г миновал («перескочил») дома евреев.

«Маца» – пресный хлеб. Уходя из Египта, евреи успели только замесить тесто и, не дожидаясь, пока оно поднимется, испекли.

«Марор» напоминает о горечи жизни в рабстве.

Заповедь требует, чтобы об этих трех вещах говорили, сидя удобно, облокотясь, как подобает свободным людям.

Так все и сделали.

Эту ночь мне не забыть. Мишка Косов сидел с нами в санчасти,пил четыре бокала (он был в восторге от нашего вина), ел мацу, и все смеялись: Мишка Косов стал евреем!

Пасхальная «кухня»

Еще до начала Песах надо было придумать, где и как готовить пищу. Песах – праздник весенний, и к этому времени в лагере уже перестали топить. Топили только в нашем бараке. Но изверг-истопник даже мимо пройти не давал.

Заметив, что он продает сухари, я, «с дальним прицелом», купил у него пару раз сухари, хотя они мне были не нужны. На третий раз не доплатил и пришел отдать деньги, когда он топил. Дал ему попробовать немножко мацы, и после уже свободно заходил к нему и варил. Невероятно, но только в этом блоке топили до конца Песах.

Каждый день я искал картошку, это было мученье. К одному подойду, к другому, к пятому. И доставал. Так я и воду ношу, и картошку ишу. Иногда до полуночи.

Как-то я с большим трудом нашел картошку, сварил и несу горшок. Весна, таять начинает. Я поскользнулся, упал, и всё вывалилось в затоптанный снег.

Собрал я картошку, очистил от снега и положил в горшок.

Говорить, что упало в снег или нет? Люди голодные, работают до двенадцати, до часу, и единственная их еда – эта картошка и кусочек мацы. Побрезгуют – не будут есть. Я не сказал.

И вот наступает последний, восьмой день Песах. Всё. Ни крошки мацы нет, ничего нет.

Айзик говорит:

– Но в Израиле сегодня уже едят хлеб!

Я говорю:

– Да, но мы здесь, в галуте, обязаны соблюдать еще один день.

Он говорит:

– Нет у меня сил. Не могу больше, хочу сейчас поесть хлеба.

И тут я увидел нешуточную силу простого еврейского обычая. Не закона даже, но обычая. В последний день Песах принято молиться за душу умерших родителей. Айзик сам вспомнил:

– Постой, – говорит, – сегодня ведь «Изкор», поминальную молитву читают! Есть сейчас хлеб, а потом этим же ртом сразу поминать отца? Неловко... Ладно, я сначала прочту «Изкор».

Мы с ним читаем «Изкор».

Подходят другие, и среди них один очень неприятный тип. Его отец и мать просили, чтобы он после их смерти не читал по ним ни «Кадиш», ни «Изкор». Так и сказали: не пачкай наше имя своим ртом. Почему? Он закрыл синагогу в своем городе, посадил в тюрьму шойхета и мозля, и всё время твердит, что все верующие – мошенники. Вроде того бухгалтера, о котором я рассказывал. Он и теперь всех пугал:

– Выйду из лагеря – того посажу, этого посажу...

И он тоже пришел прочесть «Изкор»!

Он спросил у меня: можно ли? Есть правило – с ответом не спешить. Я подумал и сказал: можно.

Потом спрашивает:

– Можно ли сегодня есть селедку и сливочное масло?

Я смеюсь:

– Где, здесь или в Израиле? Здесь – это самое кошерное, что только может быть. Почему ты спрашиваешь?

Он говорит:

– Я получил посылку из дому – селедку и сливочное масло, и если можно, отдаю вам.

Тут еще подошли с новостью: сняли антисемитские плакаты.

Если сняли плакаты, значит – врачей выпустили. Оказалось, их выпустили на второй день Песах.

В Талмуде написано, что освобождение обычно приходит к евреям в нисане (нисан – месяц исхода из Египта). Это время поражения врагов еврейского народа.

В тот день мы ели картошку с селедкой и со сливочным маслом. Это было безумно вкусно. Я уже и забыл, как это бывает.

Так закончился Песах. А сразу после него объявили амнистию...

Последний обыск

Приблизился конец моего срока.

Перед выходом на волю тоже обыскивают. Снова возникла проблема, что делать с тфилин и книгами? Я решил рискнуть и еще раз воспользовался чемоданом. Как и в прошлый раз, положил сверху сухари и машинку. Повторил свою молитву: «Рибоно шель олам, я делаю, что я могу, а Ты сделай, что Ты можешь».

И вот меня вызывают на выход. Вдруг один из обыскивающих с грозным видом берет меня за рукав:

– Ну-ка пойдем, поговорим!

И уходит в другую комнату, в третью... Мне стало не по себе: наверно, что-то подозревает! Тут он оборачивается:

- Не подведешь?
- Нет! – говорю.
- Если спросят, что скажешь?
- Скажу, что обыскал.

Он открывает дверь:

– Выходи!

Так я вышел на свободу.

И кажется мне, что с моим чемоданчиком трижды происходило что-то необычное.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. БЕГСТВО ИЗ КАЗАНИ

Снова дома

Рядом с входной дверью у нас было занавешенное окошко. Когда дети оставались дома одни, то, выполняя мамин наказ, смотрели из-за занавески: если свои – открывали.

Мне пришлось основательно потоптаться перед дверью. Брат с сестрой разошлись во мнениях: шестилетняя Сара говорила, что это папа, а четырехлетний Бенцион считал, что это чужой дядя. В конце концов, Сара мне открыла.

Сын

Я расстался с Бенционом, когда ему не было двух лет, и очень переживал в лагере, что ему уже четыре, а он еще не начал учиться: по еврейскому обычаю мальчики начинают учиться, когда им исполняется три года.

Из рассказа рава Бенциона

Отец в лагере пытался выстругивать из дерева буквы еврейского алфавита, чтобы меня учить, – все-таки какое-то начало! Товарищи по заключению увещевали его: «Еще успеешь его научить. Что ты торопишься тут, за решеткой?»

Теперь, дома, мне хотелось поскорее восполнить пропавший год. Я стал учить с Бенционом алфавит, Хумаш, а в семь лет – Гемару.

Когда сыну исполнилось восемь, я начал искать школу, где бы «не замечали» его пропусков в субботу. Нашел.

Мы обратились к директору с просьбой принять сразу в третий класс. Он проверил Бенциона и распорядился: «Принять».

Дети в школе

В субботу дети, естественно, в школу не ходили. К сожалению, для Сары школу поблизости найти не удалось – посещать один класс с Бен-

ционом она, естественно, не могла: очень уж бросалось бы в глаза совместное отсутствие в субботу брата и сестры. Поэтому девочке пришлось нелегко – с восьми лет она ездила на занятия через весь город.

Я учил детей не выделяться в классе, быть, как все, не говорить «этого я не ем», «того я не делаю». Как-то, придя в школу, я увидел Сару на школьной Доске почета. Я тут же пошел к учительнице:

– Лучше Саре не высовываться...

Учительница снизила оценку, и Сара перестала быть отличницей.

Дети и окружающий мир

Мы старались, чтобы нас как можно меньше замечали. Всё, что было связано с еврейской жизнью, делали тихо. Дети воспринимали всё очень здраво. Помню, Бенцион как-то в пятницу вечером, возвращаясь домой с молитвы, заметил, что в окне издали видны зажженные субботние свечи. Он сказал, и мы поправили дело.

Правда, случались и промахи. Однажды Бенцион явился со двора растерянный. Ребята во дворе заспорили, кто в мире жил дольше всех, и Бенчик в увлечении проговорился:

– Метушелах (Мафусаил), конечно. Он жил девятьсот шестьдесят девять лет.

Правда, тут же спохватился, ведь это – сведение из Торы, запрещенной книги. К счастью, никто ничего не заметил.

Мы жили довольно спокойной жизнью. Может, власти и догадывались о нашей религиозности, но мы молчали, и они молчали.

Попытка выезда

В пятьдесят шестом году, во время Синайской кампании, мы впервые подали документы на выезд в Израиль. Это было непросто. Советская власть рассматривала желание уехать из СССР как измену Родине. Нам, разумеется, отказали. После предписанного перерыва (полгода, помнится) мы подали заявление повторно. Потом еще раз. И еще....

А в шестидесятом году КГБ, очевидно, решил «покончить с проблемой». И не шутя за нас взялся.

Началось это так.

КГБ атакует

Двадцать пятого декабря пятьдесят девятого года, утром в канун Хануки, к нам постучали. Дети были дома одни.

Человек, представившийся членом школьного родительского комитета, стал расспрашивать Сару с братом, почему они не в школе (Бенцион в тот год не учился, а Сара занималась вечером). Книги в шкафу были прикрыты занавеской от чужих глаз, но посетитель ее отодвинул и стал их рассматривать. Потом спросил детей, что они читают...

Фельетон

Спустя какое-то время после этого визита позвонили из газеты «Советская Татария» и спросили, почему я хожу в синагогу...

Я понял, что-то готовится.

Пошел в редакцию.

Беседуя с редактором, я спросил:

– А что делать человеку, который верит? Как ему себя вести?

Редактор ответил вопросом на вопрос:

– Помните такого-то? – и назвал фамилию священника, который публично отрекся от своей веры.

Это было указание, чего хотят добиться от меня.

В вышедшем после этого фельетоне меня, помимо религиозности, еще обвиняли «в укрывательстве крупного растратчика». Подразумевался ни в чем не повинный человек, Бенцион Вугман, родом из Бессарабии. Войдя в Бессарабию, Советы в одну страшную ночь пересажали всех людей с «сомнительным» социальным происхождением. Вугману удалось бежать в Казань.

Он скрывался у меня около полугода. Потом его задержали на улице и посадили, но фельетон создавал впечатление, что его арестовали прямо у меня. «Так кто же они, эти укрыватели преступников?» – вопрошал фельетонист.

С Вугманом вообще получилось очень тяжело. Он отсидел десять лет, а когда вышел, прислал мне письмо, которое меня ужаснуло. «Дорогой Ицхак! – писал он. – Когда я был у Вас в доме, я так понял, что Вы человек верующий. Как же Вы не пожалели мои молодые годы?»

В КГБ ему сказали, что если бы не мой донос, они бы его и пальцем не тронули. Это было выдуманно, чтобы спровоцировать его на какие-то высказывания обо мне.

Я написал Вугману, объяснил, как мог, но он мне не ответил...

Фельетон описывал также трагическое положение детей фанатика Зильбера.

Собрание

За публикацией фельетона последовало учительское собрание в школе. Оно состоялось шестого января (девятого тевета), в субботу, и продолжалось с десяти утра до шести вечера, полный рабочий день, можно сказать. На собрании присутствовали «представители» горono и районо, горкома и райкомов партии и комсомола, и даже от парткомов, профкомов и комсомольских организаций тех предприятий, где я время от времени читал научные доклады. Все выступили с речами. Если считать еще директора, завуча, парторга школы и других, выступающих было человек тридцать пять.

В этот же день было собрание в школе, где работала Гита. Ей предложили развестись со мной, обещали за это работу, трехкомнатную

квартиру и спокойную жизнь. Оба собрания приняли абсолютно одинаковые, то есть заранее утвержденные, где положено, решения.

Начали с того, что некто Шалашов, заведующий районным отделом народного образования, спросил:

– О вас говорят, что вы верите в Б-га. Это верно?

Я сказал:

– Да.

– Подумайте хорошенько. Товарищи, которые работали с вами столько лет и учились с вами в университете, надеются, что вы серьезно подумаете и не станете принимать ошибочных решений.

Я ответил, что я верил, верю и буду верить.

Спрашивает Моисеев из райкома партии:

– А что вы будете делать, когда коммунизм будет построен?

Я сказал:

– Буду работать где угодно, но останусь верующим.

– Это невозможно. У Энгельса написано, что при коммунизме верующих не будет.

Я говорю:

– А я буду.

Потом начались выступления. Материал для них был собран заранее, в том числе и в университете. Там, видно, не знали, для чего это нужно, и дали мне положительную оценку. Так они и ее ухитрились использовать в своих целях. Дескать, в университете уверены, что этот человек может много дать науке, но ему, видно, наука ни к чему, ему «суббота» дороже...

Были выступления совершенно нелепые, но, тем не менее, очень опасные. Например, учитель математики, еврей, рассказал слезную историю, что его верующий отец не вызвал врача к больной невестке только потому, что она русская. «Я всегда уважал Исаака Яковлевича, но, теперь, когда узнал, что он верующий, не уважаю, – сказал он. – Потому что для религиозного еврея делать зло русским – мицва».

Одно из этих выступлений стоит вспомнить особо. Некая Васильева сокрушалась:

– У меня сердце сжалось, когда я узнала, в каких условиях живут несчастные дети Зильбера. В субботу запрещают писать, перед едой и после еды надо бубнить какие-то молитвы. Детство – счастливое время, когда катаются на лыжах и коньках, гуляют в парке и ходят в лес, – всё детство отравлено. Я как женщина, как педагог, как мать предлагаю – просить у родного советского правительства лишить родительских прав Зильбера Исаака Яковлевича и Гиту Вениаминовну. Детей пошлем в детдом, как можно дальше, чтобы исключить пагубное влияние родителей. Вырастим их достойными советскими людьми, и они нам еще сто раз скажут спасибо. Товарищи, кто за?

Все подняли руки. Трое воздержались. Только воздержались, но для этого по тем временам нужна была немалая смелость.

Среди воздержавшихся была активная молодая учительница Червацкая, еврейка. Она всегда очень бойко выступала против религии. Но тогда, на собрании, ни слова не сказала.

Раскаявшийся доносчик

Разные были люди на этом собрании. Где они сейчас? Где, например, Федор Тарасович, который подошел ко мне после собрания, довольный, и стал рассказывать, как следил за мной.

Был в школе один неприятный человек, учитель физики Ахманов, чуваш. Потом я узнал, он писал доносы на завуча, еврея Штейнмана, и на меня. Так вот, этот доносчик раскаялся. С ним произошла история вроде той, что случилась с Уваровым в лагере, помните?

Незадолго до того, как меня сняли с работы, Ахманов вдруг вызвал меня в раздевалку:

– Слушай, Исаак Яковлевич, я тебе сделал много зла, доносы на тебя писал. Прости меня, пожалуйста.

Я спрашиваю:

– С чего это ты?

Он говорит:

– Я видел тебя во сне и хотел поцеловать, но мне сказали: «Ты не достоин».

Я сказал, что мне от него ничего не надо.

После собрания этот Ахманов предложил:

– У меня два дома в Чувашии. Можешь жить, сколько хочешь.

– Ты не падай духом, – говорил он. – Ближе время, когда десять человек из разных народов схватят за полу еврея и скажут: «Пойдем с вами, ибо мы слышали, что с вами Б-г».

Действительно, в книгах пророков (Зхарья, 8:23) есть такие слова.

Оказывается, в детстве Ахманов читал ТАНАХ.

После собрания

Каждый стук в дверь, каждый стук бросал нас в дрожь. Мы боялись, что пришли забирать детей...

Газета напечатала еще одну статью о собрании. Там сообщалось, что подтвердились все перечисленные преступления и были вскрыты еще и другие: я никогда не ел в столовой, люди видели, как в субботу я прохожу пешком многокилометровые расстояния, и так далее.

Было ясно, что целью властей было заставить меня публично отречься от веры. Кое-кто из наших знакомых говорил:

– Почему бы не сделать? Ведь все поймут – это вынужденная ложь.

Но, конечно, этого делать было нельзя.

Наша русская соседка тетя Тося в те дни сказала мне:

– Если вы, Исаак Яковлевич, откажетесь от Б-га, кто же тогда останется с Б-гом?

О потере работы мы с женой и не думали – в ужас приводила страшная угроза забрать детей.

Гита пошла в райком и обратилась к человеку, чей голос был решающим.

– Хотите, я приведу к вам детей, и вы увидите, что не такие уж они несчастные?

Он был неглупый человек и сказал:

– Я всё понимаю, мне не надо с ними знакомиться. У нас два условия. Если хоть одно из них не будет выполнено, решение забрать детей войдет в силу. Первое – чтобы дети не появлялись в синагоге, второе – чтобы перешли в обычную школу. Но запомните: если их увидят молящимися – пеняйте на себя! Пока оставляю.

Большое дело сделал этот человек. Дети были в его руках, а он их не забрал. Спас жизнь! Фамилия его – Зернов.

История наша наделала шуму. Я понимал, что после фельетона мне и истопником на свечную фабрику не устроиться. Я отправился за Волгу, в поселок Васильево, в часе езды от Казани. Там был стекольный завод. Я договорился, что буду стеклодувом.

Бегство

Приезжаю домой поздно вечером, усталый.

Нахожу повестку: «Просим Вас и Вашу жену Гиту Вениаминовну явиться в Комитет государственной безопасности». Идти было уже поздно. Да и вообще, – подумал я, – войти-то я смогу, а выйти – неизвестно.

Так как же быть? Бежать?

Помню, жена говорит:

– Куда ты убежишь? Всё равно поймают. Ведь могут объявить всесоюзный розыск.

Дети, конечно, знали наши дела, и маленький Бенцион вдруг выпалил: «Папа, убегай!»

Денег у нас не было. В полчетвертого ночи я зашел к знакомым за деньгами, взял талит и тфилин, добрался до вокзала, купил билет на Москву и поехал.

Из рассказа Сары

В назначенный в очередной повестке день мама пошла в НКВД одна. Перед тем, как идти на допрос, она оставила нам письмо для бабушки и предупредила: если она через час-два не вернется, мы должны отправить это письмо бабушке в Самарканд. В письме она просила бабушку приехать и забрать нас.

В НКВД маме сказали:

– Нам нужны не вы, а ваш муж. Мы вообще-то можем его сами привести, но вам же будет лучше, если вы его позовете.

Мама сказала, что не знает, куда исчез муж. На нее кричали:

– Человек не вернулся домой, вышел вечером и пропал – почему ты не заявила в милицию? Мы придем к тебе домой и проверим. Он прячется где-то.

Она сказала:

– Проверяйте.

Из рассказа рава Бенциона

Представитель КГБ несколько раз был у нас дома, допрашивал маму. Один раз, помню, он ей сказал:

– Что ж вы думаете: с высшим образованием мы будем отпускать?

Зная, что материальные возможности отца очень ограничены, в КГБ не предполагали, что он сразу возьмет и уедет. Они считали, что он скрывается где-то в городе. Кто пойдет к нему? Естественно, дети! Когда мы с Сарой шли куда-то, даже в магазин за продуктами, мы замечали, что за нами всегда кто-то следит.

Пока мы не знали, что с отцом, было очень тревожно.

Из рассказа Сары

Мама перевела меня в обычную дневную школу уже после отъезда папы. Чтобы не нарушать субботу, я в этот день оставляла портфель в школе, а уроки делала рано утром перед занятиями в понедельник.

Одна учительница в новой школе проявила ко мне большой интерес. Она подошла и стала «сердечно» расспрашивать, как у нас дела, где папа... Я сказала, что ничего не знаю, и пустила слезу. На этом «сердечная беседа» закончилась.

Мама очень волновалась, не имея сведений от папы. Женищина-юрист, что посоветовала папе скрыться, успокоила ее: если человек не совершил такого преступления, чтобы можно было объявить его во всесоюзный розыск, и исчез на какое-то время, власти должны закрыть его дело. Вот если бы папа остался на месте, на него можно было бы «давить». Кроме того, казанскому НКВД уже ясно, что они упустили папу, и для них это серьезный провал, который они сами хотели бы скрыть. Мама это прекрасно понимала, ведь в свое время она прошла «школу» у Дубина.

Когда папа, наконец, сумел из Ташкента сообщить письмом, куда нам ехать, он не забыл дать в нем маме и такую «инструкцию»: пристроить к хорошим людям двух кошек и двух щенят, которые жили у нас во дворе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТАШКЕНТ**ГЛАВА ПЕРВАЯ. НА НОВОМ МЕСТЕ****Странствия**

Я уехал из Казани в четверг ночью. В вагоне рядом со мной громко разговаривали трое пассажиров. Вдруг до меня доносится:

– У нас в НКВД отпуска большие...

Я похолодел – чекисты! И сразу вообразил – следят! Нервы...

Ехали мы всю ночь, и каждую минуту я ждал, что меня арестуют.

Когда поезд прибыл в Москву, мои попутчики вместе со всеми вышли из вагона. А я не могу сделать ни шагу. Ноги не слушаются! Долго стоял в пустом вагоне, пока, наконец, не смог выйти.

Я очень беспокоился, как там дома, но позвонить не мог: боялся, что телефонные разговоры подслушивали.

Первая идея была – пойти в ЦК, всемогущий Центральный комитет коммунистической партии, и сказать всё в открытую: я, мол, верующий, меня за это преследуют, ищу справедливости. Но, поразмыслив, решил, что бесполезно: чем выше эти люди, тем они хуже.

Я пробыл в Москве только субботу – оставаться не было смысла, одолжил денег у реб Исрозля-Ицхака Цацкиса, и поехал на Кавказ, в Сухуми. Я надеялся устроиться на работу, перевезти семью и отдать детей в вечернюю школу. Но вскоре увидел, что здесь это не получится, и поехал в Ташкент.

В Сухуми я встречался в основном с грузинскими евреями, то есть с сефардами.

Кто они такие, сефарды и ашкеназы?

Исторически сложилось, что существуют разные обычаи выполнения еврейских законов. Евреи, жившие в разных странах, ориентировались на тот или другой. Когда-то ашкеназами называли евреев, проживавших на германских землях, а сегодня – всех восточноевропейских евреев, чьи предки вышли из Германии. Евреев другого обычая называют сефардами – по имени выходцев из Португалии и Испании. Сефардов, живущих на Кавказе, зовут грузинскими евреями.

Я, конечно, слышал, что время по-разному отразилось на сефардских и ашкеназских евреях, но в Сухуми впервые увидел это своими глазами. Разница в образе жизни огромная. Меня она просто поразила.

Грузинские евреи жили так, будто советской власти и нет вовсе. Мужчины каждый день ходили в синагогу молиться. В субботу, правда, они работали, но после работы приходили в синагогу и часа три слушали урок хахама (мудреца). Тайно учили детей. И все покупали кошерное мясо. А ашкеназим – почти не покупали. Да и миньян ашкеназский было трудно собрать: в будни приходило пять-шесть человек, и недостающих отыскивали, где придется. Я спросил у одного еврея, почему ашкеназим не покупают кошерное мясо.

– Их можно понять, – пожал он плечами. – Эти жулики слишком дорого за него берут...

– Но нельзя же покупать тrefное, – возразил я.

А он мне:

– Ай, вы отсталый человек. Пока я не вышел на пенсию, я не рисковал молиться в синагоге у нас в городе. Но в командировках заходил. Так вот, в Казани я видел сына раввина. Он был студент, учился в университете, и я знаю, ему не раз приходилось добиваться, чтобы экзамен перенесли с субботы на другой день. Он всё делал культурно, он действительно интеллигентный человек. А вы – человек отсталый, только и знаете: «тrefа запрещена...»

Я понял, что «культурный сын раввина» – это я, но промолчал.

И еще о грузинских евреях. В семидесятом году на свадьбе в Сухуми я обратил внимание на человека, к которому многие обращались «ребе». Он не очень был похож на ребе, к которым я привык, и я спро-

сил, почему его так называют. Он сказал, что уже много лет обучает детей молитвам и Хумашу.

Когда в конце двадцатых стали запрещать всё еврейское, он подкупал местных милиционеров и продолжал тайно учить детей. Мальчики, учившиеся во вторую смену, приходили к нему утром, а остальные – после полудня.

– Поверь, – говорил он, – я все эти годы первый стакан чая выпивал после половины второго, в перерыве между сменами.

За обучение этот человек брал с родителей всего по пять рублей в месяц, да еще платил милиционерам из этих денег. Я спросил:

– Сколько детей ты обучил?

– Девяносто человек, – говорит...

На первых порах в Ташкенте

Я приехал в Ташкент, но не мог прописаться, потому что не был выписан из Казани. А выписываться боялся, так как не сомневался, что власти меня ищут, и не хотел наводить КГБ на след. По улицам я ходил в страхе: вдруг милиция остановит для проверки документов.

Вначале, как я и предполагал, меня приютил раби Авраам-Биньямин Рабинович. Нужна была немалая смелость, чтобы впустить в дом человека, преследуемого властями.

Что еще сказать про раби Аврома? Он весь в такой детали: когда я уже перевез в Ташкент семью, и жена ждала ребенка, раби каждый день приносил ей молоко. Он умер через месяц после рождения моей дочери Хавы.

Я всегда приходил к нему со своей едой (такая у меня привычка): буханкой хлеба и банкой консервов. А он смеялся, будто я не доверяю его кашруту: «Фар эм из кошер нор гибротене штейнер» («Для него кошеры только жареные камни»).

Потом я перебрался к Круглякам. Их тоже неудобно было подвергать риску: Кругляк руководил отделом на большом авиационном заводе. Я ночевал то тут, то там. И не знал, что с женой, не отняли ли у нас уже детей? И позвонить не мог...

Карманная кража

Так я продержался три месяца. И, наконец, решился. Я ехал в трамвае, когда мне попалось на глаза объявление, помню еще – вместо «сдается» было написано «здается комната». Я подумал, надо пойти поговорить и привезти жену с детьми. Выхожу из трамвая, со мной выходит какой-то человек и хватается за руку. С ним еще двое.

Я спрашиваю:

– В чем дело?

Он говорит:

– Отдай пятьдесят рублей.

Двое подтверждают:

– Мы свидетели. Мы видели, как ты сунул руку к нему в карман и украл пятьдесят рублей. Отдай.

Я говорю:

– Вы ошиблись.

– Нет, не ошиблись. Пойдем в милицию, там разберемся.

А мне в милицию идти – ну совсем ни к чему.

Ташат меня по улице, а вокруг уже толпа: «Жулика поймали! С личным!» Представляете себе мой вид? Так мы шагаем, и вдруг вижу – раввин Шмая Марьяновский. Я кричу:

– Ребе, лайт мир фуфчик рубл! (Одолжите мне пятьдесят рублей).

Рав побежал домой – он жил рядом, догнал нас и дает пятьдесят рублей. Я протягиваю деньги, а они не берут: «Ну нет, пусть отдаст те, что украл». Что вы на это скажете?

Не знает человек, где он зарабатывает грядущий мир. Не знает цены своему поступку!

Недалеко от базара Бешагач работал еврей-шапочник. Он встречал меня по субботам в доме раввина, куда я приходил молиться. Увидел шапочник меня в толпе и закричал:

– Я его знаю! Он не жулик!

А эти говорят:

– Жулик, мы сами видели.

Но шапочник как отрезал:

– Сами вы, наверно, жулики!

А они: «Вам придется ответить за ваши слова».

Это меня на мгновение поразило. Мне ведь и в голову не приходило, что они не случайные люди. Я догадался, что это люди ГБ.

Идем по городу, а шапочник всё не отстаёт:

– Слушайте, а зачем идти в городское отделение? Вот уже недалеко рынок. Там тоже есть отделение милиции.

Им возразить нечего, вокруг толпа...

– Ну да, конечно, давай туда.

Они думали, что всё равно меня задержат. Входим в отделение милиции. Поднимается жуткий шум. Одни орут: «Жулика поймали!», другие: «Он не жулик!» Дежурный милиционер выгнал всех, включая обвинителей, в коридор, обыскал меня, не нашел «тех пятидесяти рублей», и выпустил через другую дверь. И я убежал.

Спас меня шапочник. Он работал на рынке, шил шапки милиционерам и другим важным людям. Шапочника знали, и когда он твердо сказал, что я не жулик, милиционер ему поверил.

Теперь представьте, как я ходил по улицам после второго побега.

Недавно я узнал, что внучка шапочника приехала в Израиль. Я дозвонился и расспрашивал ее про деда. Оказалось, она хорошо помнит этот случай: дедушка рассказывал, что у меня был тот еще вид, когда меня вели по городу как жулика. Еще бы!

И это к лучшему

Перебраться в Ташкент меня вынудили неприятные события. Но и в переезде была хорошая сторона. Из Ташкента легче выпускали в Изра-

иль (нас выпустили через двенадцать лет, в семьдесят втором году), и не так чувствовался гнет советской власти.

В Казани опасно было держать дома еврейские книги, даже сидур, а в Ташкенте – можно. Пусть тайно, но желающие могли учить Тору.

В Ташкенте была еврейская община, примерно семьдесят семей. Душой общины была семья Владимира Ароновича и Елизаветы Яковлевны Кругляков. Несмотря на важную должность, Кругляк, рискуя, прятал у себя всех, кому надо было скрываться от властей.

В этом доме бесплатно устраивались свадьбы, причем Лиза Кругляк сама готовила еду. А сколько денег они раздавали людям, сколько давали в долг!

Трудоустройство

Первое время в Ташкенте я тоже прятался у Кругляков. Они сказали: «Вы с семьей будете у нас, сколько понадобится». У меня не было документов, чтобы официально устроиться на работу. Но Кругляк устроил меня в автотранспортную контору. Я должен был три раза в неделю с шести вечера до шести утра стоять и записывать номера прибывших машин и время прибытия.

Я сразу же договорился с одним узбеком, что буду платить ему три рубля, чтобы в пятницу он задерживался на два часа. Это позволяло мне являться позже – в этот день я ходил пешком. Записывать номера машин я в этот день не мог и заучивал их наизусть. Наутро я сообщал секретарше номера всех машин и время, когда они прибыли!

Однажды, по его просьбе, я заплатил узбеку за три недели вперед, а он подвел. Меня уволили за прогул.

Какое-то время я работал в переплетной мастерской. Как-то все закончили работу и ушли, а я задержался прочесть вечернюю молитву. Вдруг входит охранник:

– Что ты тут делаешь?

Я ему показываю на рот – не могу, мол, говорить. Он ушел. Спустя несколько дней, когда все пришли за зарплатой, он спрашивает:

– А где ваш немой?

Потом я попал в картонажный цех, где начальником был еврей Окс, бывший прокурор. Я работал у него гораздо больше восьми положенных часов, таскал тяжелые рулоны бумаги. Чтобы не работать в субботу, я ему отдавал три четверти зарплаты: вместо двухсот сорока рублей получал шестьдесят. В конце каждой недели Окс начинал меня запугивать, думал всё же заставить работать в субботу.

Я тут же пишу заявление «по собственному желанию».

Он машет рукой:

– Ладно, поглядим еще немного.

Как-то Окс выдал не шестьдесят рублей, а сорок. Я спрашиваю:

– В чем дело?

– Ни в чем. Вот так, и всё.

А деньги нужны были позарез. Я должен был отправить больного сына в санаторий. Деньги я в последнюю минуту всё же достал. Но оставим это.

Необычный цех

Так я перепробовал много мест, пока, наконец, хабадник Мендель Горелик не устроил на работу в свой цех. Впервые за много лет я успокоился. Проработал там семь лет, а потом привел туда сына и дочку.

Горелик нашел бывалого гебиста, Александра Дмитриевича Юдина. Когда-то Юдин состоял в личной охране Сталина (кажется, во время Ялтинской конференции) и был чуть ли не советским шпионом в Нью-Йорке. Но так как любил выпить, не задержался на той работе, хотя был еще не старый, лет сорока.

Горелик ему говорит:

– Есть у меня пятнадцать человек и одна проблема – в субботу мы на работу выйдем, но работать не будем. Ты получишь половину нашей зарплаты и сможешь хоть купаться в водке. Согласен быть начальником, выписывать ведомости?

Юдин согласился, да еще устроил туда жену и тещу. Как они делились, не знаю, но я получал свои сто двадцать рублей.

Работа состояла в том, чтобы обезжиривать большие алюминиевые пластины, опуская их в ванну с раствором едкого натрия, а потом делать на них надписи.

Всё бы хорошо, но работа была настолько вредная, что Советская власть, которая на деньги не щедра, бесплатно давала нам три литра сгущенного (!) молока в месяц, килограмм сливочного масла и газированную воду. Когда я начал там работать, у меня иногда на улице, на ходу, закрывались глаза, и я ни с того ни с сего засыпал – это от отравления парами. Поэтому я часто опаздывал на работу. К тому же, меня вечно что-то задерживало. Однажды, например, утром в синагоге мне сказали, что в морге лежит тело еврея, попавшего под трамвай. Родственников у него нет, и его собираются хоронить на нееврейском кладбище. Я побежал в морг, представился родственником покойного и договорился, что похоронят на еврейском кладбище. Потом побежал условиться об организации похорон. На работу я, естественно, опоздал.

В таких случаях наш профорг Семка Горелик выносил на улицу рабочий халат. Я надевал его и заходил в цех, будто вышел на минутку.

Семка вообще покрывал меня во всём. Впервые за много лет я стал завтракать. Помню, как я изумил жену, явившись домой на завтрак после утренней молитвы:

– Что стряслось?!

Придя в цех, я так торопился начать работу, что не надевал маску и перчатки, а это укреплению здоровья, конечно, не способствовало. Мне хотелось побольше сделать, чтобы урвать время и для учебы.

О какой учебе я говорю?

Мы в цехе не просто работали, мы там жили. Я предложил товарищам потихоньку съесть наши бутерброды на час раньше перерыва, не отрываясь от работы, чтобы, когда начальство уйдет на обед домой или в столовую, учить Тору. Так мы и делали. Сидели и занимались группой в пятнадцать-семнадцать человек. Помню, в пятницу кто-то заметил: никогда не имел я такого удовольствия – накануне субботы учиться (люди, соблюдающие субботу, знают: в это время дома всегда дым коромыслом – бурная подготовка).

В субботу мы приходили в цех, но не работали.

Видимо, кто-то донес об этом властям, и в одну из суббот нагрянула комиссия. Увидев инспекторов, жена Юдина (по нашей просьбе) разлила во всех комнатах нашатырный спирт. Проверяющие вошли, схватились за нос: «Ой, как они тут работают? Надо добавить за вредность». С этим обнадеживающим выводом они тут же удрали, но никто, конечно, ничего нам не добавил.

Однажды в субботу раздавали зарплату. Мы все разбежались: не объяснять же, что деньги в субботу получать не можем и расписаться в их получении – тоже. Цех стоял на берегу Комсомольского озера, и мы спрятались в лодках. Юдин страшно возмущался, когда мы вернулись: «Ну, не работаете в субботу, но деньги-то получить можете?» Никак не мог понять нашей логики.

Один случай мог окончиться печально. Юдин, кроме своей семьи, временно устроил в цех своего дружка из КГБ Ивана Кирилловича Лебедева, его жену и дочь. И назначил Лебедева кем-то вроде управляющего производством.

Минули два месяца, дружок и говорит:

– Никуда не уйду, я тут начальник!

Юдин:

– Нет, я!

А Лебедев свое. И накатал донос, о чем мы и знать не знали.

До этого Лебедев был такой вежливый, доброжелательный, я даже думал, вот у кого надо учиться с людьми разговаривать! Пусть бы евреи такие были! Я бы за него головой поручился. И вдруг приходит в цех большая комиссия и зачитывает его заявление:

«Я отказываюсь возглавлять производство в сложившейся обстановке. В цеху работают одни сионисты и религиозники. Привожу факты: такого-то и такого-то (названы дни Рош а-Шана, когда цех два дня был закрыт) отсутствовали на работе... (идут имена). Сколько я ни борюсь, ничего не помогает. Все они хотят уехать в Израиль. Работать с этими сионистами невозможно. Наведите порядок».

Недурное заявленьице, а?

Комиссия вопрошает:

– Товарищи, вы где находитесь – в Советском Союзе или в Америке? Что тут происходит?

Серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос в шестидесятые годы, когда людей приговаривали к смерти... за спекуляцию! Как мы выпутались, не постигаю. Б-г помог. И Семка, сын Менделя Горелика. Он спас положение...

Доносчики в синагоге

Первое время после приезда в Ташкент я молился только в святом миньяне раввина Шмаи, где не было доносчиков. Спустя некоторое время я стал ходить в неофициальную синагогу, а проще – в другой тайный миньян, не такой «закрытый». Там, конечно, доносчики могли быть, но разве что парочка, не больше. Но случилось, что в синагоге в районе Чемпион некому стало читать Тору, и попросили меня.

Эта синагога была известна обилием стукачей.

Когда Гита услышала, она испугалась:

– Это опасно! Там же доносчики, а ты скрываешься!

Все знакомые на меня кричали:

– Ицхак, куда ты идешь? В Чемпион? Ты сумасшедший, ты лезешь врагу в глотку, в самое пекло!

Чтобы обрисовать тамошнюю обстановку, скажу, что «нормальные» люди туда не ходили, ходили старики по праздникам, иногда по субботам, и две трети постоянного миньяна были стукачи. Ссорясь, они грозили друг другу:

– Я тебя не боюсь, я доносчик покрупнее, чем ты!

Все это слышали, и я слышал.

Представляете, до чего дошло? По еврейским понятиям, доносительство – дело самое позорное. А тут совсем потеряли чувство стыда. Не знаю, почему они стучали, может, им платили капельку?

Но, кроме доносчиков, были и простые люди, и их было жалко. Поэтому я всё-таки решил пойти. Конечно, бесплатно.

Я был потрясен до глубины души тем, что во время чтения Торы в этой синагоге болтают, никто не слушает. Что делать? Я взял за правило: если во время чтения Торы начинались разговоры, я останавливал чтение и ждал пять, десять минут, пока не прекратят разговаривать, а потом продолжал читать. За месяц-другой я их отучил от разговоров настолько, что кто-то принес и повесил объявление: «Нельзя разговаривать во время чтения Торы».

КГБ больше всего интересовали те, кто говорит «двар Тора», что буквально значит «слово Торы». Так называется всякая речь на темы Торы. Зная о внимании властей к людям, способным взять на себя такую задачу, первое время я был осторожен: просто читал Тору и, не задерживаясь, уходил домой. Но потом я всё-таки не выдержал и после молитвы стал говорить «двар Тора».

Появились слушатели, начали задавать вопросы. С этими доносчиками я был дружен, и никто не донес на меня! А ведь я читал Тору и говорил комментарий каждую субботу вплоть до семьдесят второго года, до отъезда в Израиль.

Перед отъездом Гита – человек трезвый и стукачей не жаловавший – испекла «леках» (медовый пирог), купила бутылку вина и в пятницу отослала со мной в чемпионскую синагогу. Помнится, пошла и Хава. Вышли мы до захода солнца, но на всякий случай подарок несла маленькая Хава.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Как учили детей в Ташкенте

Был случай в Самарканде в тридцатые годы. В субботу сидит в классе ученик, Миша Лернер, и не пишет. Подходит учительница:

– Почему ты не пишешь?

– У меня ручки нет.

Учительница дает ему ручку. Но он по-прежнему не пишет.

– У меня нет тетради.

Учительница дает ему тетрадь.

И мальчик решил: чтобы избежать соблазна писать в субботу, он выпрыгнул из окна. К счастью, окно было не очень высоко.

Другой случай. Во время войны рабан Аарон Хазан на средства Хабада организовал в Ташкенте тайное обучение еврейских детей Торе. Он снял дворик у одной женщины и нанял учителем раби Залмана-Лейба Эстулина, инвалида, потерявшего на войне ногу. Когда рабан ходил по домам набирать детей для учебы, ему сказали:

– Раби, вам не подобает говорить с такой-то женщиной, она распущенная.

Он сказал:

– Но сын ее пусть учится.

И взял его в школу. И не зря.

Наступил Новый год. Реб Залман-Лейб не хотел, чтобы стояла елка, дети же понимали по-своему: значит, елку надо от ребе прятать. Они играли во дворе, ну, и выгаскивали елку, когда ребе уходил.

Накануне Нового года в ворота кто-то постучал. Стучавшему неосторожно открыли, и во двор вошла комиссия из райсовета. Видимо, им донесли, что здесь учат Тору. Увидев комиссию, реб Залман-Лейб побледнел – подумал, что он уже на том свете. Не растерялся только сын той самой распущенной женщины. Накануне он спрятал елку, а теперь наскоро поставил ее, подошел к реб Залману-Лейбу и схватил его за седую бороду. Комиссия видит: играют дети, старичок какой-то сидит.

– Дети, что вы тут делаете?

Мальчишка говорит:

– Вот, мы нашли себе Деда Мороза. Совсем как настоящий!

И опять дергает за бороду.

Самая главная увидела, как жалко раби выглядит, и говорит:

– Дети, человек раненый, без ноги, с фронта. Оставьте его!

Если я об этом не расскажу – кто расскажет?!

Обязательное общее образование

Я думал, как мне устроить детей в школу, чтобы они в субботу не писали. Мне сказали:

– Есть еврей, директор трех школ рабочей молодежи: пожарников, танкистов и милиции. Сам он, конечно, закона не соблюдает, но эти школы не работают в субботу.

Пришли мы к этому директору. Сегодня его имя уже можно назвать: Борис Давидович Аксакалов, благословенна память праведника. Я ему рассказываю, а он всё не понимает:

– А почему вы не хотите, чтобы они были в нормальной школе?

– Потому что там надо писать в субботу, а этого делать нельзя.

– Как это нельзя? Вы пишете не для своего удовольствия – это же постановление государства!

Я говорю:

– Я хочу воспитывать детей, чтобы они в субботу не писали.

Наконец он прямо спрашивает:

– Для чего? Ты хочешь выполнить волю Всевышнего, так, что ли?

Я говорю:

– Да.

– Тогда, – говорит, – я тебе помогу.

И сразу звонит своему родственнику, тоже директору школы:

– Соломон Ионович, принимай девочку Сару Зильбер. В субботу она писать не будет, учителя станут шуметь. Так я прошу – пусть весь шум останется внутри школы.

– А сына давай мне, – говорит.

Я имел глупость спросить:

– А с какого класса у вас учатся?

– С седьмого.

– Мой сын окончил только четыре.

Он говорит:

– Я вас не понимаю. Вы делаете для Всевышнего, так? А Ему какая разница – седьмой, пятый или шестой? Я принимаю – давай!

И тут же пишет записку, я даже не глянул, и дает адрес. Я взял сына и пошел по адресу.

Пуганая ворона куста боится. Я знал, что за мной могут следить и КГБ, и милиция. А тут – прихожу по адресу, а туда входят только по пропускам. Куда я попал? Я же Аксакалова первый раз в жизни видел! Может, он заманил меня в ловушку?

Но в этом здании действительно находилась школа – для милиционеров. Я показал записку, и меня пропустили. Завуч оказалась еврейкой. Она тут же отвела Бенциона в класс на урок. А ученики-то высокие, здоровенные, ходят с револьверами, в милицейской форме. А Бенциону всего двенадцать лет. Я сначала боялся оставить его одного и сидел с ним в классе два часа.

Аксакалов делает мицву

Через пару месяцев после того, как Бенцион поступил в школу, сам директор школы Аксакалов вдруг пришел ко мне домой. Я испугался! Что-то случилось? А он рассказывает:

– Я всегда курил в субботу, и делал всё, чего делать нельзя. Но на днях со мной произошло чудо. У меня большая семья, много детей, я не могу жить на зарплату. Так я грешу. Но грешу осторожно, с расчетом. Как-то один человек попросил у меня справку об окончании шко-

лы. Я за деньги дал ему справку, а в журнале проставил оценки. И подделал запись. Прошло время. Тот человек стал инженером, работал, женился. И развелся. А жена в отместку «заявила» на него. Написала, что он мошенник, что у него и диплом, и аттестат зрелости фальшивые. В школу прислали комиссию проверить. Комиссия потребовала школьный журнал. Открыли, стали каждый лист рассматривать с обеих сторон. Дошли до листа с подделкой. Меня чуть инфаркт не хватил: не заметить ее нельзя. Вдруг кто-то предлагает:

– Проверим теперь с другой стороны, с конца.

Проверяют с другой стороны, опять дошли до фальшивого листа – и снова остановились! И написали, что всё в порядке.

Тогда я понял, что это Всевышний меня спас за то, что я принял твоего сына. А раз так, то напиши мне на бумаге, когда можно начинать курить в субботу вечером.

Я ему написал.

После этого я решил заплатить ему. Он же сделал для меня большое дело. Я добыл пятьсот рублей, зашел к нему и даю. Он говорит:

– Деньги я люблю, но я сделал для Б-га, не хочу за это денег.

Я говорю:

– Это большая мицва и за деньги тоже!

– Нет, – говорит, – если я возьму деньги, мицва-то будет слабее?

Соображает!

Потом говорит:

– Знаешь что, давай мне таких детей, как твой сын, которые не хотят в субботу писать.

И добавил:

– За каждого получишь с меня пол-литра.

А это было начало шестидесятых! Тогда за спекуляцию – расстреливали!

Поверите ли, сколько я привел детей? Тридцать пять человек!

А платить я решил вот чем: в Песах приносил Аксакалову мацу, в Рош а-Шана трубил для него в шофар, в Йом-Кипур показывал, какие молитвы надо читать, в Суккот приводил к себе в сукку, а в Пурим читал ему Мегилат Эстер.

Пятикопеечная печать

Случалось порой такое, казалось – уже ничто не выручит. Но всё удивительным образом обходилось.

Произошло в Ташкенте крупное землетрясение, более семидесяти пяти процентов зданий рухнули. В город прислали восемьдесят тысяч строителей и построили новые районы. В районе Чиланзар открыли школу и записывали всех живущих поблизости детей. А рядом жил еврей, чья дочка училась у Аксакалова. Приходит к ним учительница, и девочка проговорила, что учится в Рабочем городке. А там только школа рабочей молодежи. Если проверят, что Аксакалов принял маленьких детей, что с ним будет?

Я побежал к Аксакалову. Он успокаивает:

– Это ошибка. Рядом с моей есть другая школа – обычная восьмилетка. Предположим, девочка учится в этой школе.

Аксакалов идет со мной в восьмилетку и просит директора выдать справку, что девочка учится в его школе. Но тот ни в какую.

Что делать?

Голова у Аксакалова хорошая, не зря он был заслуженным учителем Узбекской ССР. Толковый, такого редко встретишь.

Знаете, что он сделал? Взял пятикопеечную монету помазал чернилами и приложил к справке, как печать. Я говорю:

– Что ты делаешь, а вдруг проверят?

– Эх, – говорит, – ведь делаем ради Него. Он поможет.

И что вы думаете? Сдали «справку», и никто ничего не заметил.

Затянувшаяся беседа

Расскажу еще случай. Девушка, по фамилии Гайсинская работала в банке и в субботу старалась не писать. Мало таких!

Директор, бухарский еврей, заметил и вызвал ее:

– Почему ты не пишешь?

Девушка сказала правду:

– Суббота!

– Ах, суббота? Я тебя заставлю, будешь писать в субботу!

Она хочет уволиться – он не увольняет! Тогда нельзя было уволиться без разрешения. Могли посадить. Что делать?

Я поспешил к Аксакалову домой. Дело было тридцатого августа, за день до начала учебного года.

Я пришел к нему в восемь утра, слышу, из его комнаты доносится:

– Ш-ш-шма Ис-сра-эль... – вот так, по слогам, он пытается читать, и у него полчаса проходит, пока прочтет «Шма Исраэль».

Потом еще молился своими словами...

Когда я ему все рассказал, он говорит:

– Попробую пойти к этому директору банка.

– Вы с ним знакомы?

– Не знаком, – говорит.

– Как же вы пойдете, это опасно!

– Ничего, Б-г поможет.

Тут за ним приехал завуч его школы, они собирались к девяти часам на учительское собрание.

Мы немедленно отправились в банк: директор, завуч и я. Была уже половина девятого. Завуч ждет в машине: педсовет накануне учебного года – не шутка! Я жду на улице.

Так вот, учитеесь, как надо поступать. Аксакалов вошел в банк без пяти девять. Десять, одиннадцать – его нет! Я подумал, что директор позвонил в КГБ, и теперь его не выпускают...

Вышел Аксакалов из банка без четверти двенадцать.

– Слава Б-гу, я его уломал. Он подписал приказ об увольнении. Брыкался, но я его убедил!

А собрание в школе состоялось вместо девяти – в двенадцать.

Вы спросите, чему тут учиться? А вот чему. Как спасти людей, не считаясь со своими собственными делами. Дела подождут. В школе-то, в конце концов, можно и приврать. А тут – человек пропадает. Спасти человека надо? Надо. Вот он и спас.

Какой ненормальный пойдет хлопотать за незнакомого? Да еще по такому рискованному делу? А он пошел. Много ли найдешь таких «дураков», как Аксакалов? Тридцать пять человек учились у него по фальшивым справкам. Он же рисковал, а у него была большая семья. И всё ради мицвы, ни копейки ни у кого не взял!

Долгожданный сын

У Аксакалова было восемь девочек. А потом пошли сыновья. Помню, как он прибежал ко мне ночью, сказать, что родился сын.

После его смерти – он умер около двадцати лет назад – семья переехала в Израиль. Родные Аксакалова издали здесь в память о нем молитвенник с его портретом, а недавно перевезли останки Бориса Давидовича Аксакалова в Иерусалим. На похороны съехались все его дети, даже из Америки. Много говорили о нем, и я тоже рассказывал. На его *йорцайт* я всегда езжу к его семье.

Голь на выдумки хитра

Я старался не всех определять к Аксакалову. Была еще одна школа рабочей молодежи с выходным днем в субботу. Директором там был еврей, не соблюдающий субботу. А таких людей надо особенно остерегаться – очень уж они любят «бороться с предрассудками». Он, знаете, какой был? Он позвонил на работу одной из учениц своей школы и предупредил:

– Будет еврейский праздник, увидите, она не придет. Учтите это обстоятельство.

Вот такой он был еврей.

При нем я ничего не мог сделать. Но завуч той школы, Виктор Сергеевич, был русский мужик, любил выпить, с ним можно было договориться. Что я и делал. Но только в отсутствие директора.

Наступил август – время отпусков. Пора устраивать детей в школу, а директор в отпуск не уходит, денег жалеет. Сидит в школе. Учебный год на носу, а я еще ничего не сделал!

Я узнал, что в инструкции Министерства просвещения есть пункт, по которому директор до начала года должен на две-три недели уйти в отпуск. Я набираю телефон школы и говорю строгим голосом:

– Школа такая-то?

– Да.

– Слушайте, – говорю, – кто вам позволил нарушать инструкции министерства? По закону директор должен отдыхать столько-то дней. До нас дошли сведения, что директор находится в школе.

Они спрашивают, кто я. Я «сердито» бросаю трубку! Когда он пришел на работу, ему сказали:

– Звонили из министерства. Не устраивай нам неприятностей, уходи отдыхать.

Он ушел в отпуск, и я всех записал в школу!

Пожар в субботу

Как-то в субботу у меня загорелся холодильник. Не знаю, что там случилось, но в любом случае в субботу ничего сделать нельзя. А холодильник горит, дымит. Сбежались соседи, кричат, а я молчу. Ну да, молчу. А что особенного? Чем меньше говоришь, тем лучше. И ничего не предпринимаю. Это же не опасно для жизни, верно? Так они сами вызвали пожарных, и те потушили.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИЗРАИЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «СВОБОДНЫЙ МИР»

Первые впечатления

В первую пятницу по приезде в Израиль мы с сыном под вечер пошли к Котелю (Котель Маарави, Западная стена, или Стена плача, как еще называют). Где он находится, мы не знали. Спросили прохожих. На идише. Нас проводили, а потом показали, как возвращаться.

Так мы познакомились с Эстер Финкель, женой руководителя ешивы «Мир». Она была с дочерью и зятем.

Оказывается, они тоже нас заметили, и зять сказал теще:

– Видишь этих людей? Сейчас они спросят, как пройти к Котелю.

Наши новые знакомые пригласили нас к себе. А потом Бенцион стал учиться в ешиве «Мир». Эти люди просватали Сару.

Когда я ехал в Израиль, я думал, здесь нет такого, чтобы намеренно не слушаться Торы и работать в субботу. Я знал, что здесь «свобода», но не представлял, насколько «широкая». Чтобы были школы, где ничему еврейскому не учат, и люди не знают «Шма Исраэль» и Десяти заповедей, – этого я не ожидал.

Приехали мы во вторник, а в субботу иду по улице и вижу: кто-то подходит к машине и собирается ехать. Я ему говорю:

– Слиха, а-йом шабат! (Простите, сегодня суббота!)

А он мне:

– Аз ма? (Ну и что?)

Я допускал, что кто-то дома нарушает шабат, курит, но на улице?! Мне захотелось, поверьте, назад, в Россию.

Сердце говорит: «Бежать!» А разум: «Ты в Эрец-Исраэль».

Герер ребе

Через две недели в шабат мы с реб Аароном Рабиновичем, свояком, вышли погулять, вдруг видим – толпа.

– Что случилось?

Он говорит:

– Это люди идут к Герер ребе (ребе из польского города Гер).

Отец Герер ребе, о котором идет речь, рав Авром-Мордехай, был одним из основателей «Агудат Исраэль», движения, до второй мировой войны объединявшего около миллиона евреев. Говорили, что в «приемные дни» Герер ребе железные дороги были забиты хасидами.

Расскажу такой случай.

На праздники хасиды приезжали к своему ребе. Один хасид был доносчиком. Он почему-то не поехал, а написал раву письмо и просил благословения на праздники. Тогда же он написал другое письмо – донос властям на Герер ребе. И перепутал адреса.

Герер Ребе получил донос, а полиция – письмо на идише с просьбой о благословении! Самое интересное (я не могу этого понять, но ребе знал лучше меня, что делает) – доносчик так и не узнал, что перепутал письма, и потом не раз приезжал к Герер ребе, который не подавал виду, что знает, кто он!

Нынешний Герер ребе тоже был большой человек.

Мы с Рабиновичем вошли и через двадцать-тридцать минут приблизились к Герер ребе: люди шли очень быстро.

Я новый человек, и Рабинович говорит:

– Он из России, он и там старался в субботу не работать и выполнял, что мог.

Герер ребе быстро подает мне руку и говорит:

– Слушай! Как ты вел себя там, веди себя и тут, ни капли не изменяй! Ты слышишь?

Я удивился: что значит «как там, так и тут»? Это же Израиль! Здесь все должно быть по-другому! Безмерно лучше и сильнее!

Только потом я понял, насколько было глубоко сказано!

Мерказ клита – Центр абсорбции

В Центре абсорбции в Катамонах (район Иерусалима), где нас поселили, работал один религиозный человек. Звали его Моше. Моше сказал нам: «Посуда, которая здесь, не для вас». Мы не могли поверить. Мы-то думали: в Израиле все продукты кошерные! Моя жена хотела даже всю нашу посуду оставить в России и купить новую: «Наша посуда недостаточно кошерна для Израиля».

Из рассказа Хавы

В ту пору в Катамонах жили люди, которые не имели даже отдаленного представления о культуре. Мусор выбрасывали на улицу прямо из окон, ночью крики, скандалы. Мама была в ужасе: куда она привезла

детей? Женщины курят! Маме было очень тяжело. Она говорила: «И это Израиль, куда я так рвалась?»

Мы входили в автобус, и на нас обращались все взгляды: мы выделялись одеждой. Сейчас этого не замечают, но тогда все носили мини, и я была в Катамонах единственной девочкой в длинной юбке. Как-то мы ехали в автобусе, и кто-то сдернул с маминой головы косынку (религиозные женщины покрывают голову). Тогда религиозные и нерелигиозные были намного более разобщены. Сейчас Израиль очень изменился, появилось много баалей-тшува («вернувшихся к Б-гу»)...

Когда мы приехали, пришла тетя Келя – мамина сестра, и сказала:

– Газет не читайте, в кино и в театр не ходите, телевизор не смотрите. Нельзя.

Мы подумали: «Что это такое, что за глупости?»

В свои десять лет я в Ташкенте прочитывала несколько газет в день и считала, что только очень отсталый человек не читает газет. Где мы находимся, что это за место такое? Все какие-то отсталые, ничего нельзя: и религиозные очень отсталые, и нерелигиозные. Куда мы приехали?

Да, тогда в России газеты были «кошерные» – без гадостей, и телевидение – тоже. «Свободный мир» оказался совершенно непристойен. От него пришлось держаться подальше. Ну да ничего, нам не привыкать, и здесь привыкли понемножку...

Для новых репатриантов устроили «празднование Песах». Что это было за «празднование»? В *йом тов* (праздничный день, когда поездки запрещены) повезли на автобусах в кибуц, где на столах лежали и маца, и хлеб. Я узнал об этом и пытался предотвратить эту поездку. Ничего не вышло. Так невинные в своем незнании репатрианты встречали свой первый Песах в Израиле!

Где учиться?

Хотя я видел, что в Израиле по субботам ездят на машинах, но уж насчет школ у меня сомнений не было. Я собирался отдать детей в любую религиозную школу. В Центре абсорбции жил еще один религиозный *оле* (репатриант) Йонтев Штраус. Узнав, что я собираюсь послать детей в первую попавшуюся (религиозную, естественно) школу, он сказал:

– Я вам советую пойти и посмотреть, в какую школу вы отдадите детей.

– Зачем?

– Я вам советую.

Я не понял, но пошел. Прихожу в одну школу: смотрю, женщины одеты как-то не совсем скромно. Спрашиваю: «Есть другая школа?» Говорят – есть. Пошел туда – то же самое. Йонтев Штраус знал, что в Байт-ва-Гане есть более серьезная школа. Мы договорились по очереди возить детей туда.

Из рассказа Хавы

Когда я возвращалась из школы, мальчишки в Катамонах не пропустили меня, я была для них посмешищем. В Ташкенте дети меня никогда не обижали: чувствовали, что я не боюсь и могу дать сдачи, как меня учила мама. «Домашняя закалка» пригодилась и тут. Мальчишки окружили меня, я осмотрелась, выбрала самого маленького и изо всех сил толкнула его на другого мальчика. С тех пор меня больше никто не трогал. Они могли бежать за мной и кричать что-то, я даже не понимала – что, но не больше.

Моей младшей сестре в школе приходилось трудно. В религиозной школе дети из России? Они знали только олим из Америки. Мы были какими-то непонятными существами: и религиозные, и из России. Они не могли общаться с нами, а мы – с ними. Но мы научились...

Интересно получилось с учебой Бенциона. Я ему предложил:

– Зайди во все ешивы, позанимайся в каждой несколько дней. Где почувствуешь, что получаешь знания и «ират-шамаим» (страх перед Небом, Б-гобоязненность), – там останься.

Он прошел по нескольким, дошел до ешивы «Мир» и сказал:

– Больше никуда не иду.

Ешиву тогда возглавлял рав Хаим Шмулевич. Он плакал, когда проверял знания Бенциона.

Мы женим детей

Первой мы выдавали замуж Сару.

Я бегал-бегал и нашел место, где можно снять квартиру.

Я тут же хотел написать договор, но подходящей бумаги не было. У меня был проездной билет для автобуса, и я написал на нем: "Первое: обязуюсь платить столько-то до наступления такого-то числа. Второе: в случае прихода Машиаха в течение двух недель они выезжают с квартиры". Зять был недоволен, что через две недели после прихода Машиаха придется оставить квартиру...

Жена пошла работать на кухню в ешиву «Мир» и подрабатывала на почте и в магазине. Позднее Гита устроилась лаборантом в семинарии «Бейт-Яаков» – учебном заведении для религиозных девушек.

Из рассказа Хавы

Саре, старшей сестре, было двадцать четыре года, и мама хотела, чтобы она скорее вышла замуж. Мама сразу по приезде поняла обстановку. Она видела: чтобы выдать дочь замуж, как подобает, нужны деньги: в Израиле принято, чтобы за девушкой, которая собирается замуж за парня, учащегося в ешиве, давали приданое. Мама решила срочно начать работать.

Папа сказал: «Надо иметь битахон (уверенность в помощи Всевышнего)!» Мама сказала: «Ты будешь выдавать своих дочерей замуж битахоном, а я – тем, что буду зарабатывать»...

В течение нескольких лет мама работала без отдыха. Матери наших подружек так себя не вели. Через полгода после приезда вышла замуж моя сестра, а еще через полгода женился брат.

Маме было очень важно, чтобы ее дочь не чувствовала себя ущемленной. Она сумела выплатить все деньги за квартиру моей сестры, затем – за свою квартиру, и тогда начала собирать деньги для меня и моей младшей сестры.

В нашем доме всегда всё зарабатывалось тяжелым трудом. И, конечно, Всевышний очень помогал. Ведь это невероятно, чтобы женщина, приехавшая в пятьдесят четыре года, сумела купить три квартиры в течение десяти лет!

Собственную квартиру родители получили как помощь с Небес: банковская ссуда в шекелях не была прикреплена к индексу цен. Произошла большая инфляция, и долг иссяк. Мама говорила, что эту квартиру ей дали в подарок.

Чтобы выплатить долги за квартиры, жена, уже работая лаборантом, не оставляла работу в ешиве, подавала еду по праздникам, потом оставалась мыть посуду, заканчивала работу в десять вечера. За всё это время мы ни разу, ни одного праздника не были вместе.

Однажды вечером Гита пожаловалась на сильную головную боль и внезапно потеряла сознание.

Это произошло девятнадцатого тевета, в годовщину смерти ее брата: он умер восемнадцатого тевета.

Ночью Гиту отправили в больницу «Хадасса». Диагноз: кровоизлияние в мозг. Но, Слава Б-гу, здоровье восстановилось, и она продолжала работать, но уже с отдыхом.

В Америке

Как я уже говорил, мне предложили поехать в Америку для участия в сборе денег, на которые будет организовано религиозное обучение детей выходцев из России.

Мы должны были прибыть до субботы, но получилось, что самолет задержался. Летим и боимся, что не успеем добраться до захода солнца. Я говорю с летчиками и тороплю их.

Когда мы прилетели, до захода оставалось совсем немного времени. Вдруг видим – прямо по летному полю мчатся две полицейские машины. Из одной выскакивает мой шурин, рав Шолом Рабинович, и с ним двое здоровенных полицейских. Мы примчались домой до захода солнца, и я еще успел в *миквэ* до зажигания свечей!

Оказывается, кто-то предупредил полицейских, что прилетела делегация из Израиля, которой необходимо прибыть на место до наступления субботы, и сообщил адрес моих родственников. Они послали эти две машины и заехали за равом Рабиновичем.

Эти дни в Америке были очень счастливые. Я встречался со многими людьми и много выступал. Был у рава Моше Файнштейна и беседовал с ним. Слова цадика много значат!

Когда я уезжал, он дал мне пятьдесят долларов. Я не хотел брать:

– Ребе, я собираюсь работать.

Так он мне сказал только три слова из Талмуда:

– «Взявший грош из руки Йова благословится».

И я понял, что он дает эти деньги, чтобы они принесли мне удачу. Эти пятьдесят долларов были первыми, что мы внесли за квартиру!

Вспоминаю, как-то в шабат должен был говорить рав Моше Файнштейн, а он настоял, чтобы говорил я. Я так заговорился, что не успели поесть...

Любавичский ребе

Я пробыл у Любавичского ребе час пятнадцать минут, с четырех до пяти пятнадцати ночи, причем больше говорил он, чем я.

Я спросил его: чем мне заняться в Израиле? С одной стороны, есть у меня серьезная работа по высшей алгебре, и это для меня легко, – я мог бы работать в университете и больше времени учить Тору. С другой стороны, я могу преподавать ТАНАХ, Талмуд. И вот я живу в Эрец-Исраэль и не знаю, где принесу больше пользы. Он ответил, что сейчас приезжает много евреев из России, и все они пишут, что уезжают «по национально-религиозным мотивам». Если в Израиле ими никто не будет заниматься, они наберутся влияния «улицы».

– Поэтому, – сказал Ребе, – я не вижу мицвы большей, чем заниматься русскими репатриантами.

И я стал это выполнять.

Что осталось бы от ангелов?

Благотворительный обед состоялся в воскресенье. Зрелище было красивое. Были великие люди Торы, а также богачи.

Первым говорил я, и сказал, что, если бы взяли чистых ангелов и спустили в этот мир в семнадцатом году, и дали им пережить революцию, разгул банд Петлюры и Деникина, Махно и Колчака, гражданскую войну, во время которой были убиты триста тысяч евреев, и коллективизацию, когда крестьян, отняв у них все дочиста, сослали в Сибирь, и действия новой власти, которая немедленно закрыла еврейские школы и посадила за решетку тех, кто обучал Торе, и репрессии тридцать седьмого года, когда миллионы были расстреляны без причины, посажены в лагеря, откуда вернулись очень немногие, и еще гитлеровскую оккупацию, когда девяносто процентов евреев Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Украины были уничтожены, и голод в Ленинграде, и обвинения в «космополитизме», и процесс врачей, – так я уверен, что от этих ангелов ничего бы не осталось.

И я рассказал им многое из того, что рассказал вам.

Когда я говорил, люди начали посматривать друг на друга. И рав Моше Файнштейн переглянулся с кем-то, когда я рассказал про того, кто каждый день тайно обучал девяносто детей.

И начали давать деньги.

Я поблагодарил устроивших это собрание и сказал еще:

– Сказано: «Шма Исраэль, а-Шем Элокейну, а-Шем эхад. Ве-аавта эт а-Шем Элокеха бе-холь левавха...» – «Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь един! И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоей душой, и всем твоим достоянием».

А как узнать, любишь Б-га всем сердцем или нет? Вот дальше и сказано: «Пусть будут слова эти, которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоём. И учи им своих сыновей...». Отец меня учил и алефбету, и ТАНАХу, и Гемаре, и Шулхан Аруху, он был мой единственный Ребе. Я тоже учил этому своего сына Бенциона... «Научи этим словам своих детей». Тот, кто любит Б-га, будет это делать.

Как я работал

Один немецкий еврей, раби Довид Файст, был у нас и сказал:

– Я работаю уже семь лет. Мне полагается годовой отпуск. Могу предложить вам поработать вместо меня в «Кирьят ноар», религиозном колледже для мальчиков.

И я стал преподавать математику. Кончился год, и он вернулся. Я ему говорю:

– Сдаю вам дела.

Он говорит: «Нет!» и идет к директору:

– Я здешний житель, а он – *оле хадаш* (новый репатриант). Если вы ему оставите несколько часов – я остаюсь, если нет – уйду. Потому что он не скоро найдет работу, а я найду.

А он был небогатый человек. И мне оставили несколько часов, а потом я нашел еще.

Потом мне поручили семинар по Торе в Хайфе раз в десять дней. Я приезжал домой в два ночи, и к половине восьмого утра являлся в колледж, а на дорогу уходило минут сорок пять. И еще организовал для «русских» кружки Торы в Тель-авивском и Иерусалимском университетах, и в иерусалимском районе Неве-Яаков. А силы Б-г давал!

Брит-мила в Израиле

В 72-м, когда я оказался в Израиле, евреи из России приезжали необрезанные. Многие хотели сделать брит, но тогда в Израиле это не было организовано. Ожидание затягивалось на месяц-полтора. Я сказал своему другу Якову Цацкису, который знал это дело.

– Яков, начинай!

И он в свой обеденный перерыв стал делать обрезание. За неделю проходило от двух до пяти человек. После операции я брал людей к себе домой, они оставались ночевать, и это время я использовал для бесед. Заодно я им надевал тфилин. Некоторые стали верующими.

Было много разных историй.

В нашем доме бывали и «правые», и «левые», и надо было следить, чтобы они не перессорились. Один всё писал на запотевшем окне девиз

лёвых – «Шалом ахшав» («Мир – сегодня»), и приходилось срочно стирать это перед приходом других.

Я часто ездил в армию, выступал перед солдатами, говорящими по-русски. Помню, солдат, бывший киевлянин, сказал мне, что не обрезан. Цацкис после работы пришел и начал делать обрезание. Жене пора зажигать свечи, а он только зашивает. Жена просит: «Освободите стол!» Я сказал ей: «Зажигай свечи на столе».

Как-то раз было пять бритов в один день, и все – дети, так что каждый – с папой или мамой. Все десять человек у нас ночевали. В наше отсутствие они сварили тrefное. Естественно, испортили посуду. Жена расстроилась, а я сказал в рифму: «Барух а-Шем, что тrefа, лишь бы сделали брит-мила».

Цацкис делал обрезание бесплатно и мастерски, почти не больно, и всё проходило замечательно. Но один человек скрыл, что у него сахарная болезнь и кровь плохо сворачивается. Пришлось вызвать «скорую», и он остался у нас на пятницу и субботу. Я спросил: «Почему ты не сказал?» А он: «Цацкис бы не сделал брит».

Из рассказа доктора Яакова Цацкиса

Я приехал в Израиль немного раньше, чем рав Зильбер. Как-то находит меня один еврей и говорит:

– Ты не успел меня обрезать в Москве (я там тоже делал бриты, подпольно). Я тебе звонил, а ты уже уехал.

– Хорошо, – говорю, – но здесь же есть министерство по делам религий, больницы... В чем проблема?

– Я обращался туда, а меня один посылает к другому, другой – к третьему, и никто не делает. Так вот без бриты и хожу.

Я пошел к рабанит Сарна: она занималась организацией медицинской помощи олим, и рассказал ей. Рабанит спрашивает:

– А в Москве где ты делал?

– Дома делал, у брата делал, у приятеля...

Она говорит:

– А почему тебе здесь не сделать у нас дома?

Рабанит Сарна принесла мне все необходимые инструменты, и я у нее дома несколько раз делал обрезание.

В это время приехал рав Зильбер. Пришел ко мне и говорит:

– Нужно сделать брит-милу.

Я говорю:

– Где делать? И инструментов нету...

Он говорит:

– Я тебе все принесу.

Он пошел опять к рабанит Сарна, они взяли в больнице «Шаарей цедек» инструменты, и мы стали делать обрезание в доме у рава Ицхака и у моего брата...

После бриты положен кидуш. Мы «скидывались», покупали бутылку вина, печенье. Иногда приезжавшие сами привозили.

Как-то делали мы брит в больнице «Бикур холим», рав Ицхак вдруг исчез. Дело было зимой, холод собачий. Прибегает, приносит бутылку вина и пряники.

Я смотрю – он без пальто.

– Где ваше пальто?

Он отвечает что-то невразумительное.

На следующий день, вижу, опять без пальто ходит. Я говорю:

– Рав Ицхак, дождь ведь, что же вы без пальто?

– А я его заложил.

– Как заложил?

– Ну вот, я приносил пряники и вино. У меня денег не было, зашел в магазин на Штраус, рядом с больницей, отдал им пальто, и они мне дали, что я просил.

Я пришел туда в магазин и говорю:

– Что же вы делаете? Такой человек к вам приходит и просит бутылку вина и пряники, а вы пальто берете...

Они говорят:

– Откуда мы знаем? Пришел какой-то «руси» (русский, так называют в Израиле евреев из Союза).

Я говорю:

– Какой руси? Это же рав Ицхак Зильбер, ему же надо было для брита!

Они говорят:

– Он бы сказал, разве мы взяли бы у него пальто?! Пусть сейчас же приходит, – и стали извиняться.

Он пришел, отдал десять шекелей и забрал пальто.

Из рассказа преподавателя московской ешивы «Торат хаим»

Цви Патласа, ученика рава Зильбера

Как-то договорился с мозлем о брите для новорожденного из семьи олим. Чтобы успеть издалека к назначенному времени, рав Ицхак пытался остановить любой транспорт и, в конце концов, прибыл на брит... на мотоцикле. Семья с восьмидневным младенцем уже ждала. Мозль закончил предыдущий брит, посмотрел на часы и говорит:

– Всё, я больше не делаю: до захода солнца осталась одна минута (после захода брит-милу делать нельзя).

Рав Ицхак как стукнет кулаком по столу:

– У меня есть удостоверение рава Моше Файнштейна, и я приказываю вам делать: либо вы успеете, либо солнце остановится!

И мозль послушался.

Главное, успеть сделать само обрезание, а зашивать можно и после. Он закончил, тучи разошлись, и еще показался луч солнца!

С тех пор, встречая рава Зильбера, этот мозль всегда напоминает ему, как он «остановил солнце».

Незадолго до этого рав Зильбер был в Америке и навестил рава Моше Файнштейна. Они говорили час, и когда рав Ицхак уже уходил, рав Моше Файнштейн сказал: «Подождите». И написал, что удосто-

веряет: рав Ицхак Зильбер является раввином, обладающим знаниями и так далее, – короче, выдал раву Ицхаку раввинское удостоверение.

За эти годы я слышал всего один раз, чтобы рав Ицхак воспользовался своей властью раввина, – ради этого обрезания.

Мегилат Эстер в Ткоа

Когда заселили Ткоа (в семьдесят третьем – семьдесят четвертом году), я часто приезжал и был там раввином. В поселении жило много «русских». И обязательно каждый Пурим я читал им Мегилат (Свиток) Эстер. Один случай о поездке туда я расскажу.

Вечером в Пурим начался сильный снегопад. Я взял такси в шесть часов. Обычно езды в Ткоа из Иерусалима минут сорок-пятьдесят, но – снегопад. В Израиле это стихийное бедствие. Машина все время останавливалась, застревала... Таксист замучился и поехал назад.

Я взял другое такси и поехал еще раз. И снова мы заплутали, чуть не попали к арабам, не смогли добраться. И опять таксист увез меня назад. Было уже часов восемь.

Я решил не сдаваться и часов в девять поехал в третий раз. Та же история. Снега еще больше, и водитель еще больше запутался.

Я взял в четвертый раз такси и в двенадцать ночи добрался-таки до Ткоа. Успел собрать людей и прочитать Свиток Эстер.

Назавтра опять читаю Мегилу, и как раз на середине вижу: несколько человек собираются уйти. Я не мог прервать чтение и говорить, и – будете смеяться! – удерживал их руками. Я провел праздничную трапезу, мы станцевали, а под вечер я уехал домой.

Через пару лет встречает меня таксист – Коган его фамилия, – что не доехал в третий раз, и спрашивает: «Ну как, поедешь еще раз в снег?» А я сказал, что всё-таки попал в Ткоа. То-то он удивился!

Распорядок дня

Раньше я всегда молился рано. Сейчас здоровье не то, молюсь в семь утра. Прихожу домой в восемь. С восьми до девяти – телефонные звонки. В девять уезжаю в раввинат. Я не числюсь там на работе, просто иду помочь людям, особенно – говорящим только по-русски. Потом бегу в ешиву «Двар Иерушалаим» на урок с четверти первого по четверть второго. Потом молюсь. В два возвращаюсь домой.

Раньше в это время люди приходили, или я сам должен был бежать по каким-нибудь делам, а теперь я должен полежать часа полтора. Если не полежу, будет по мне заметно.

В шесть вечера занятия в ешиве «Швут Ами», где я преподаю Хумаш. А с восьми до двенадцати ночи – разная работа. Например, книгу о Торе закончить, на вопросы ответить – и так, и по телефону. Люди приходят, часто допоздна засиживаются. По четвергам с пяти до шести – занятия у меня дома. По средам с восьми до девяти – очень серьезный кружок по изучению Торы в Неве-Якове.

Кружок в Неве-Якове

Этот кружок существует лет двадцать.

Интересно он возник. Когда я приехал, не было ни одного русско-говорящего учащегося в ешивах. Как-то профессор Любошиц сказал мне с горечью, что в иерусалимском районе Неве-Яков некий крещеный еврей организовал кружок. Люди приходят якобы послушать музыку, а он их агитирует и уводит от еврейства.

Я организовал там свой кружок. И к миссионеру зашел, между прочим, пригласил и его, и его семью. Они поблагодарили, но не пришли. Занятная вещь: только я начал, как миссионер уехал во Францию и стал священником.

Кружок действует по сей день, в нем около двадцати человек. Когда я лежал в больнице (у меня была операция на сердце), в Неве-Яков ездили Хава или Бенцион: занятия пропускать нельзя.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ИЗРАИЛЬСКАЯ СПЕЦИФИКА

Геты

Согласно галахе, супруги считаются разведенными, только если муж вручил жене особое «разводное письмо», которое называется гет. Женщина, даже давно расставшаяся с мужем, но не получившая такого письма, не считается разведенной и не может вступить в новый брак.

В Союзе мы тайно занимались еврейскими разводами. В Израиле это можно делать свободно, и были люди, которые ехали с надеждой привести в порядок свои семейные дела. Но были и такие, кто даже не понимал, что сделать это необходимо. Этим людям надо было помочь. Оказалось, что и в Израиле надо заниматься гетами. Трудно было еще и потому, что расставшиеся супруги часто находились в разных странах, и разыскать нужного человека было непросто. Поэтому с разводами у меня связано бесконечное число самых необыкновенных историй.

Я узнал, что одна женщина, не получив развода от первого мужа, живет с другим. Я пошел к ней помочь совершить развод. Составили текст гета и послали в Бухару, где жил ее муж. Но он гет не подписал.

Через некоторое время я узнал адрес его брата в Израиле. Жил он, правда, далековато, в Гило, да еще на пятом этаже, и мне пришлось раза три-четыре съездить туда, чтобы он написал брату письмо с просьбой подписать гет. Письмо отправили, но тот опять отказался.

Скоро в Израиль, в город Ор-Иехуда приехали родители этого бухарца, и я отправился к ним. Поговорил, и они написали письмо: «Дорогой сын, из-за тебя большой грех падает и на жену, и на весь народ наш. Подпиши гет!» Он не подписал.

Тогда я предложил родителям: «Поговорите с ним по телефону, о чем хотите, но и про гет тоже». Международный разговор – дорогое удовольствие для нового репатрианта. Они приехали и по моему телефону беседовали с сыном почти полчаса. Он не уступил.

В таких случаях обычно теряют надежду. Я не потерял.

Прошло около двух месяцев. Делал у нас обрезание бывший москвич. Не знаю, почему, пришло мне в голову рассказать ему про этот гет. Он выслушал и говорит: «Я знаю этого человека. Он женат на моей родственнице. Попробую написать ему. Но он тяжелый человек». Москвич написал и получил в ответ письмо со вставкой на бухарском языке. Муж требовал: пусть жена, с которой он расстался, подпишет обязательство (оно-то и было изложено по-бухарски), и пусть его подпишут десять раввинов города Иерусалима. В таком случае он даст ей гет.

Пригласил я десять раввинов и ее. Я по-бухарски читать не умею. Она прочла и залилась слезами. Оказывается, муж поставил условие: она принимает на себя все его грехи от рождения по нынешний день!

Я ей объясняю, бояться нечего, Б-га не обманешь, а она говорит: «Знаешь, сколько тонн грехов у него?» И рассказывает, что когда вышла замуж и была на пятом месяце беременности, он ее выгнал на улицу и взял в дом татарку. «Понимаю, – говорю, – но не бывает, чтобы человек грешил, а потом продал свои грехи другим. Раз нужна подпись для гета – можно подписать любое его условие».

Она не соглашается. Я говорил, говорил, даже предложил ей три тысячи шекелей, но она не соглашалась. У меня иссякли все аргументы. А время уже к ночи. Раввины ждут, пора уходить... И Б-г помог. Я ей говорю: «Ты должна подписать, что он просит, а я тут же принимаю все эти грехи на себя». Она согласилась, и я написал, что принимаю на себя всё, что она потеряет, когда подпишет его условие.

Составили письмо, что она принимает на себя грехи мужа, если он даст развод. Если нет, то грехи его остаются на нем. Письмо подписали десять раввинов, поставили печать и послали в Россию. И он подписал гет.

Интересно, как Б-г помогал мне. Пришла женщина, тоже из бухарских, и говорит, что разошлась с мужем шестнадцать лет назад и не имеет понятия, где он сейчас. Как получить гет? Я говорю: «Приходи через три месяца – посмотрим». А как его искать – не знаю.

Зашел я однажды в синагогу на улице Малкей-Исраэль. Слышу, кто-то кричит: «Ицхак, ты как здесь оказался?» Гляжу, мой бывший сосед из Ташкента, я еще помогал ему продавать дом. Поздоровались, и я опять, непонятно почему, рассказываю, что ищу мужа той женщины. Он говорит: «Это мой брат!» Тут же пишет письмо, и через месяц-два приходит гет.

Однажды случай свел меня с отъявленным негодяем.

Пришла ко мне пара, хотят развестись. Я спрашиваю: почему? Женщина объясняет:

– Он не работает.

Я говорю:

– А если работа будет?

– Тогда всё в порядке.

Я взял его в ешиву, нашел работу: мыть посуду во время перерыва в занятиях. Он учится, здесь же питается, и подрабатывает. А я еще временно взял на себя оплату их квартиры. Кажется, всё хорошо?

Вдруг мне звонят из Тель-Авива: «Ваш сын был у нас в ресторане, и сказал, что вы уплатите». Я уплатил. Потом вызывают в банк, показывают чеки, выписанные этим парнем от моего имени.

Потом он вообще исчез. А жена его – молодая женщина – рискует остаться без гета. Надо его найти.

Я подумал, что он может быть в Гило, в одном из двух домов, где, как я помнил, живут «русские». В обеденный перерыв я решил поехать в Гило, искать.

Стою на остановке, жду автобуса. Прошел переполненный, я в него не попал. Потом второй и опять меня не взял.

Остановилась частная машина, водитель приглашает: «Кому в Гило?» Люди кинулись, а я не стал толкаться, и опять остался.

Так прошло около часа. Но я знаю: всё, что Б-г ни делает, к лучшему – и жду дальше. Приходит еще автобус. И вижу в нем того, кого ищу... И с гетом всё уладили...

А кончил он тем, что «одолжил» в банке 70 тысяч и сел в тюрьму.

Таким историям, как я уже говорил, нет числа.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВСТРЕЧИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ

Рыбницкий ребе

Рыбницкий ребе, благословенна память праведника, жил в Санхедрии по соседству с нами. В свое время он был учеником-служкой ребе из Штефанешта. Он был вдов, и у него не было детей. Рыбницкий ребе приехал в Израиль после нас, в семьдесят четвертом году.

Он оплакивал Сион каждую ночь! Йом-Кипур он заканчивал после двенадцати ночи. Я знаю! Это был человек не нашего полета.

Когда дочка моя Малка была еще подростком, у нее на руках появились бородавки. Ничего не помогало, и доктор Цацкис сказал: «Придется удалять. Но сначала попробуйте получить благословение у Рыбницер ребе».

Я решил застать ребе в субботу. Часов в пять дня я зашел к нему, когда он только закончил утреннюю молитву и сел за стол делать кидуш. Был у меня ученик, он был помолвлен и готовился к хупе. Он тогда был совсем слаб в вере, и я начал с того, что говорю:

– Ребе, есть жених, я прошу дать ему благословение.

Ребе говорит:

– Я ему даю благословение, чтобы он каждый день надевал тфилин.

Я говорю:

– Это все?

Он говорит:

– Я знаю, что говорю.

Он знал, что говорил: жених стал сильно верующим.

Потом я говорю:

– Ребе, у моей Малки бородавки.

– А-а, я ее знаю, – говорит Ребе, – хорошая девочка.

А Малка была настоящий сорванец.

Я говорю:

– Вы, наверное, путаете ее с другой дочкой, Хавой?

Он говорит:

– Я знаю, что говорю. Всё будет в порядке, возьми печенье.

Я взял кусочек печенья и ушел домой. А наутро у Малки исчезли все бородавки, будто никогда не было.

В семьдесят третьем году, когда началась война, Рыбницер решил за танкистами, целовал их и плакал.

Он был очень далек от политики.

Он мне сказал:

– Те мицвот, что я делал в России, я здесь уже не имею.

Там он проходил десятки километров пешком, чтобы тайно сделать брит. Он был шойхетом и не брал денег.

Несколько лет назад он уехал к своим хасидам в Америку, там заболел и умер.

Ешива «Двар Иерушалаим»

Из рассказа рава Яакова Островского

По приезде в Израиль я иногда заходил в организацию ВИЦО, где помогали новоприбывшим, давали какие-то вещи. Там работала Шаруна Куперман, благословенна ее память, и она всё время агитировала, чтобы я пошел в ешиву «Двар Иерушалаим», мол, там есть один математик, рав Ицхак Зильбер, интересный человек. Но я делал всё, чтобы избежать этой встречи.

Летом семьдесят восьмого года я гулял со своей собакой и, проходя мимо, зашел к Шаруне, а она устроила так, что пришел молодой парень, Миша Будиловский, который учился в ешиве «Двар Иерушалаим», и сказала:

– Он учится у рава Зильбера и возьмет тебя с собой в ешиву.

Мне было неудобно отказать. Но я был в шортах, да еще с большой собакой... Миша сказал:

– Ты переоденься, оставь собаку, и пойдем.

Ничего не оставалось, как согласиться.

Я никогда не был в ешиве, и впечатление у меня создалось «фантастическое». Показалось, что я попал в сумасшедший дом. Кого там только не было! Не закончившие школу и люди с высшим образованием, писатели, физики, математики, дрессировщик тигров из Германии, виолончелист Борух Гросс (ученик Ростроповича, ныне концертмейстер симфонического оркестра в Тель-Авиве. Он в перерывах упражнялся на виолончели). И среди них – пожилой человек с растрепанной бородой размахивал руками и рассказывал какие-то истории.

Я сказал себе: в первый и последний раз я прихожу в это место! Но у рава Ицхака есть удивительное свойство: его поведение никак не вязалось с его высоким интеллектом, но странным образом притягивало, как магнит. Я стал ходить в ешиву.

Мне дали кипу. Выходя из ешивы, я ее снимал. Я никогда не чувствовал на себе никакого давления с его стороны. Уроки оказались очень интересными, я их записывал. У меня была к тому времени квартира и работа, я не жил в ешиве, а только приходил на занятия.

Прошло время, и вот я услышал, что в книгах написано: «Тот, кто растит свинью или собаку, – проклят». Я был ошеломлен: я буду проклят за то, что у меня собака? (Потом я узнал, что в названии собаки на иврите – «келев», хотя она и является носителем духовной нечистоты, усматривается намек на ее «сердечную» привязанность к человеку: «ке-лев» – «как сердце». Каждый, кто держал собаку, поймет).

Я пришел к раву Зильберу и сказал:

– Как же так? Вон что говорится, а у меня собака!

Рав ответил:

– Это не про твою собаку, тут имеется в виду другое. А твоя собака – потомок собак, которые не лаяли, когда евреи выходили из Египта. Поэтому Тора разрешает кормить их. И у тебя мицва кормить и содержать ее.

А я на свою собаку зарплату тратил: породистый голландский дог, величиной с теленка, животное капризное: она любила дорогой сыр, колбасу...

Другой на месте рава Зильбера сказал бы, что надо немедленно расстаться с собакой, мудрецы, мол, знают, что говорят... Но рав понимает человека, знает, что он привязывается к животным. Если бы он сказал, что собаку надо выгнать, я, возможно, оставил бы ешиву.

Через некоторое время я собрался жениться. Я отдал собаку охраннику полей, у которого были другие собаки.

В преподавании рава Зильбера как бы отсутствует система, но это-то и является глубоко продуманной и испытанной системой: не оказывая никакого давления на учеников, привлечь к себе и приобщить к Торе. Здесь его секрет. Другой секрет – это когда приходишь рассказать о неприятностях, а рав забивает тебе голову всякими рассказами, и ты забываешь, зачем пришел. Не всё решается, но всегда уходишь с чувством облегчения, и проблема уже не кажется такой большой.

Субботние уроки

Пока не случился инфаркт, я в течение одиннадцати лет по субботам давал урок Торы, так что никогда днем в субботу не бывал дома. И есть ученики, которые стали религиозными только из-за этих занятий.

Из рассказа рава Полищука

Рав Ицхак дал мне тот основной толчок, который привел меня к евреиству. В принципе, я много интересовался иудаизмом и понимал, что это вещь истинная. Но до исполнения было далеко.

Однажды товарищ сказал, что по субботам в Санхедрии рав Зильбер дает урок по недельной главе Торы. Я стал посещать эти уроки. И

они произвели во мне переворот. Почему? Рав Ицхак никого ни в чем не убеждал и не уговаривал, он просто на большой скорости читал недельную главу на иврите и переводил на русский. И всё. Но что бы он ни делал, ни говорил, было ясно одно: Тора – это истина. И я, наконец, сдвинулся с места.

Каждый человек оценивает других в соответствии со своим собственным уровнем. Я был свидетелем следующей ситуации. На свадьбе я сидел рядом с человеком, недавно приехавшим в Израиль, и мы беседовали. В это время в зал незаметно проскользнул рав Зильбер в своих выдавших виды пиджачке и шляпе.

– Как ты думаешь, – спросил я у новичка, – кто этот человек?

– Наверно, сборщик трупы (пожертвований), – не задумываясь, ответил тот.

Несколько дней спустя я говорил с другим иностранцем, который тоже приехал недавно и тоже ничего не знал о раве Зильбере, просто встретился с ним в городе и поговорил немного. Он спросил меня:

– Этот рав Зильбер, что это за человек такой? Шхина (Б-жественное присутствие) постоянно с ним находится!

Вот так два человека увидели в раве Ицхаке совершенно разных людей.

Можно ли брать деньги за преподавание Торы?

Я думаю, что этот вопрос актуален и сегодня.

Есть закон Торы: когда учишь с детьми Хумаш, письменную Тору, – за это можно брать деньги. Но если учить устную Тору – то нельзя. Когда совсем нет денег, берут не за преподавание, а за потраченное время, в которое человек мог бы заработать на жизнь.

Знайте: все эти тысячи учителей, о которых говорится в Талмуде, не брали денег. И в последующие периоды – Раши делал вино, Рамбам был врачом. До того, как он стал врачом, его старший брат сказал: «Жалко терять такую драгоценность для евреев, как твоя голова. Пока я жив, беру на обеспечение тебя и твою семью». И Рамбам был полностью обеспечен, пока брат был жив. И успел за это время написать книги. А когда брат умер, Рамбам стал врачом, но времени писать уже не было... Если бы не брат – мы бы не имели Рамбама.

Благословения и проклятия

В Торе, в книге «Дварим», перечисляются благословения и проклятия, которые Б-г пошлет народу Израиля в зависимости от его поступков в дни пребывания на земле Израиля. Последнее из проклятий звучит так: «Проклят тот, кто не установит слова этой Торы».

Рамбан объясняет: «Тот, кто забылся нечаянно или очень захотел есть свинину и тому подобное, – он не подпадает под это проклятие. Не сказано: «Проклят тот, кто не будет выполнять». Сказано: «кто не установит».

Как это понимать? Даже если человек абсолютный праведник, и мог помешать грешникам согрешить, но не помешал, – падают на него слова «проклят тот, кто не установит Тору».

Если человек учит Тору и обучает других, не делает запрещенного и делает всё, что надо, но был момент, когда он мог поддержать, чтобы было по Торе, но промолчал – проклят. И наоборот: человек не учил сам, не учил других и не выполнял, что следует, но был момент, когда нужно было настоять и сделать, чтобы было по Торе, и он сделал, – на него падает "благословен, кто будет устанавливать Тору".

Я понял это, когда, едва приехав в Израиль, попал на собрание, где сидели за столом и беседовали несколько человек. Один из них, лет пятидесяти пяти, рассказал:

«Я был крупной фигурой в партии Мапай (Авода) и участвовал в создании государства. Обсуждались разные вопросы, и среди прочего хотели принять решение, чтобы в Иерусалиме ходили автобусы в субботу. Сам я езжу в субботу. Но тут встал и говорю:

– Я этого не допущу.

На меня закричали:

– Что с тобой? Ты стал религиозным?

Но так как решение об автобусах было в моих руках, то не пошли автобусы в субботу, и так уже потом было принято».

Про такого человека сказано: «Благословен, кто будет устанавливать Тору».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «КОМАНДИРОВКИ»

Вена

Из Израиля я часто ездил в другие страны по разным делам. После того обеда, о котором я рассказывал, я еще не раз бывал в Америке, а в Россию вообще ездил регулярно, обычно – на праздники в московскую ешиву. Но и в другие города тоже. Был в Австрии, Германии, Италии – везде, где были евреи из России...

Из рассказа Хаима Коэна

В восемьдесят шестом году мы вчетвером: рав Зильбер, Моше Пантеллят, Надав Розенберг и я – поехали вместе на семинар. Нам предстояло побывать в Нью-Йорке, Риме, Западном Берлине – в трех странах. Мы приехали в Нью-Йорк, вели семинары. Мне было поручено всё время находиться рядом с равом Зильбером, чтобы он не оставался один в чужьем городе.

Всё шло хорошо, но нам, молодым, очень хотелось посмотреть город со всеми его небоскребами. Мы столько о нем слышали, а были здесь впервые. Из-за лекций свободного времени у нас было очень мало. Мы разузнали, что есть интересная трехчасовая экскурсия вокруг Манхэттена на теплоходе. Моше и Надав уже выбрались на эту экс-

курсую, а мне никак не удавалось: рав Зильбер и слышать не хотел ни о каких экскурсиях, для него это было абсолютно неприемлемо. Но вот подвернулся случай.

Я встретил своего знакомого, который уехал из Израиля в Нью-Йорк, женился на русской женщине и теперь интересовался вопросом гиюра для нее. Узнав, что среди нас есть раввин, говорящий по-русски, он попросил устроить ему и жене встречу с равом Ицхаком. Рав Ицхак сказал: «Пожалуйста, в любое свободное от лекций время». Я подумал, что это именно тот момент, которого я искал, и предложил провести встречу на теплоходе.

Рав Ицхак не хотел: корабль идет три часа, а для беседы достаточно получаса, сорока минут. Что мы будем делать остальные два часа? Я же красноречиво убеждал, что морской воздух полезен для его здоровья. Так или иначе, он согласился.

Мы сели на корабль. Рав Зильбер побеседовал с этой парой, подробно ответил на вопросы, и минут через сорок беседа закончилась. Рав Зильбер знал, что мы старые друзья еще по Израилю, он сказал: «Ребята, вы поговорите», – и отошел в сторону.

Мы разговорились, конечно, по ходу дела разглядывая Манхеттен. Такая приятная обстановка... Незаметно прошел час. Я оглянулся – и не вижу рава Зильбера. Где он? На палубе его нет.

Я начал волноваться, обошел все этажи – нигде его нет! Мне ничего не оставалось, как спуститься в трюм. И тут я разглядел его силуэт: он сидел там, в темноте. Я подошел к нему сзади и услышал, что он шепчет мишнайт. Так он сидел, этот человек: его не интересовал Манхеттен, он только знал, что попал в место, где не может заниматься Торой, и единственное, что осталось ему – это повторять мишнайт, которые он знал наизусть.

Для меня это был большой урок. Я увидел, как человек живет Торой... Как в ситуации, в которую я, молодой парень, фактически вынудил его попасть, должен вести себя мудрец...

Рав Зильбер сказал мне, что ему нужно непременно встретиться с Любавичским ребе, благословенна его память. Мы спланировали время так, чтобы в первый же свободный от лекций вечер поехать к нему.

Я осторожно спросил рава:

– Почему Вы так хотите его видеть?

Рав Ицхак ответил, что не может всего сказать, но ему важно поговорить с Ребе, предупредить его, и, возможно, в чем-то переубедить.

Я видел порыв, с каким рав Ицхак стремился к этой встрече, и она представлялась мне чрезвычайно важной.

Мы приехали и стали узнавать, как попасть к нему на прием. Оказалось, что такая возможность совершенно исключена. В эти годы Ребе уже по состоянию здоровья принимал ограниченное число посетителей. Но мы знали, что он должен выйти из своей комнаты на вечернюю молитву, пройти по коридору длиной метров тридцать в комнату в этом же здании, а затем вернуться к себе.

К моменту, когда Ребе должен был появиться, в коридоре, где мы стояли, собралось очень много народу, и было не подойти. Ребе вошел

в синагогу, все вместе помолились, а когда молитва кончилась, снова вышли в коридор. Поскольку рав Зильбер так стремился поговорить с Ребе, я думал, что сейчас он предпримет какой-то шаг, наверно, подойдет к Ребе. Но он остался стоять на месте. Мне только показалось, что они будто поздоровались глазами – и всё. Ребе вошел в свою комнату, и сразу после этого рав Зильбер сказал:

– Всё, мы уходим.

Я говорю:

– Как это, рав Зильбер? Вы же хотели с ним говорить?

– Нет, видимо, не суждено.

Это, конечно, мое собственное толкование, но мне показалось, рав Ицхак знал: для того, чтобы у него была возможность о чем-то предупредить Ребе, нужна инициатива самого Ребе. Он пришел и встал на виду. Ведь Ребе знал его, и если не подошел, значит, свыше не дана была возможность с ним говорить...

Закончился семинар в Нью-Йорке, оставалось три дня до семинара в Берлине, и на эти дни рав Зильбер и я должны были лететь в Италию. Там, в Ладисполе, находились эмигранты из Союза, которые вместо Израиля хотели ехать в другие страны. Мы отправились к ним.

Летели ночью. Возле Рима самолет уже пошел на посадку, когда заметили, что скоро взойдет солнце. Рав Зильбер открыл портфель, вынул талит и тфилин и начал молиться.

Уже стюардесса обошла всех, чтобы застегнули ремни, а он молится. И буквально за несколько секунд до того, как самолет должен был сесть, рав Ицхак встает на «Амиду». Можете себе представить глаза стюардессы: самолет снижается, все сидят с застегнутыми ремнями, а пассажир встал. Она бросилась к нему, как сумасшедшая, и стала кричать, чтобы он сел.

Я не знал, как мне быть: с точки зрения безопасности, в самом деле нужно сидеть. С другой стороны: рав Зильбер стоит на «Амиде» – разве я могу ему что-нибудь сказать? Я только сказал стюардессе: «Поверьте, ничего с ним не будет, и с самолетом тоже всё будет в порядке. Пожалуйста, успокойтесь!» Она поняла, что ничего не поделаешь, потому что самолет уже приземлялся, побежала на свое место и села. И так мы все сидели, а рав Ицхак стоял и молился, когда самолет коснулся земли. Обстановка была сюрреалистическая. Никогда не забуду эту историю.

Мы сразу поехали в Ладисполи, город в сорока километрах от Рима. К сожалению, местный раввин, который многие годы осуществлял связь между новоприбывшими и еврейской общиной, был в отъезде. Тогда рав Ицхак сказал, что у него есть еще одно дело в Италии.

В иерусалимском раввинате его попросили помочь получить в Риме гет у одного израильтянина. Тот занимался контрабандой оружия и наркотиков, и его посадили на десять лет. В Израиле осталась жена. Люди они были нерелигиозные, жена заявила, что не намерена ждать, она уже с кем-то сошлась, и могут родиться «мамзеры» (так назы-

ваются дети, родившиеся у замужней женщины не от мужа; по отношению к ним Галаха устанавливает особые законы)...

Мы поехали в Рим заниматься этим делом. Денег у нас было мало. Мы сняли номер в паршивенькой гостинице, где хозяином был израильтянин, но, по крайней мере, крыша над головой была. На следующий день мы попали в местный раввинат. Рав Зильбер объяснил, в чем дело. Оказалось, иностранному гражданину попасть в тюрьму очень сложно: нужно направление от раввината и разрешение от министерства юстиции. Раввинат и министерство находились на разных берегах Тибра, приходилось по нескольку раз в день бегать туда и обратно. Именно бегать, потому что в транспорте мы не разбирались, и рав Зильбер не хотел на это тратить время. Я, должен признаться, поспеивал за ним с трудом, он переживал, что через два дня мы должны улететь и нужно быстро выполнить все формальности. Наконец, нам сообщили, что во вторник можно посетить тюрьму.

В десять утра надо быть в тюрьме, а в час дня у нас самолет на Берлин. Тюрьма – в ста пятидесяти километрах от Рима, аэропорт – в пятидесяти в другом направлении. В считанные часы нужно проделать путь в сто пятьдесят километров в одну сторону и в двести – в другую. Рав Зильбер договорился в раввинате, что для оформления гета с нами поедут два местных раввина. Мы должны были помолиться рано утром в римской синагоге и на машине отправиться в тюрьму.

Рав Ицхак мне сказал:

– Хаим, читаем самую короткую молитву, быстро-быстро, и убегаем. Задерживаться нельзя, иначе ничего не успеем.

В этой прекрасной старинной синагоге была такая располагающая обстановка, что вместо того, чтобы помолиться, как он мне сказал, я молился спокойно, медленно. Рав уже собрал тфилин и талит, а я только закончил «Шма» и встал на «Амиду». И в этот момент слышу голос рава Зильбера:

– Хаим, сейчас не время молиться так спокойно! Из-за тебя там мамзеры могут родиться, а ты сейчас молишься?! Кому нужна такая молитва?! Быстро заканчивай, не задерживайся ни одной секунды!

Можете себе представить, что я почувствовал, когда услышал, что из-за меня могут родиться мамзеры... Уж и не помню, как я закончил эту молитву. Только я сделал три шага назад после «Амиды», рав Зильбер схватил меня за рукав и тут же повел в машину: в талите, в тфилин... Снимал я их уже в машине.

Так я получил урок, что «все свое время»: молитва – в свое время, а действие – в свое... Но самое интересное было впереди.

Все три дня, что мы были в Италии, главной нашей проблемой и темой всех наших разговоров был вопрос о том, как пройти в тюрьму и получить гет у этого человека. А что, возможно, придется его убеждать? Что он в тюрьме, что ему тяжело? Ситуация не простая...

Мы приехали в городишко, где находилась тюрьма. Я остался в машине, а рав Зильбер с раввинами вошли в тюрьму.

Минут через пятнадцать выходят с озабоченными лицами. В чем дело? Рав Зильбер спокойно говорит, что как только тот услышал,

что приехали раввины по поводу гета, он вообще отказался к ним выйти. (На входе рава Зильбера тщательно обыскали. «Если бы меня так обыскивали в лагере, я бы не смог пронести тфилин», – сказал он).

Рав Ицхак сел в машину, попросил ехать в аэропорт и больше не сказал о гете ни слова. Он переключился на предстоящий семинар в Берлине. (Потом мне рассказали, что, оказывается, за эти несколько минут ему удалось еще положить сто долларов на счет этого заключенного. Он сказал: «Я знаю, что такое еврею сидеть в тюрьме среди чужих. Наверняка ему нужно что-то купить».)

Я видел, что рав Ицхак приложил максимум усилий, сделал всё, что только можно вообразить. И вот, когда его последнее усилие окончилось неудачей, он не проронил ни слова: он знал, что сделал свое, результаты от него не зависели, и теперь он думал о том, что предстояло делать дальше.

В трудных ситуациях я всегда напоминаю себе об этом: ты должен приложить все усилия, идти до конца, а результаты... А результаты зависят от Всевышнего.

Гет был получен через три года.

В Россию на Песах

Я решил взять с собой в Москву старый лагерный чемоданчик. В ешиве было много народу. Я провел *седер*, и пока гости ели, начал рассказывать.

Я не ожидал, что вызову такой интерес. Весь Песах мне пришлось рассказывать и рассказывать... Про Песах в лагере, про геноцид Сталина. Я чувствовал себя счастливым, правда, устал ужасно. Но если я не расскажу, то кто это расскажет?

В этот раз мне понравилось в ешиве. Как-то зашел ночью в синагогу – несколько человек занимались. Я постоял, меня не заметили. Потом я зашел в шесть утра: сидит один и учит, и не видит меня и не слышит. Это о чем-то говорит? В этом году они уже могли молиться вслух, читать свиток Торы, а раньше нет.

Впервые в жизни со мной случилось такое: я вел урок и закашлялся. Меня отвели в другую комнату и вызвали врача. Я не мог говорить, не слышал, что говорит врач, ничего не понимал. Врач сказал, что это приступ астмы. На следующий день я должен был проводить *седер* для ста человек. И провел его нормально, и рассказывал еще и завтра, и послезавтра... Все три недели, я был «сам не свой», но очень доволен, что был там.

Из рассказа Пнины Коэн, жены рава Хаима

Мы работали в Италии посланцами рава Соловейчика. В семьдесят девятом году приехал рав Зильбер. Я была счастлива, что смогу как хозяйка услужить ему. Но он не позволял этого делать. Даже сухари с собой привез!

Мы жили в большом одноэтажном доме на берегу моря. Как-то после полудня рав пошел отдыхать в свою комнату, вдруг слышу: он с кем-то разговаривает. Но я точно знала, что никто в дом не входил.

Я знала легенды, что к некоторым великим мудрецам приходил сам пророк Элияху. Я была очень взволнована.

Около четырех часов рав выходит из комнаты, и с ним мальчик лет тринадцати. Я спросила рава:

– Как он вошел?

– Он вошел через окно. Я знал, что ты легла отдыхать, и не хотел беспокоить. У меня было время с ним позаниматься, и я его пригласил прийти.

Интересно, что там, в Италии, люди из России чувствовали необыкновенную тягу к нему. Мужчины, женщины, дети... Он для них был, как вода для сухой почвы.

Мы часто устраивали шабаты для эмигрантов. Я спросила Хаима, на сколько людей готовить. «Как обычно», – ответил он. Я приготовила пятьдесят порций.

Наступил шабат. Вдруг одна из женщин, что помогали мне, говорит: «Пнина, погляди в окно!» Я выглянула и вижу: идет рав Ицхак «в облаках Славы» – в окружении огромной толпы. Я ужаснулась: где я возьму столько порций? Пришло человек сто двадцать.

Люди просто прилеплялись к нему. Он приехал в четверг, а через день они уже бежали за ним, чтобы услышать еще одно слово.

Иерусалим 2001

Шуламит Шалит
БИЛЕТ ДО СТАНЦИИ «ЗАБУДЬ»*

*Ко мне вернулся старый друг,
Он шел двенадцать лет.
И понял я при встрече вдруг,
Что нас на свете нет.
Что умер я и умер он,
И умер мир вокруг...*

Друг вернулся иначе. Мы потерялись на много лет, и голос его пришел по волнам радио Израиля. Сообразив, что Миша Ландман здесь, но, не умея его отыскать, я позвонила в студию, дала номер своего телефона, но назвалась другим именем... И слышу: «Мне сказали, что меня ищет какая-то Сусанна...»

Мишка! Я закричала в трубку его стихами, которые помнила с семнадцати лет:

*Во имя дружбы и любви
Скрепим единства узы.
И поклянемся на крови
Сладчайшего арбуза!*

Эти строки были позывными нашей юности. И тогда никто не мог предполагать, что хотя он проживет в Израиле всего шесть лет, многие старые его стихи обретут новый смысл.

*Давай уедем к черту на кулички!
Сбежим от этой вязкой суеты,
Где наши сны кромсают электрички.
В котомку сунем фитили и спички
И будем за собой сжигать мосты, –*

читал Миша Ахматовой у Марии Петровых, в доме которой он был едва ли не членом семьи. Они же слушали его «Завещание» (Памяти Петрарки), где были такие слова:

*Не оставлю ни единой строчки,
Подвигом людей не полоню.
Весь умру! До капельки! До точки!
Деревом, сгоревшим на корню.*

* См. также: Шуламит Шалит. «Ко мне вернулся старый друг...» Памяти поэта Михаила Ландмана. – Вестник. Балтимор. 2001. №№2, 3 (16 января, 30 января).

*Если же на кладбище планеты
Выживут хотя бы две души,
Завещаю им твои сонеты,
Купленные нынче за гроши.*

Я его никогда не видела без книги. Петрарка, купленный за гроши? Наверное, было и такое. Но и не за гроши. Голодал, но книги покупал всюду и всегда. В Израиле я знала еще одного такого – покойного уже Илюшу Бокштейна. Их нет обоих. Миша был везде, где книги, – от Арбата и Лавки писателей до самых занюханных развалов. Он знал всех и каждого, и продавцов, и перепродавцов, и истинных книголюбителей. И ценил истинно мастеровых. Создающих и слово, и дело.

«Поскольку моя поэтическая биография вся рождена человеческой, мне бы хотелось попутно рассказать о себе...» Так Миша начал. И написал полстранички. «...Отец торговал фруктами... Вместе с бабушкой читал он весьма серьезные религиозные трактаты, а к торговле, пусть даже фруктами, приспособлен не был, и посему дела его шли из рук вон плохо. Мама, напротив, рано обрела специальность, шила женские платья...»

Мама, Полина Самойловна, всем обликом, седой головой-колоколом похожая то ли на польскую графиню, то ли на еврейскую Анну Ахматову. И вот она его пережила.

Жену свою, Соню, иначе как Ундиной Миша не называл. Он посвятил ей не одно стихотворение. Начало одного все мы знали наизусть: «Беатриче! Беатриче! Стал я робок и лиричен...» А вот другое, шутивное, написанное в один присест ко дню рождения, «Гимн Ундине»:

*Я пишу о моей жене,
Не инфанте и не княжне.
Инфантильной, немного хрупкой,
Рыжекудрой, слегка смешной,
Занятой в жизни игрой некрупной,
Ставшей из жалости мне женой.
Я пишу о моей супруге,
Друге в несчастье и в счастье друге.
Ею, как жемчугом, дорожа,
Ласковой голосом и руками,
Не украсившей мой лоб рогами,
Девушке в гневе нежней ужа.
Я пишу о моей любимой,
Женщине, ни с кем не сравнимой,
Шьющей и штопающей мою
Жизнь, изрешеченную долгами.
Перед судьбою и перед вами,
Чьей судьбой себя сознаю.*

Когда-то Корней Чуковский сказал Мише, и он запомнил: «Вы счастливый человек. Вы доживете до двухтысячного года». Миша Ландман родился 7 ноября 1931 года в Подволочиске, в Галиции, а скончался 17 октября 97-го в Хайфе. Чуть больше двух лет не дотянул до двухтысячного. Не каждый возвращается в дорогие когда-то места, опасаясь больше потерять, чем найти. Он не страшился. В 61-м году отправился искать свою речку Збруч, высокие откосы, памятное с детства, «ухаженное, строгое еврейское кладбище», присил сказать, что, мол,

*По дикому настбищу рыцет
Среди разворованных плит.
Еврейское кладбище ищет.
Поет, причитает, скулит.*

И две строфы на идише (он пишет русскими буквами):

*Эр от гехат, цвей зейдес. / Зэй зайнен фарфалн он эйдес. /
Фалн, фалн, фалн трэрн, / Фалн аф ди липн. / Цвишен штибэлэх
унд штэрн / Из а мэнч геблибн.* (Было у мальчика двое дедушек. Они пропали, и нет свидетелей. Слезы падают на губы. Остался человек меж домишками и звездами). Воистину,

*Мы выпадаем, как листья из книги,
Но, как листья, еще содержим суть
Того, что отразилось в каждом миге
Сознания, и тщатся прощельги
В нас нашу суть, как лист, перечеркнуть.*

Немногие знали, что Миша поэт, но все – что прекрасный переводчик и великий книжник. Посреди вечеринки, сборища, банкета он мог оказаться в уголку с книгой и пропасть для окружающих.

*Не видеть. Не спрашивать. Не знать.
Жить в окруженьи книжных переплетов.
И ни в какой другой не попадать.
Лбом биться в стенку – дело идиотов.*

Таким и был – ироничным и серьезным. Разным. И вот он возвращается к нам из глубины потери.

В три года Миша взял в руки букварь польского языка, с ребе читал сидур, молитвенник на иврите, и детские книжки на идише. К началу войны он учился в русской школе: родители думали о будущем. Удалось эвакуироваться в глубь России. Свои мемуары Ландман назвал «Миражи»: «Уральское блеклое небо, извилистое лезвие гор... Вспоминалось самое лучшее: необъятные горные панорамы, словно вся вселенная раскинута перед тобой. Как было приятно, лежа на земле, глазеть в небо, видеть плывущие облака. Огромные парусники...»

Одно из впечатлений четырнадцатилетнего подростка сразу после войны – приезд в Вильнюс, который он полюбил истово и на всю жизнь. Он описывает мальчонку в чужом городе, на чужом вокзале. Наверное, есть воры. Мать пошла искать, чтоб подвезли. Он то садится на тюки, то кружит вокруг них, как «кот ученый», охраняет. Подъехала коляска с резиновыми шинами. Усатый кучер. Раннее утро. Город оживает. «А коляска все катила и катила, мягко убаюкивая меня, восхищенного и успокоенного. Таким красивым до войны был лишь Львов...» И хотя праздник кончается, и въезжают они в район с мрачными развалинами, разрушенными домами, «память о тех красивых улицах... вселила в меня надежду и зачатки... незабвенной любви». Эти слова многое объясняют в его отношении к вещам, к миру, к людям, плотно населившим его жизнь. Память на детали, на картины, лица была у него поразительная. Мемуары обещали быть интересными, он их не завершил.

Вильнюсский приятель его, Сережа Раппопорт, социолог и поэт, назвал их дружбу «совместной прогулкой длиной в сорок лет». Он «имел вкус к новым людям: осторожно знакомился, и сразу восхищался... Но древний круг в Вильне был незыблем. Наезжая несколько раз в году, уже из Москвы, там жила мама, Миша совершал ритуальные визиты по дружеским местам города...» О Вильнюсе:

*Вернуться бы в город булыжных и сумрачных улиц,
Где юность осталась и призраком бродит в ночи,
Где некогда Музы нечаянно мне улыбнулись.
И дрогнуло сердце, но тут же сказало: «Молчи».
Отшельником книжным живу, и в закрытые уши
Ни звука не втиснуть...*

В пятом классе учительница литературы пришла на урок и не застала никого. Это Миша устроил урок литературы на чердаке. В отместку за то, что она неправильно ставила ударения. Миша был прирожденный филолог с обостренным чувством слова и ритма. Он всегда стремился к совершенству. И это часто приводило к невозможности поставить точку.

Поэт Юрий Григорьев: «Он был красив, был стройный, пластичный (отчего казался высоким), кучерявый, как Пушкин... Хотя, кажется, рисовался под Маяковского, величаво шествуя по проспекту, читал стихи бархатным голосом: и свои, и «серебряного века», и Багрицкого, и Светлова, Сельвинского, и своих друзей по старому литкружку...» Ему надо было, чтоб все знали его друзей – Артура Креслова, Мишу Ярмуша, Алешу Дадьянова и Галочку Танаевскую, и Давида Озура, и Толю Салиева, и Володю Сайтанова. Они начинали со стихов, но разбросало их по разным весьям и профессиям, и только в Мишиной памяти они остались юными, и вместе. О себе не успел, но о каждом из них написал.

Он учился всю жизнь. Но не закончил ни одного вуза. Мы познакомилась в Переделкине, в общежитии Литинститута. Он обрушил на первокурсников лавины стихов. Мы чувствовали себя

неловко: нас приняли, а его, самого знающего, умного, достойного не зачислили... Но на семинары ходил. Юра Григорьев пишет: «Его благосклонность к моему обожанию длилась недолго». Нет, не скажу, что я Мишу «обожала». Я ведь не знала его стихов, вначале даже побаивалась, он казался таким взрослым. Но очень скоро он сообщил, что влюбился, в библиотеке, в Ленинке, в свое рыжее чудо, в Ундину, и приезжая в Переделкино, часами говорил только о ней. И вдруг стало проще. Слушать его я была готова всегда... На мое восемнадцатилетие из Москвы на дачу в Переделкино приехал руководитель нашего семинара поэтического перевода Лев Озеров. Мы с Ландманом провожали его на электричку. И на обратном пути Миша рассказал о своем друге, который много лет поступал в Литературный институт, не поступил, «и вот, – сказал он, – совсем недавно, переходя Тверской бульвар возле Арменторга, попал под машину. И ничего не осталось. Только одна песенка». Мы шли мимо кладбища, на котором еще не было могил Пастернака и Чуковского, и он ее спел.

*Девушку эту я знаю давно,
У нас с ней особые счеты.
Девушку эту водил я в кино
Часто после работы.*

*Шли мы по улице нашей старинной,
А на всех лотках
Мандарины, мандарины
Продавались на всех лотках.*

*– Мальчик, – сказала однажды она, –
Самый любимый на свете,
Может, сегодня вместо кина
Купишь мне штуки эти...*

*Шли мы по улице нашей старинной,
А на всех лотках
Мандарины, мандарины
Продавались на всех лотках.*

Может, из-за Мишиного рассказа, или из-за *вместо кина*, но незатейливую песенку я мгновенно запомнила и стала петь во всех студенческих, а потом и прочих компаниях, а вслед за мною стали петь другие, и дети мои ее знают.

И то же случилось с песней «Экспресс времен». Ее поют все. И знают как «Сиреневый туман». Есть в Москве даже музыкальная группа с таким названием. Но я и мои друзья пели так, как впервые спел Миша, на другой мотив. О, как вторила она стуку юных сердец!

Знайте же, там, в Москве, и на всех ваших окраинах, включая Израиль и США, что песня "Сиреневый туман" написана Михаилом Хаимовичем Ландманом в соавторстве с Михаилом Юрьевичем Ярмушем. Я выделяю это, чтобы никакая вдова никакого песнеписца не приписывала ее своему мужу, хватит им их славы! Ландман: «Песня эта на мотив какого-то танго, звучавшего в конце сороковых. Написана в соавторстве с Михаилом Юрьевичем Ярмушем. Была увезена в Калининградское высшее военно-морское училище нашим другом Владимиром Велутисом, тогдашним его курсантом, и там получила распространение. После мы ее услышали уже в измененном виде, много лет спустя. Написана в нашем варианте в 1961 году».

Из самиздатского сборника «Пять девчат о любви поют», составленного и отредактированного мною, изданного в пяти машинописных экземплярах с иллюстрациями Юры Костельцева в 1961 году (технический редактор Марите Глибаускайте):

ЭКСПРЕСС ВРЕМЕН

Экспресс времен пришел на первую платформу.

Я взял себе билет до станции «Забудь».

Чудесный мой состав бесплотен и бесформен,

Крушенью не бывать, спокоен долгий путь.

Сиреневый туман над нами проплывает.

Над тамбуром горит зеленая звезда.

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Что с девушкою я прощаюсь навсегда.

Напомнит стук колес все то, что ты сказала,

Что выцвела любовь, как ситцевый платок,

Что ты устала ждать¹ под сводами вокзала,

Где каждый поцелуй – недопитый глоток.

Сиреневый туман над нами проплывает.

Над тамбуром горит зеленая звезда.

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Что с девушкою я прощаюсь навсегда.

Это про нас, московских студентов, которые в пору неслыханной, краткой счастливой оттепели встречались, захлеб читали запрещенных поэтов, влюблялись, расставались, прощались...

Прошло три года. Мы уже жили в новом семизэтажном общежитии на стыке улиц Добролюбова и Руставели. Миша был давно женат на Ундине. Приходил в гости. Однажды пришел, когда у

¹ Так в нашем сборнике, так мы пели. В оригинале, у М. Ландмана: «Что ты устала жить».

меня сидели Новелла Матвеева и Юнна Мориц. Спели «Экспресс». «Между прочим, – сказал Миша, – я написал еще куплет».

Из сборника:

*Пусть шутят надо мной мальчишки в гимнастерках,
Пусть пьяный гармонист наигрывает в такт.
Им, право, не понять, что скоро будет стерто¹
Лицо моей земли от атомных атак.
Сиреневый туман над нами проплывает.
Над тамбуром горит зеленая звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девишкою я прощаюсь навсегда.*

Спустя целую жизнь эту песню целиком, и с третьим куплетом, я нашла в архиве Ландмана. Как, впрочем, и «Мандарины». Это его стихи, его песни, а не *мифического друга*, о смерти которого я столько скорбела.

В одном из ранних сборников Олжас Сулейменов написал, что я, мол, «читала (ему) хорошие стихи, выдавая их за чужие». Скорее всего, он ошибался. Но Миша, правда, читал нам свое, выдавая за чужое.

В записях Ландмана я нашла такой любопытный текст:

«Один знакомый попрекнул: «Ты же когда-то подавал надежды». Я никому не подавал. Ничего. Я жил и продолжаю жить своей жизнью. Песня, которую мы с Ярмушем написали в юности, искаженная, измененная до неузнаваемости, сохранилась до сего дня – безымянная. И продолжает кого-то трогать, раз ее поют. Время и люди фильтруют все. И эта безвестная слава радует больше, чем радовали бы возвеличивающие тебя слова в какой-нибудь многотомной энциклопедии. Есть люди, нуждающиеся в ней, не могущие без нее жить. Я смог и прожил. Конечно, и мне хотелось быть любимым, необходимым, но не для того, чтобы на тебя глазели и щупали руками.

Я отнюдь не осуждаю людей, которым такая поддержка необходима. Нет! Тысячу раз – нет!

Но для себя с юности усвоил непререкаемую истину, изреченную Пушкиным:

*Ты, царь, живи один.
Ты сам свой высший суд».*

Уже после его ухода в Москве вышло 3-е издание книги Яна Бжехвы «Академия пана Кляксы» в переводе с польского Михаила Ландмана:

«Пан Клякса откашлялся и начал:

За долиной, за рекой, между небом и землей, на Луну ведет тропинка, а тропинка – невидимка. С каждым шагом тропка круче,

¹ В оригинале у М. Ландмана: «Им правды не узнать. И скоро будет стерто...»

то бежит она по туче, то под радугой-дугой, то по глади голубой. И примерно через месяц всех приводит нас на Месяц. Правый глаз мой там бывал, очень многое видал, и о том, что видел глаз, поведу, друзья, рассказ...»

Он был замечательный переводчик, круг общения его был обширен. Семинары Светлова, Сельвинского, Озерова, Сусанны Мар, секция Марии Петровых. Он преподавал азы идиша Анне Ахматовой, когда она переводила еврейских поэтов. И сам перевел около двадцати книг прозы с румынского, чешского, польского. Его перевод «Когда я вечерами...» Юлиана Тувима стал классическим.

*Когда я вечерами бреду по переулку,
Когда в пальто потертом по улицам шагаю,
Я просто совершаю бесцельную прогулку,
Вот разве что о камни подошвы протираю.
Когда я так шагаю, красивый и веселый,
В карманы сунув руки по самые запястья,
Раскачиваясь, будто несусь я груз тяжелый,
Во мне бурлит и бродит мое хмельное счастье!*

Автопортрет не только Тувима, но и самого Миши Ландмана.

В Израиле, чтобы не сидеть сложа руки, не ждать ничьей милости, пошел он работать метлой. В 93-м году его взяли в библиотеку Хайфского университета. Среди книг – вот это было по нему. Съездил в Москву. Она оказалась не то, чтоб совсем чужая, но не та, что прежде. Он уже полюбил Хайфу. Из его записей:

«...Жизнь сложная. Но ведь я сам хотел уехать. Я хотел жить в своем государстве. И живу. А уж если не совсем уютно, то в этом моя личная вина. Не тот возраст, не те возможности».

*Тот белый свет, что я слепил
Из уз и муз, – меня слепил.*

Многое он оставлял «на потом», ибо лучшие годы пришлось на времена, когда приличнее было молчать. В Израиле собирал свои стихи и записи, розданные друзьям. Не все вернулось. Не все вспомнилось. Казалось, впереди еще много времени...

Он ушел, сильный, высокий, красивый, любимый родными и друзьями повсюду.

Сюр Тнам

ШЕЛ ПО ГОРОДУ ВОЛШЕБНИК

Я и сейчас вижу его. Цвета залежалой тель-авивской пыли и такого же запаха. Вот, завернул за угол. В одежонке с чужого плеча, в полубезумной бороде в звездах. Магическими пассами птичьих ручек он творит и гонит перед собой слова. Мечтатель и странник («странный человек, не похожий на других») он хворостиной слова погоняет чудеса. Чтоб не разбежались.

Чудесам хорошо с ним в странноприимном закутке, где нет машин и телефонов, пооек и зарплат, долгов и связей, где дома угловато летят в космос, плоскости пересекаются, рождая цвета и запахи, где Судьба и Время, Пространство и Образы Вещей играют в чехарду и творят тесто мира, замешанное на красоте и гармонии. Где всё так чутко и хрупко, что «балка обрушится, если чуть прислушаться».

И возникал он так же. Иногда проявлялся сквозь пыль, как на старом дагерротипе, и с полуфразы затевал прерванный полгода назад разговор (а на самом деле продолжал уже вслух бесконечный внутренний диалог); иногда – обнаруживался у дверей – всегда без предупреждения, звонка, вдруг. Телефоном он не пользовался никогда. И не потому, что не умел (а он не умел), – просто телефон, как и тысячи других атрибутов нашего бытия, не числился в инвентарном списке необходимого. Его не было.

Он заходил и оставался. Иногда на три, пять, восемь часов, иногда на два-три дня. Чудо впускало нас обоих (нет, только меня – он и так был внутри), устанавливало свой микроклимат, свой порядок вещей, исчезало время, отпадали «необходимости», зато рождалось волшебство. Оно ткало материю пространства, и слово в нем было и нитью, и канвой. Материя ветвилась, множилась, сгущалась, рисунок дробился и усложнялся, впитывая всё новые факторы и взаимосвязи, насыщенность росла, достигала критической массы, выпадала в осадок кристаллами и ты (кто – раньше, кто – позже, у каждого своя доза) взмалывался: всё! хватит! не могу!

И он исчезал. Чуть-чуть приятно-обиженный (не приятно, по настоящему обиженным он бывать не умел).

А потом я его искал. Безуспешно, месяцами, как и он, наматывая на башмаки вервие пыльных улиц, дрожа в хамсинном марсе, в мигании тьмы неоновых реклам. Пока в какой-то точке магического зора нить не находила бусинку. И чудо воскресало.

Сейчас чуду уже не воскреснуть. Сколько бы пыли ни осело на Тель-Авив, сколько бы пар башмаков я ни истоптал... Нету больше бусинки.

Волшебник творил чудеса и жил среди них. Одноединственного чуда – на себя самого – у него не хватило. Всегда так.

* * *

Любая смерть невосполнима, смерть – она смерть и есть, а поэт – и подавно, но с этой мы потеряли не просто поэта, пусть и сколь угодно гениального. Мы потеряли звезду. Живую. Это гибель мира, цивилизации со сложнейшими уникальными, эндемичными экосистемами, с магическими взаимозависимостями, где предметы, мертвая материя, достигают уровня живой, а живая возносится до уровня духа.

Его смерть была гибелью всего этого. А гибель рукописей – вторая и единственно настоящая смерть поэта – развеяла прах.

Если это так – он действительно умер.

Если это так – мы никогда не узнаем, что было (жило-было) в этих рукописях. Цивилизация погибла неузнанной и непознанной. В ней, как в уничтожающихся лесах Амазонии, исчезли звери, птицы и цветы, не узнанные, не читанные, не знаемые.

Сколь бы тщательно ни собирали теперь разрозненные осколки – ключья злата – напечатанного, опубликованного, рукописного, – целого не восстановить, как не склеить облако. Чисто количественно всё собранное вряд ли превысит 10 процентов от целого, а качественно – и одного, самое главное, словарь метаязыка, ключ ко всему творчеству Бокштейна – в целостном своем виде утерян безвозвратно.

Когда чудо убивают, да еще и выбрасывают на помойку – в самом буквальном смысле, – Освенцима уже «не надо». Ясно и так.

Его жизнь удивленно трепетала на грани трагедии и гротеска, смерть перешагнула границу фарса, а уничтожение рукописей ввергло в мир. В наш мир. Тот, где Жерар де Нерваль вешается на собственном шарфе на заборе ночлежки для бездомных, где ему отказано в приюте, где толпа, обожравшись «гороховой колбасой», зарубает топором Бруно Шульца, где сходят с ума или гибнут от удушья Новалис и Гёльдерлин, Цветаева и Мандельштам, Кафка и Мейринк.

Наш с вами мир. Обычный. С телефонами.

Что противопоставить трагедии, доведенной до гротеска, Катастрофе, ввергнутой в фарс? Чем ответить на все это?

Одним из двух: дадаистской кляксой или новой Божественной Комедией. Нет. Из трех. Есть еще выход. Быть может, единственно достойный. Он невозможен, немислим, бредов, но, может, потому и правилен. Потому, что волшебен. На уничтожение чуда есть лишь один ответ: сотворение нового. Не воскрешение погибшего, что не по силам никакому волшебнику. Новое чудо должно заключаться в осознании того, уничтоженного.

Не осталось даже пепла рукописей? Что ж, у нас есть их звук, их образ в пространстве, метафизический узор, вечный свет на сетчатке. Как эхо в волшебной бутылке. Как тень на доме в Хиросиме.

Осознание чуда – нет, не умом (чудо, по определению, не подвластно познанию умом), а «третьим глазом», внутренним зрением, слухом – само породит новое: чудо восприятия, чудо познания принципов красоты и гармонии, угадывания истинных пропорций, золотого сечения добра и зла, лжи и истины, обличий Духа.

Волшебник – даже умерший – поможет нам в этом.

Божество помогает – и живет, – пока ему молятся. То есть стремятся познать.

* * *

Я познакомился с Бокштейном в начале 80-х в «Обществе парапсихологии и эзотеризма», где председательствовал Авраам Шифрин, его бывший солагерник. Мы тут же сблизились. На начало и середину 80-х приходятся и наиболее частые наши встречи. Именно в ту пору, когда мы сидели у меня «днями и ночами», и зародились основы творческого взаимообмена, познания и осознания. Мы оба любили рисунок, живопись, цвет в слове. Как-то Бокштейн принес своего «Шагала» (Ш-1). Я сказал, что это хорошо, но для меня это не Шагал. «Что ж, – сказал Бокштейн, – напиши своего, напиши». Я написал. Он долго метался из угла в угол, ушел, потом явился... с еще одним своим, предварительно испросив у меня позволения использовать аллюзии из моего «Шагала» в своем. Так мы делали всегда («с позволения...»). Бокштейн почему-то упорно именовал меня «Геннадием». Под этим именем я и фигурирую в посвящении к «Шагалу-2» в «Бликах волны». В целом же образовался триптих, где боковые створки – «Шагал-1» и «Шагал-3» – бокштейновские, а центральная – моя. Позднее я написал еще одного «Шагала». «Шагал-4, или фантазии по темени плетня». Триптих превратился в тетраптих. На стр. 205 в «Бликах волны» есть еще один «Шагал» Бокштейна, «Шагал-3» (малый эскиз) – если учитывать и его, то образуется уже квинтаптих... Другой триптих посвящен Кирико. Мы независимо друг от друга занимались одними и теми же художниками, они, как опорные балки, несли конструкции наших споров и исканий. При этом отношение наше к ним могло быть в корне различным. Так, например, отношение Бокштейна к Кирико было хоть и не однозначным, но в целом он его «принимал». Мое же – однозначно отрицающим. В триптихе «Кирико» первая створка (и хронологически, и порядково) принадлежит Жигалову, центральная – Бокштейну, третья – мне.

Из двух стихотворений, посвященных Бокштейну, одно – «Монах» – говорит само за себя (хоть факт этот усиленно замалчивается, Бокштейн был христианином до последнего дня), второе – «Виврист-2», или «Танцующий Бокштейн» – требует пояснения. В то время – начало 80-х – Бокштейн был единственным, кого одновременно (и с большой охотой) публиковали и «Мулета» Толстого, и «Континент» Максимова, что было абсолютно беспрецедентно. Публикация кого бы то ни было в одном из этих журналов полностью и «навечно» закрывала ему доступ в другой. «Мулета» поместила большую, великолепно графически оформленную подборку Бокштейна. Толстый вообще проявлял очень теплое к нему отношение. Мы, Бокштейн и я, каждый в отдельности, были с ним в переписке. «Вивризм» – термин, введенный Толстым и обозначающий новое течение в тогдашнем авангарде (от фр. *vivre* – жизнь). У Бокштейна есть стих «Vivrista» (стр. 314 в «Бликах волны»). Мой «Виврист-2» – с реминисценциями из него и из «Шагала-2».

В целом, всё рассказываемое представляет, на мой взгляд, определенную ценность, так как проливает некий свет на то, как Бокштейн взаимодействовал с различными материалами, средами и как «поле

Бокштейна» влияло на других. А «триптихи» – это всегда больше, чем три.

Еще пример. Однажды Бокштейн пришел и говорит: «Слушай, я написал двестише, и не знаю, какими должны быть третья и четвертая строки». Двестише было:

*Монах и странник спорили об истине –
Что лучше: созерцать или идти?**

– Давайте подумаем, – я сказал. И каждый засел в своем углу. Я добавил:

*Не ведая, что видимость пути
Не истинней иллюзии логичности.*

Потом подумал и сказал: «Все-таки об истине они спорить не могли, об истине не спорят, она очевидна. А спорили они о счастье, то есть о пути к ее достижению». Бокштейн не возражал, но в своем варианте оставил, как было. В моей версии, стало:

*Монах и странник спорили о счастье –
Что лучше: созерцать или идти?*

Я добавил:

*Не ведая, что видимость пути
Не истинней иллюзии причастья.*

И далее:

*Но мировой Судья лишен пристрастья.
Уравновесив чуткие весы,
Обоих исцелил от суеты:
Того от мозолей, другого от бесстрастья.*

Это датируется 10/X/83.

Версия Бокштейна известна. В течение многих лет он вновь и вновь возвращался к ней, придумывая всё новые варианты. В тот вечер, помнится, мы спорили до хрипоты – прямо как Монах и Странник – о правомерности подходов и трактовок, и споры эти завели нас далеко в дебри буддийской философии, причем каждый остался при своем мнении. Интересно другое. Сама постановка проблемы, чисто бокштейновская. Колебание между Монахом и Странником, Путником и Созерцателем предполагало их противопоставление: движение статичности. Я же утверждал, что противопоставления нет: монах, оставаясь на месте, странствует по мирам духа, а странник – созерцает в пути. Бокштейн – по крайней мере, открыто – не хотел себе признаваться, что он как раз и есть Монах-Странник, странствующий созерцатель. Думаю, он лукавил (Бокштейн умел лукавить), потому что в более поздних вариантах вообще отказался от философских трактовок этого казуса и перевел всю проблему в эстетическую плоскость, кстати, во время своих поисков предпочтение, «симпатии» всегда отдавал Монаху...

Так что для меня он всё же Монах, хоть и странствующий.

* У Бокштейна – «размышлять». По этому поводу мы тоже спорили, и каждый остался при своем.

КВИНТАПТИХ «ШАГАЛ»**Илья Бокштейн***«Блики Волны», с. 203***ШАГАЛ-1****(Скрипучая скрипка зеленого раввина)**

Из-за масляной шторы священник выносит
 Два паруса – свитки мерцающей торы
 Звенящие мачты – педали печали старинной
 Венчают их глобусы – слов весы – шепчутся головные шторы

Оббившие тору цветные узоры песчинок
 А ветвистая дверь – распустилась на двери менора –
 Приоткрывшись, со столика ловит снежинки
 Вопросы потоками вьющихся кос
 Идущих по стенам задумчиво красочных коз

Штора шепчется рыбами детских голов
 На подушке кивок – ушки метаморфозы
 С потолка на тарелку спустился
 Настольного неба глубокий платок –
 Павший ангел – застольный подарок мороза

Из густого листа плавника проступает слегка
 Большущий как мама петух
 У постели таинственным глазом
 За шкафом кита
 В приглушенной кровати шептанием сдвоено
 Жалостью жаркое ухо обнявшихся двух
 На лиловом шкафу остеклившись овалом
 Позванивал маленькой ложечки такт

Маслянистые косы царицы – метели
 Морозы к постели в посуде несут
 Возле торы на столике тонкие шпоры
 В тарелке у карпа в салатном лесу
 Шпоры встали и клюнули книгу, раскрыв
 А на торе бородка раввина – рыхлая равнина

У наряженной церкви – на рву –
 окна – утренним небом заснежены
 А у комнатной ели
 Зайчата знакомой звезды – рождеству
 А из двери слова икупителя – красками нежными.

Сюр Гном

* * *

Шагалу посвящается

Березы – скринки молока,
 В них утром Бог купается.
 Вся – в трепетании луча,
 Корова крышу обняла
 И красным улыбается.

И месяц, прорубью звеня,
 Коромысло качает.
 У скрипки – перья петуха
 И синеглазая, она
 Влюбленностью стекает.

А за околицей пожар
 Витражных колоколен
 У девок из-под юбок жар
 Там глубинеет чудный яр,
 Призывностью приволен.

Там в облаках плывет, смеясь
 Синагогальный витязь.
 Деревня – спичечная вязь –
 Вся сколобочилась, дивясь
 Парению в Над-Витебск.
 16.9.82

Илья Бокштейн*«Блики Волны», с. 204***ШАГАЛ-2***Гене Суржеру*

Доска кувшином досыта обита
 Омыт из молока вопрос
 Купающийся Бог берез
 А может быть обнови луч?
 Рассветный клич:
 В листе ключа
 Включи трепещущее слово
 Обняло крышу краски красное копыто
 Вишневая улыбка у коровы.
 Игривы гривы взмыл смычок
 Попробуй проруби – изографа кораблик
 (А может месяц?) – ладно – мела колобок

Забеливают стену – брус ложится поперек
 Не памяти, Парижа! –
 Из ноздри звенит цветок –
 Пари! – ушами ослика помахивая славно.
 А в облаках постель – постели комуфляж
 Кому муляж, кому у флаг –
 и-ваш-ка-выть-янутся
 Витязем – поблажка!
 Заполни площадь лошадь – всполохи сплошь
 Сенагогальный бык обычая
 Клякс примиреньем в пляксу вгляж
 Из храма охры вхож в витраж
 Дома ведерком обойдешь
 Над дверью киноварью выси выпь плеснешь
 И щеткой машет рожь: я Вязи витязь, свитки, появитесь!
 Над Витебском целующихся ритм
 Оформивший местечко красок Рим
 Рифмованный с ромашек кашей кашля.

Илья Бокштейн

«Блики Волны», с. 205

ШАГАЛ-4

козы-казаки
 под шкрамью* – ракиты
 в красках розовые – рост
 окантованные молнией –
 -мо-до-моль –
 над город элитвы**
 /размер увелич/
 большущаи храмы
 /пардон, – это краны/
 обрушили крыши
 под крылья влюбивших... шшш!..
 /ся – лучше умыкать –
 мельтешится, слышится
 тамь и сямь /
 13 января 1986

* Шкрамь [shkram]:

1) затейливая бело-красная резьба, как правило, над дверью главного входа большой избы.

2) бело-красное резное украшение церковного портала.

** Элитва [elitva]: ключ читателя.

Сюр Гном**ШАГАЛ-4,
или
ФАНТАЗИЯ ПО ТЕМЕНИ ПЛЕТНЯ**

Укачала головка мака
На полене Алену к сону
Укачала Алену кó сну
Оплетая косу на сóсну.

След во след я за ясным станом
Синим тыном горшок черпая
Оглашала меня старуха
На козу меня променяла

То ли радость сидеть по шишкам,
Лишь бы синим в перо макая
Запропасться никудашним
Неприметное замечая

Мне бы прыснуть зеленой плетью
Небеса одарить подолом
Я по глине козу велею
Два сучка обожженной злости

Вейся, вейся по красной глине
Петушок голубого теста
Разрумяненный на крестинах
На платке расписного детства

Так и шел бы – гулящий Каин
Крапивою язык скоромен,
Озолачивая незрячих
Островершием колоколен.

25.01.86

Александр Лайко

ИЛЮША

– А-а-а, дорогой мой! – слышу я, проходя мимо «Стеклянного», местного гастронома, по улице Чернышевского, бывшей, то бишь, нынешней Маросейке, и собираясь свернуть в Старосадский переулок, летящий круто под горку к Исторической читальне и дальше, что, уже не имеет значения, к Солянке.

Останавливаюсь, оглядываюсь, взгляд падает вниз, откуда исходит голос, и вижу мальчика в растопыренной ушанке, зимнем пальтеце, мятых, приспущенных брюках.

Вся наша компания была одета в ту доджинсовую эпоху весьма скромно, точнее, просто бедно. В этом плане экипировка мальчика ничем не выделялась, но выглядела комично: шапка-ушанка и брюки заметно велики, а пальтецо так же заметно мало. Тонкие руки выбегали далеко из рукавов, а на улице зима, метель. Спасение – карманы.

Он так сугул, что вполне может сойти за горбуна. Лицо с ярко выраженными, даже карикатурными, семитскими чертами болезненно бледное. Подобные лица у Босха – в толпе, сопровождающей Христа на Голгофу.

Зовут мальчика Илюша, Илья Бокштейн. Я знал, что «мальчику» лет двадцать, а вот, что почти детская фигура – наследство болезни (перенесенный в детстве костный туберкулез), узнал много позже.

Илюша держит перед собой кулачок тыльной стороной пясти вверх, и из кулачка выбрасывает указательный, а затем средний пальцы, что означает кульминацию илюшиной речи. Взгляд блуждает, гуляет по сторонам. Диалог не важен, нужен некто, присутствующий при монологе. И если этот некто уйдет, а на его место явится кто-то другой, Илья вряд ли заметит подмену и будет продолжать витийствовать.

Речь шла об антисемитизме Достоевского в связи с осложненным личным сексуальным опытом Федора Михайловича. Я начал замерзать. Дело к вечеру, снег припустил пуще, но не хотелось прерывать илюшину речь, дабы не обидеть. На мое счастье из снежной круговерти вынырнул Генмих (Геннадий Михайлович Шиманов, будущий автор «Записок из красного дома», а затем известный национал-большевик), однокашник, недавно вернувшийся из армии. Ему-то я и сдал пост.

Надо заметить, что все в нашей компании были склонны к розыгрышам, а иногда и далеко небезобидным островам и шуточкам, однако, к Илье относились весьма предупредительно. Тут следует хотя бы несколько слов сказать о самой компании. Многие из нас два-три года как окончили школу, кто учился в институте, кто работал, а кто и бездельничал, но все по вечерам приходили в Старосадский в Историческую читальню. И не только, чтобы знакомиться с книгами, обойденными или ошельмованными в школьных программах по истории, литературе, философии, но и поговорить, поговорить...

Время было знаменательное: только-только умер Сталин, «ветерок хрущевской оттепели» повеял над державой, возвращались уцелевшие, все ждали перемен.

Курительная комната Исторической читальни, курилка, превратилась в форум, в этакое философское общество, где обсуждались проблемы мировые и местные, проблемы соцреализма и марксизма, экзистенциализма, неореализма, католицизма, панславизма, пауперизма, а также и «насчет сообразить»... ну, хоть бы на пиво. Табачный дым в курилке стоял плотным недвижимым туманом. Илюша не пил и не курил. И подозрительно косился на потрепанный портфель преподавателя математики вечерней школы и теоретика сексуальной мистики Юрия Витальевича Мамлеева. В этом портфеле среди листов с контрольными работами покоилась чекушка водки. Она опасно распивалась тут же в курилке сексуальным мистиком и его собеседником, которым мог быть любой из нас.

Именно здесь, отгоняя рукой табачный дым, Илюша излагал мне и Льву Барашкову свою концепцию, «как обустроить Россию» задолго до появления на горизонте отечественной словесности Александра Исаевича. Не буду останавливаться на илюшиной идее переустройства Руси, сыгравшей столь роковую роль в его судьбе. Об этом чуть позже.

А сейчас – несколько слов о Льве великолепном, о блестящем Льве Петровиче Барашкове, постоянном собеседнике и оппоненте Илюши. Эти два тенора эпохи Исторической курилки полагали начало действию, в которое включались все новые и новые участники, и мощный хор спорящих голосов смущал покой читателей в зале. Лев умел стащить с небес на землю спотыкающегося об облака Илью и обдать его холодным душем своей знаменитой фразы: «Извольте обосновать!» Мышление Ильи, во многом мистико-лирическое, корректировалось железной логикой Льва, к немалому удовольствию секс-мистика Мамлеева, в котором прсыпался математик.

Барашков – фигура знаменательная, символическая для всего подсоветского времени, а временем пограничным, каким был конец пятидесятых, востребованная. Лев, представитель породы интеллигентов, особо ненавидимой Советской властью, той породы, что пряталась или мимикрировала, но не шла ни за какие коврижки на контакты с сильными мира сего. Лев был нашей энциклопедией: любая справка религиозного, философского, исторического или литературного характера выдавалась им моментально, как чек в кассе.

Помню его блистательный экспромт на тему «По ту и эту сторону ОБЕ-РЕУ», о житейской и творческой трагедии Николая Заболоцкого, когда мы обсуждали в курилке журнальную публикацию поэта. Возражая собеседнику, он похотывал, кривил верхнюю губу с тонкой ниточкой усов, острил элегантно и умно. Льву юмор помогал и в общении, и в его нелегкой жизни. А вот у Илюши с юмором были более сложные отношения. Не то, чтобы он не понимал шуток, но они докучали ему, казалось, Илье жаль тратить время на такие пустяки, когда столько серьезного надо обдумать, решить. Да, да, хотя бы эту проблему: «Что же будем делать с СССР, господа?»

Помимо Исторической читальни и скверов Бульварного кольца (если погода изволила благоволить), мы чаще всего собирались у Шиманова, благо жил он один в крохотном одноэтажном домике во дворе женской школы № 612. Сюда-то и стекались бывшие одноклассники из мужской

школы № 313: Владик Магидсон, я, Сеня Гринберг, Толя Корышев со своим приятелем художником Арменом Бугаяном, герои курилки Исторической читальни, Миша Роговский, о котором как-нибудь в другой раз, ну и Илюша, естественно.

Было и другое место – клуб «Факел» у Чистых прудов, в Харитоньевском переулке, но его стараниями властей прикрыли. Странно, что об этом молодежном клубе так мало написано, а ведь его литературная студия существовала еще до поэтов Маяковки и уж совсем задолго до смогистов. Именно здесь впервые собирался почти весь московский андерграунд. Достаточно назвать поэтов Леонида Черткова, Валентина Хромова, Андрея Сергеева, Станислава Красовицкого, писавшего тогда свои лучшие стихи. Был Юра Карабчиевский, тогда еще не прозаик – поэт. Потом явились Генрих Сапгир и Игорь Холин, с которыми мы особенно сблизились, ездили в Лианозово к Евгению Леонидовичу Кропивницкому, познакомились с Оскаром Рабиным, впоследствии вождем художников-нонконформистов. Это было начало так называемой «Лианозовской группы» или «Лианозовской школы поэзии и живописи», которую «окончили» в разное время многие...

С закрытием «Факела» связана следующая история. Как-то пришел ко мне Мелик Агурский, близкий наш приятель, будущий видный диссидент, автор странных рассказов про кривое ружье и вернисаж запахов, и, вообще, умница, а в то время еще и председатель «Факела», увел меня на лестничную площадку, чтобы мать не слышала, и сообщил, что с ним встречался сотрудник ГБ, ведущий дело о хранении и изучении в литстудии «Факела» оружия (не больше, не меньше!). Работники сего ведомства долго терзали Мелика, даже после закрытия клуба, пытались вербовать, и тогда Мелик стал публично рассказывать об этом всем своим знакомым. Помню, на квартире Сапгира (возле метро «Бауманская»), после чтения Генрихом только что написанных «Псалмов», Агурский поведал о своей истории с ГБ многочисленным почитателям генриховых стихов. Больше из ГБ Мелику не звонили...

Илюшу я в «Факеле» не помню. Думаю, он там и не бывал. В семидесятые годы стали попадаться его стихи в эмигрантских журналах. Технически они мне казались слабыми, но оригинальность взгляда на этот и тот миры по-прежнему подкупала.

Иногда Илью называют поэтом шестидесятых. В календарном смысле мне это не кажется верным. В нашей компании из Исторической читальни стихи были в застолье и первым, и вторым блюдом, а также десертом. Но не помню случая, чтоб Илюша читал что-либо свое. Первые стихи он написал, очевидно, в лагере. Но и после освобождения, и до отъезда в Израиль он не заикнулся о стихах.

После лагеря он стал замкнут, подозрителен. Иногда, казалось, он не узнает говорящего с ним, взгляд теперь просто не останавливался ни на предметах, ни на лицах. В глазах окаменевший страх. Он приходил в библиотеку Института усовершенствования учителей, где я тогда работал, за книгами и словарями. Я его просто не узнавал. Говорил вяло, о лагере ничего не рассказывал, да я и не спрашивал.

Но был в памяти иной Илья. В коридоре Библиотечного института обсуждающий со мной (но больше с самим собой) эзотерические учения. Глаза горят гончим блеском, еще несколько слов, и истина откроется...

Он учился, помнится, на вечернем, но приезжал на интересные для него лекции дневного отделения. Особенно часто я встречал его на лекциях по литературе XIX века, которые читал Николай Павлович (если не путаю отчества) Еремин – замечательный преподаватель и человек. Как-то он довольно ловко спроецировал проблематику «Мертвых душ» на современность. И надо же, некоторые студенты обиделись за державу, стали приводить в ее защиту обычные жупелы советской пропаганды: ледокол «Ленин», спутник... Еремин побагровел и, чуть не сорвав голос, закричал: «Спутник, мать вашу! Вы поезжайте в деревню, откуда я родом, где в лаптях еще ходят! Там поговорите о космосе!» Хороший человек был Николай Павлович Еремин.

Однажды Илюша, с которым мы коротали паузу между лекциями, вдруг опрометью бросился к Еремину, проходившему мимо с сигаркой, взял его под руку (Николай Павлович был весьма среднего роста) и деловито произнес:

– Дорогой мой, мы не договорили... Как вы полагаете? Маркс и Энгельс... Ну, представьте: Маркс – семит, человек бурлящих страстей. И Энгельс – немецкий белокурый юноша, нежный, из хорошей семьи. Как вы думаете, не было ли тут сексуальной связи?..

– Илья! – закричал Еремин, молитвенно складывая руки, – ты мне надоел, в конце концов! Знаешь, что я сделаю? Я на тебя в деканат донесу!..

Возвратимся в курилку Исторической читальни, где Илюша повествует о том, как поступить с СССР или, говоря современным языком, как обустроить Россию. «Господа, доколе будем терпеть? Выход единственный, – говорит он нам с Львом Барашковым, – передать СССР в ведение Организации Объединенных Наций!». Лев, с улыбочкой после длительной паузы, замечает: «Интересная идея, Илья. Надеюсь, и механизм передачи тобой уже предусмотрен?» Илюша начал было излагать суть этого механизма, но Барашков его оборвал: «Послушай меня, Илья, и запомни: мы ничего не слышали, а ты ничего не говорил».

Потом Илья зачастил на площадь Маяковского, где поэты читали фрондерские стихи. Думаю, площадь влекла его не из-за стихов, а из-за разговоров, общения, атмосферы, чего в Исторической читальне ему все-таки не хватало. Там Илюшу после одной из его речей и арестовали.

Далее следует рассказ очевидца, художника Армена Бугаяна:

«Я находился недалеко от места, где поэты читали стихи и выступали ораторы. Вдруг над толпой вырос Илья. Его держали на руках. «Господа, доколе будем терпеть?» – произнес он и далее обстоятельно изложил давно известную всем нам идею о передаче СССР в ведение ООН. Дальше события развивались следующим образом: после окончания илюшиной речи к нему подошли несколько рослых комсомольцев в штатском с открытыми скуластыми лицами и попросили разъяснить некоторые непонятные им моменты столь необычного, но очень интересного предложения относительно СССР. Неспешно, прогулочным шагом пошли они вниз по улице Горького, и Илья подробно отвечал на все вопросы. Так и дошли до здания на Лубянке...»

Когда я узнал, что суд приговорил Илью к пяти (пяти!) годам лагерей, мне вспомнилась его фигурка в растопыренной шапке-ушанке, пальцецо с руками из рукавов, сыплющийся снег. «Какая же она мерзопакостная эта наша советская власть!» – подумал я.

Яков Вейншал

ВОСТОМИНАЦИЯ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Моя ошибка была в том, что я имел диплом врача, и даже два – швейцарский и русский. Это означало, что <я> должен был вступить в армию на шесть месяцев на положение простого солдата и только потом быть произведенным в офицерский чин капитана. Если бы я не сдал выпускных экзаменов, то я получил бы тот же чин немедленно. Я был по этому поводу очень несчастен, так как быть простым солдатом, даже в запасном бакинском полку, означало подвергнуться антисанитарной инквизиции. Чего стоил только один запах никогда не мытых портянок на ногах солдат, не говоря уже обо всех других к нему дополнениях. Но Бог смилостивился надо мной, и в первую же ночь я устроился на ночевку в привилегированном месте – у входа в уборную, так как там, по меньшей мере, не было смеси всех запахов вместе. Это место делили со мной какой-то немецкий барон, разжалованный в солдаты, бурный фельдфебель и еще несколько аристократов полка.

Не прошло и трех дней, как фельдфебель – царь и Бог казармы – поведал мне свой секрет – медицинский секрет – у него сифилис, и на меня падает обязанность его лечить. Тогда в моде был сальварзан, и, чтобы его раздобывать, я злоупотреблял частыми отлучками из казармы в город. Мое военное образование, особенно искусство колоть чучело штыком и выворачивать ему все внутренности, взял фельдфебель на себя лично – он был как бы моим личным репетитором.

Вдруг в полку получили приказ представить меня полковому врачу. Я представился. Полковой врач, грузин Андроников, человек души и хорошего кахетинского вина, мне откровенно объявил: у меня есть десять санитаров: один мужской и другой – дамский портной, один повар, один кондитер, два сапожника – для меня и для жены, один работает у меня как повар, другой смотрит за лошадьми, один вестовой, – я не знаю, почему бы вы не могли бы быть при мне врачом.

Не успел я высказать по этому поводу своего мнения, как меня, нарядив в белый халат, чтобы скрыть мою солдатскую форму, посадили принимать в околотке больных, которых было иногда до сотни в день. Скоро я получил право ночевать дома, полковую лошадь и стал заменять всех четырех врачей полка, которые не видели причины для того, чтобы себя переутомлять приемом больных. Время от времени я заглядывал в казарму и прилежно изучал штыковой удар и философствовал с фельдфебелем о превратностях служебной карьеры.

Через шесть месяцев наступил день экзаменов <для> моего производства в чин капитана. Я разбирал и собирал ружейный затвор, знал

* Окончание. Начало в № 9. Публикация и комментарии Владимира Хазана.

наизусть полевой устав, не пренебрегая главной своей специальностью – штыковым ударом. Полковник, армянин Богданян, угрожал, что экзамен мне будет строгим в виду моих «привилегий». На самом деле, все обошлось комедией: единственный вопрос, заданный им, был о расположении уборных в лагере, растянувшемся по берегу реки. Он был очарован моим ответом: «Уборные должны находиться в нижней части течения реки», и этим ограничился.

Больные были обычные – в запасном полку очень часты самоубежия симулянтов. Но один случай мне врезался в память. Передо мной в ряду полураздетых, стоявших в шеренгу больных солдат предстал молодой человек со страшно бледным лицом. На груди у него была татуировка еврейского могоен-довида, в центре которого по-еврейски стояло слово «Цион». Я уже пропитался всяким сочувствием к моему политическому единомышленнику, столь редкому в этих кругах. Я его спросил, чем он болен. Он мне хриплым голосом ответил: сифилисом. Я был так смущен, что машинально спросил его о том, о чем спросил трех предыдущих пациентов этого же дня, которые пришли со свежим заражением этой же болезнью: «В каком борделе?» Его хриплый голос ясно говорил за то, что он заразился болезнью уже больше года. Он мне ответил: «Не в борделе, а гомосексуально». Повидимому, у этого парня были все «добродетели»: одна эта татуировка говорила о криминальных наклонностях. Так или иначе, но это был единственный «сионист», которого я тогда встретил в русской армии на Кавказском фронте.

Потом на меня выпало сопровождать эшелоны на Турецкий и Персидский фронты, так как другие врачи полка снова считали, что это для них слишком обременительно. Меня палило персидское солнце, и я тонул в турецких снегах. Я заходил с солдатами за Эрзерум – в одном углу фронта, и был на подступах к Багдаду – в другом. Раз я спустился с горы Шайтан-даг один, без дороги, по горло в снегу, с бутылкой мадеры в кармане и почему-то с серебряной ложечкой – должно быть, это все, что у меня было тогда ценного. В Персии в поле я спал на бурке – она из овечьей шкуры, и говорят, что змеи и скорпионы, которых там было множество, избегают запаха барана. Один раз я заснул в палатке-гараже для починки машин и проснулся в снегу, потому что палатку и весь гараж унес ураган без моего на то согласия. Моими главными врагами, с которыми я вел войну без всяких предварительных церемоний, были вши. Один раз в бешенстве я сбросил с себя свою рубашку, и на завтра я нашел ее, как обледеневшую статую у входа в мое пристанище. Я ел яичницу, сделанную на порошке и на касторовом масле, так как другого масла не было. Конечно, я часто пил воду из своей потной фуражки, так как другой посуды не было. И спал, не раздеваясь, в топкой грязи – в лачуге курильщиков опия – в ожидании резервной машины, после того, как телеграфный столб элегантно лег как раз между мной и шофером разбитого вдребезги автомобиля. Я спасал какую-то сестру милосердия в истерике, потому что она обнаружила ночью, что вся ее палатка усеяна тарангулами с яблоко величиной, с риском быть заколотым моими спутниками на почве ревности. Но, в общем, что значат все эти мелочи сравнительно с тем, что после снежных переходов, по утрам, я видел десятки замерзших солдат, и наши потери от сыпного тифа были больше, чем от всякого крово-

пролитного сражения. Тиф практически означал смерть. И носителями его были эти вши, которых было миллионы.

Но не все было так трагично. Были и маленькие трагикомедии. Уже к концу войны какие-то мои спутники-офицеры решили устроить попойку в Хамадане¹³¹, царской резиденции царицы Эсфири, где до сих пор показывают ее и Мордехая гробницу. В каком-то подземелье хозяин-персиянин раздобыл для нас алкоголь – одеколон со смесью хлороформа. Я делал вид, что пью, потому что после первого глотка я уже начал видеть перед глазами зеленые круги. Мое шулерство было замечено, и я был наказан дополнительными глотками. Я помнил дорогу домой: я спал в лаборатории, она тянулась через два заброшенных персидских кладбища, – неясное число поворотов направо и налево между полуразрушенными домами и потом прыжок с соседней крыши в сад, где помещалась эта лаборатория. Я отправился в путь, в темноте я вдруг заметил, что на одном кладбище я окружен персами, которые покушались не то на мою невинность, не то на мое оружие, не то на две вещи сразу. Я гонялся за ними, прыгая через могильные памятники с обнаженной саблей в одной руке и револьвером в другой, и обратил их в бегство. Все же я попал домой, и это было большее чудо, чем моя военная победа.

Я проснулся наутро в лаборатории. Только весь день мне хотелось пить, и от каждого глотка воды я снова был пьян, растворяя водой в желудке ту ужасную смесь, к которой прикоснулся ночью. Это, кажется, единственный раз в моей жизни, когда я действительно был пьян.

Другой забавный случай произошел в Керманшахе – там, где еще до сих пор сохранились развалины дворца Александра Македонского. В саду нашего лазарета я обнаружил три аккуратно высеченных из мрамора военных памятника трем недавно там похороненным военным немецким летчикам. Через несколько дней, к моему удивлению, они исчезли. Оказывается, что наши солдаты воспользовались ими как грузом, чтобы не давать всплывать на поверхность колодца бочкам с кислой капустой, которые они туда погрузили для охлаждения. В гневе на такое надругательство я дал приказ вернуть памятники на старое их место. Но, увы, не было при этом гарантии, что «Шульц» не стал «Бургом» и «Бург» – «Германом», так как камни могли быть положены не на те могилы, на которых они раньше стояли¹³².

Там же, в Керманшахе, окрестности которого кишели свирепыми курдами, которые срезали попавшимся им несчастным пятки ног, мне пришлось в голову совершить прогулку на лошади в обществе двух сестер милосердия. Цель нашей прогулки была увидеть того каменного льва, который стоял у входа во дворец Александра. Мы его нашли, всего облитого маслом, так как, оказывается, в нем скрыта чудодейственная сила. Местные женщины, обливая его маслом, <оберегают> себя от бесплодия. Попрощавшись со львом, мы двинулись назад; уже стало

¹³¹ Хамадан – современное название древнего иранского города Экбатан(ы), резиденции персидских царей, в котором, по преданию, похоронены Мордехай и Эстер.

¹³² Этот эпизод – о камнях на могилах немецких летчиков – рассказан в статье Вейншала «Им а-дивизия а-туркестанит бе-Парас (Зихронот ми-ткуфа а-маапеха 1916–1917)», А-Бокер, 1941, 28. 11 (иврит). [С Туркестанской дивизией в Персии (Воспоминания о периоде революции 1916–1917 гг.)].

темно. В темноте мы потеряли дорогу и дали лошадям полную свободу в расчете, что они нас приведут в лазарет, а не к курдам. Вдруг послышался гул, который я принял за признак шоссе, по которому могли перевозить артиллерию. Но внезапно моя лошадь стала взвизгивать на дыбы, как будто ее укусила за шею змея. Я, который ехал впереди, решил, что я ее не оставляю, так как без нее не было шансов найти верный путь назад. Но вдруг я сам стал ощущать на своем теле удары и скоро заметил искры и проволоку, которая меня обкручивала. Не имея выбора, я скатился с лошади, и она исчезла в темноте. Я крикнул моим спутникам, чтобы они не двигались с места. В это время из темноты вынырнули тени. Это были русские солдаты-радисты. Оказывается, моя лошадь попала в антенну. Дело закончилось взаимным препирательством и тем, что мы счастливо попали домой.

Мою лошадь на следующий день убили. Она принадлежала некому Райсу, журналисту-еврею, который командовал санитарным обозом в двадцать повозок. На следующее утро он повел обоз к Сенне, подвергся нападению курдов. Все его люди были перебиты. Под ним пала лошадь. Он спасся только потому, что имел многозарядный карабин, и курды не решились его преследовать.

Так он отступал пешком, иногда отстреливаясь, около пятнадцати километров в пустыне. Я его встретил на фронте только через год, где он рассказал обо всем этом и прибавил: «Вы помните лошадь, которую я Вам одолжил для прогулки ко льву? Какая умница! Она предчувствовала нападение! Она все это утро дрожала. Она чувствовала все заранее». Я не хотел его разочаровывать в мыслительных и пророческих способностях его лошади, но, по моему мнению, она дрожала оттого, что попала по моей вине в антенну радиопередачи накануне ночью.

То, что больше всего <производило> на меня впечатление, были те древние руины, на которые я наткнулся. В Гассан-Кале под Эрзерумом я соло купался в древней римской бане с мраморными сводами, в бассейне с горячей серной водой, испарения которой придавали всему окружающему фантастический феерический блеск. Можно было купаться в горячей воде и тут же пить холодный нарзан – углекислую воду, которая била рядом с серным источником.

За Хамаданом я наткнулся в пустыне на поразительную скалу-пирамиду с гигантскими иероглифами величиною в два этажа и выше. Целая живописная картина-барельеф. Я был уверен, что это я открыл эту Бистунскую скалу, рассказывающую миру о расправе великого Дария¹³³ над мятежниками. Оказывается, до меня уже о ней знали немецкие и английские археологи и делали с нее снимки. Но все же это был мой Дарий – моего Эзры и Нехемии¹³⁴.

В Хамадане я посетил школу Альянса, встретил двух учителей-братьев, евреев, уроженцев Северной Африки. Они мне заявили, что они не сионисты. Это были очень странные антиссионисты: когда я их спросил, хотя ли они Еврейское государство в Палестине, они ответили восторженно – да! Один из учеников школы привел меня и моих

¹³³ См. раздел «Имена».

¹³⁴ См. раздел «Имена».

двух спутников – офицера-еврея и сестру милосердия, к гробнице Эсфири и Мордехая. Она напоминает гробницу Рахили и стоит в центре города на запущенной площади. На пороге я заметил пожилого еврея, который большим ножом тут же покончил с барашком. При этом кровь лилась прямо на ступеньки, ведущие к гробнице. У меня блеснула коварная мысль: персидские евреи не отменили еще жертвоприношений? Я вступил в дипломатические переговоры, но на все мои вопросы не получал ответа. Старик косился на большой красный крест на груди у сестры милосердия и отворачивал от нас голову, как от нечистых. Я пустил в ход весь свой тогдашний словарь еврейского языка: «Би рошоно аба баирушалаим... Барух ата... Ани игуди бегет руси... Нешама игудит...»¹³⁵. Но мне ничего не помогало. Старик не открывал рта. Тогда в дело вмешался второй офицер-еврей. У него на груди, как талисман, висела золотая дощечка с заповедями. Это магически подействовало. Старик через ученика школы, нашего чичероне, охотно объяснил, что это «надир»¹³⁶: в городе опасно больна женщина и для того, чтобы она вернула себе снова свое здоровье, необходимо именно на этом месте зарезать ягненка и распределить его мясо между бедными. До этого я никогда не слышал о таком способе лечения.

Потом он согласился показать нам те два гроба, в которых покоятся под пышными покрывалами тела царицы Эстер и ее дяди Мордехая. При этом он утверждал с большой настойчивостью, что Мордехай был не дядей, а мужем Эстер. Я чуть снова не впал в азарт открывателя старых фольклорных тайн. Впоследствии я узнал, что эта традиция – считать Мордехая мужем Эсфири – присуща не только одним персидским евреям Хамадана, этой старой Экбатаны, летней резиденции первого персидского государства.

На базаре в Керманшахе, в переулке в два метра шириной со зловонной канавой посередине, я обнаружил десятки еврейских врачей. Они все имели прилавки с корнями и странными порошками, сидели на корточках и обслуживали своих клиентов. Оказывается, это был лондонский Гарлей-стрит, где концентрировались все врачи Керманшаха – с тем же поразительным преобладанием людей моей национальности и, конечно, моей профессии. Я отнесся к моим коллегам с полным почтением, несмотря на то, что нас еще сегодня разделяло тысячелетие. В одной еврейской семье Керманшаха я застал глав общин на корточках на ковре, которые молитвенно выслушивали пришельца из Палестины, посланца-шнорера¹³⁷, который выманивал у них медяки, ссылаясь на свое благочестие. Здесь я уже не чувствовал пропасти тысячелетней давности <с> опытом сегодняшнего дня.

В какой-то заброшенной деревне я заметил менялу-еврея с огромной рыжей бородой и поразительно умными глазами. Классический прототип для Шейлока Шекспира. Я не мог от него оторвать глаз. Режиссером тут была сама она, госпожа история.

¹³⁵ «В следующем году в Иерусалиме... Благословен Ты <Господь>... Я еврей в русской одежде... Душа еврейская...» (искаженный иврит).

¹³⁶ От *nāzr* – жертвоприношение, обет (перс.).

¹³⁷ Попрошайка (идиш).

Я видел евреев-курдов, таких же нежных, тонких и женственных, как настоящие курды: несмотря на всю их жестокость, курды напоминают недоразвитых юношей. Мне стало даже от этого неуютно, когда я остался с ними без оружия в уединенной чайной за городом. Но проводник меня успокоил: «Это не курды, смотрите, на их чалме нет рисунка-звездочки, а только квадрат. Сегодня пятница, и они пришли сюда встречать субботу». Вся разница была в этих миниатюрных звездочках и квадратиках – наследие талеса.

Уже скорее мне напоминали настоящие библейские типы айсоры, эти древние ассирийцы, плотные, грузные, с овальными лицами, красными щеками и громадными носами, разделявшими два сонных глаза. Живые барельефы из учебника истории древнего Вавилона. Я смотрел на них, как если они были бы допотопными ихтиозаврами.

Разразившаяся в России революция и, особенно, прокламирование Бальфуровской декларации придали моим посещениям и несколько более актуальный характер. Англичане уже стояли под Багдадом и были накануне Газского сражения¹³⁸. Русская армия медленно и верно разваливалась и никак не могла установить с ними смычку под Сенне.

В одно из моих последних путешествий мне было поручено сопровождать туркестанскую резервную дивизию, состоящую из восьми тысяч человек¹³⁹. Это было войско третьего разряда, а по своему человеческому составу – запасные, и офицерский состав к концу войны сильно помельчал, большей частью это были новопроизведенные офицеры, полуграмотные прапорщики и лейтенанты. Достаточно сказать, что всем эшелонам командовал старый офицер в чине капитана, не больше. Все это шло на смену фронту, который устал от войны. Сообразно этому было и наше передвижение. На одном из этапов офицерско-солдатский комитет постановил единогласно арестовать главного командира-капитана, потому что обнаружилось, что он крал по копейке в день с человека из того, что называлось казной на продовольствие. В начальники был избран молодой офицер Рубаков, славный, но очень неопытный и простой парень, который в гражданской жизни, должно быть, не был больше того, на что указывала его фамилия. Все было в революционном порядке: некоторые из офицеров играли в карты с солдатами на большие деньги, продвигались мы крайне медленно, полупереходами по девять и пятнадцать километров, жаловались на плохое продовольствие, на отсутствие особенно сахара и мыла. Так мы доплелись до Казвина, маленького городка, в котором, однако,

¹³⁸ Какая-то нестыковка: Декларация Бальфура была обнародована в начале ноября 1917 г., что совпало с большевистским переворотом, здесь же речь идет о событиях, происходивших примерно за полгода до этого, и, стало быть, имеется в виду Февральская революция (это подтверждается и тем, что англичане вошли в Багдад 11 марта 1917 г.). В 1917 г. между англичанами и турками было три Газских сражения: 26 марта, когда наступление англичан было фактически сорвано (о нем Вейншал, по всей видимости, и говорит); 17–19 апреля, которое вновь закончилось для них неудачей; и, наконец, 31 октября – 6 ноября (т. н. Безршевское сражение), в ходе которого назначенный к тому времени командующим Египетским экспедиционным корпусом генерал Алленби заставил турок отступить.

¹³⁹ Нижеследующий рассказ о перипетиях в Туркестанской дивизии автор включил в упомянутую выше статью «*Им а-дивизия а-туркестанит...*» (см. прим. 132).

были самые фешенебельные фазтоны в мире – единственный люксус, который тогда могла разрешить себе Персия.

Мы расположились на кладбище, и солдаты занялись оживленной торговлей с местными жителями. Продавали им мешки с сахаром, в которых наполовину было набито щебня из соответственно накрошенных могильных памятников. Наступил день первого мая. Вдруг из города нам был доставлен ультиматум: никакого мыла и никакого сахара и вообще ничего необходимого нам для дальнейшего следования на фронт <не будет>, если наша дивизия торжественно не присоединится к празднованию Первого мая – празднику всеобщего мира. Ультиматум этот передали нам от имени Казвинского комитета солдат, офицеров и сестер милосердия, председателем которого был некто Буду Мдивани¹⁴⁰. Тут же нам стало известно, что этот комитет захвачен большевиками. В это время военным министром еще был Гучков¹⁴¹, и вся власть принадлежала правому крылу Государственной Думы.

Рубаков растерялся. Ясно, что после такого празднования Первого мая нас в лучшем случае вернут обратно, арестовав всех офицеров, и никакого фронта мы не увидим. Мы подводили англичан у Багдада и ослабляли их Газский фронт. Я посоветовал Рубакову обогнуть город и идти дальше в Хамадан и Керманшах без сахара и без мыла. Но солдаты на это не согласились: «На фронт – да, но только с мылом и сахаром».

Узнав о наших затруднениях, Буду Мдивани вызвал наш комитет на ночное совместное заседание со своим комитетом. Пришлось согласиться, хотя не было никакой гарантии, что наши представители вернуться обратно из города в лагерь на кладбище живыми и невредимыми. Рубаков предложил мне пойти вместе с комитетом. Я принял предложение.

Встреча была трагическая. Буду Мдивани, толстый грузин, инженер по образованию, старый революционер, сбежавший уже давно в Персию от ареста, хорошо знал, что он делает. Его целью было окончательно разложить армию, дискредитируя правительство как контрреволюционное. Неплохой демагог, с темпераментом митингового оратора, <он> открыл карты. Война та империалистическая и поэтому ее не должно быть. Празднование Первого мая – это верный путь к братству народов, в котором немцы не замедлят принять самое горячее участие.

Заседание было в саду. Присутствовало человек тридцать. Мы не взяли с собой никакой охраны. Мой комитет хлопал ушами. Офицеры, не привыкшие к политической дискуссии, вся терминология которых ис-

¹⁴⁰ Буду Мдивани (1877–1937). Член РСДРП(б) с 1903 г. На Персидском фронте возглавлял Совет солдатских депутатов. С конца 1918 по март 1920 г. – член Реввоенсовета 11 армии и начальник политотдела 10 армии. В 1920–1921 гг. – член Кавказского бюро ЦК РКП(б). В 1921 г. – дипломатический представитель РСФСР в Турции. В июне 1921 г. – председатель Ревкома Грузии, с 1922 г. – член Президиума ЦК КП(б) Грузии. В 1922 г. принимал участие в Генуэзской конференции в качестве члена советской делегации. В 1924 г. – торгпред СССР во Франции. В 1931–1936 гг. председатель ВСНХ, затем нарком легкой промышленности и первый зам. председателя Совнаркома Грузии. Репрессирован.

¹⁴¹ Александр Иванович Гучков (1862–1936), лидер партии октябристов. Депутат и с 1910 г. председатель 3-й Государственной Думы. Военный и морской министр во Временном правительстве.

черпывалась командой в строю и поднятием рюмок с водкой и тостами за здоровье, онемели от каскадного красноречия Буду Мдивани. Тут я взял слово, и это, сознаюсь, было в первый и последний раз, когда я активно вмешался в то, что называется русской гражданской войной. Я открыл скобки и объяснил присутствующим, что такие празднования и такие лозунги – самое сердечное приглашение в Персию и на Кавказ турецкой армии и их немецких союзников. Мдивани вскипел. Заседание тянулось до рассвета. Шесть раз выступал он. И столько же раз я. В заключении он назвал меня «адвокатом дьявола», а я выразил сожаление, что немцы, не зная о его поведении, не оплачивают его своими деньгами. Мой комитет, даже солдаты, сиял от удовольствия, они смотрели на все происходящее, как на спортивное состязание: чья возьмет!

Мдивани не был готов к нашему аресту, он слишком понадеялся на свое красноречие. Он не знал, что за мной десятилетний стаж дискуссионной техники в сионистских кружках. Но не успели мы выйти из городских ворот, как встретили бегущих нам навстречу из лагеря наших солдат с пулеметами. Среди них распространился слух, что наш комитет, и особенно «дохтур», арестован и нас ведут на расстрел. Они бежали в город нас выручать. В то же утро мы двинулись дальше на Хамадан, обогнув Казвин, без мыла и без сахара.

В Хамадане я узнал, что Гучкова сменил Керенский. Я лег на землю, смотрел на небо и машинально повторял себе одну и ту же фразу: «Керенский – это конец, война проиграна! Теперь англичане в Палестине предоставлены самим себе». Как слабое утешение, звучала в моих ушах болтовня одного генерала в том же Хамадане. Он меня хотел убедить, что Мдивани в Казвине арестован и что у него реквизирована его типография, в которой он издавал большевистский листок-газету. И чтобы убедить меня в достоверности своего рассказа, он мне сказал: «И все это сделал один доктор. Он его к стенке припер». Так как этим доктором был я сам, то поэтому я не мог разделить никак его оптимизма.

Во время своего посещения Тифлиса, уже по возвращении с фронта, я поздно ночью взобрался на электрическую вагонетку с дровами, чтобы сократить себе путь к месту моего ночлега. Вдруг я заметил, что уже на улице появились продавцы «завтрашних» газет. Я спрыгнул на полном ходу на мостовую и с разбегу наткнулся на группу людей, дискутировавших между собой новости, почерпнутые в той же газете. То, что они говорили на идише, это было понятно само собой. Мне странным показалось не это. Меня поразил голос одной тут же стоявшей девушки. Несомненно, я уже когда-то раньше его раз слышал. Забыв о своем военном гоиском наряде, я врзался в группу, подошел к говорящей и сразу ее узнал. Это была Эстерка, журналистка, уроженка Галиции, с которой я столкнулся в Вене на сионистском конгрессе несколько лет тому назад и которая кушала в кафе «Аркаден» мороженое с *земелем*.

Вначале она меня приняла за «пьяного нахала», но потом недоразумение выяснилось. Я ей напомнил все: ее потерянный ключ, поездку с Бяликом, и она меня опознала. Ее товарищи, не ожидая установления моей личности, разбежались, и она любезно предложила мне проводить ее на самую верхушку одной из гор Тифлиса, и, если я устал, я могу у нее переночевать.

Эстерка была прекрасная девушка, и тогда ей было не больше 23 лет, и хотя я был очень усталым, я не видел причины отказать ей в ее предложении.

Разговор, к несчастью, коснулся политики. С Эстеркой, шляпочницей по профессии и активной коммунисткой, вообще нельзя было говорить ни о чем другом, как только о политике. И тут нашла коса на камень. Все ее чары на меня не действовали: я оставался неискоренимым буржуем, реакционером и шовинистом. Она никак не могла ни понять, ни простить моего сионизма, даже когда мне готовила постель в одной комнате с собой. Она дискутировала со мной еще, уже полусонная, повторяя заученные из партийного катехизиса догмы.

Так я был наказан за свое политическое упрямство – в сущности, мы могли бы провести этот вечер и иначе. Она заснула, но я нет. Меня не столько мучила ее прекрасная близость, сколько ужасной величины и в весьма обильном количестве набросившиеся на меня клопы. Таких больших клопов я не видел никогда раньше и никогда потом. Я просидел всю ночь на кровати, снова одевшись. Если бы не политика и не клопы, то все было бы иначе, и, может быть, я бы в той или иной степени разделил судьбу Эстерки.

Впоследствии, во время власти большевиков, она стала руководительницей Тифлисской ЧК: сама допрашивала и сама расстреливала. О ней рассказывали всякие ужасы – об этой еврейской девушке, которая, будучи австрийкой, каким-то непонятным для меня образом была встречена мною после Вены именно в Тифлисе. Покидая Россию и попав в неприятную переделку в том же Тифлисе, я сам чуть не попался в ее лапы, и тут бы ее револьвер подвел итог нашей дискуссии, клопам и тому, что называется «жизнь».

Последним местом моей службы в армии был город Энзели, теперь Панлеви¹⁴² – эта персидская Венеция на Каспийском море. Я заведовал офицерской палатой, в которой медленно, но верно умирал от дизентерии офицер. Ни мой полуторогодичный стаж, ни мои медицинские справочники не могли предотвратить этого трагического финала. Я обратился за помощью к другим врачам того же лазарета, более старшим, чем я, – все в чине полковников, но, увы, каждый из них мне сознавался, что, несмотря на свой врачебный диплом, он по профессии учитель гимназии. Итак, один за другим весь старший медицинский персонал – один эвакуированный из Польши *хевер га-морим*¹⁴³. Даже генерал – старший врач госпиталя.

Один раз он срочно вызвал меня к себе и показал мне телеграмму в двадцать пять строчек длины. Там были упомянуты все высшие командующие армии, начиная с имени Алексева – Главковерха, через всех Духониных¹⁴⁴, Поповых, Ивановых, по нисходящей должностей. По их

¹⁴² Более принятая русская транслитерация – Пехлеви.

¹⁴³ Товарищество учителей, лига учителей (иврит).

¹⁴⁴ Михаил Васильевич Алексеев (1857–1918), в начале первой мировой войны – начальник штаба Юго-Западного фронта, затем – командующий Северо-Западным фронтом, с августа 1915 г. – начальник штаба Ставки верховного главнокомандующего, с марта по май 1917 г. – верховный главнокомандующий русской армией; после большевистского переворота – один из создателей и руководителей Добровольческой армии. Николай Николаевич Духонин (1876–1917), генерал-лейтенант,

распоряжению, я должен был немедленно следовать в Петроград, так как определялся в еврейскую часть, командование которой передавалось Трумпельдору¹⁴⁵. Последняя подпись начальника мобилизационного отдела еврейского отряда мне объяснила всю эту загадку – там стояло: Кишиневский. Имя моего старого приятеля по мюнхенской сионистической корпорации, секретаря Центрального комитета заграничного «Гехавера» в бытность мою его председателем¹⁴⁶.

Врач-генерал смотрел на меня совсем как директор гимназии, который неожиданно для самого себя неуспевающему ученику должен вдруг вручить золотую медаль. Для меня эта телеграмма тоже была неожиданностью. Я думал, что он вызывает меня к себе за какой-либо проступок по службе. Я самовольно выдал двум еврейским солдатам эвакуационные карточки на «ямим нораим»¹⁴⁷.

Ночью к моей комнате прокрались две тени, и я, предполагая опасных курдов, уже стал искать свой револьвер. И вдруг шепот: «Мы – евреи... Ей-Богу, евреи... Смотри на это, мы – евреи, такие, как ты. Отпусти в Баку на праздник Йом-Кипур». В доказательство две тени, подойдя ближе, обнажили свои головы. Доказательство было налицо: у обоих была на голове плешь – повальная болезнь именно среди евреев-горцев Кавказа. Эта сцена меня тронула, я им самовольно выдал визу в тыл.

Были еще и другие неприятности. Революция в корне подорвала дисциплину даже в лазаретах – были частые столкновения с симулянтами. Фельдшера ленились мерить температуру, и я один раз несправедливо поступил с тифозным больным, который пролежал в палате три недели без температуры, и поэтому я, по ошибке приняв его за симулянта после его оскорбительной выходки, вынужден был отдать его под военный суд. Комиссия из трех врачей признала его здоровым, но в душе я считал, что он мог быть и жертвой недосмотра со стороны персонала, который проглядел температуру.

Я был уверен, что врач-генерал позвал меня по одному из таких дел. И вдруг: еврейский отряд, Трумпельдор и самое поразительное – Кишиневский. Я вежливо спросил генерала, как он приказывает поступить? «Сдать дела и ехать». «Когда?» «Чем скорее...» Я отдал честь и вышел, размышляя о том, какое магическое действие оказывает имя «Главковерх генерал Алексеев».

В телеграмме Алексеева – Кишиневского имя Трумпельдора не было упомянуто. Но я не сомневался почему-то в том, что мне предстоит с ним встреча на месте моего нового назначения. Причина этому должна была быть в том, что еще раньше, за несколько месяцев до этого, я встретил в Тифлисе некоего доктора Турновского, который пытался сформировать подобный же еврейский отряд в кавказской армии, и тогда шла

с 3 по 9 ноября 1917 – верховный главнокомандующий. Решением Совета народных комиссаров от 9.11.1917 отстранен от должности. Убит солдатами.

¹⁴⁵ См. раздел «Имена».

¹⁴⁶ О Кишиневском см. прим. 97 («ИЖ» № 9). Об этой телеграмме Вейншал рассказывает и в статье «*Им а-дивизия...*» (см. прим. 132), где среди подписавших телеграмму он называет также имя премьера А. Ф. Керенского.

¹⁴⁷ Буквально: «страшные дни» (иврит); дни между началом еврейского Нового года (*Рош а-Шана*) и Судным днем (*Йом а-Киппурим*).

речь о том, что главный штаб этой еврейской части будет находиться под руководством Трумпельдора в столице. Назначение этой части, как я понимал Турновского, было также – «идти в Палестину». Но его «сионизм» почему-то не внушал мне большого доверия. Его связь с Трумпельдором для меня не была ясна, и только после получения телеграммы в Энгели я понял, что здесь этот план вошел в стадию осуществления, и при этом на основании специального распоряжения Временного правительства под председательством самого Керенского.

В Баку я пробыл не больше недели, оделся потеплее и двинулся на север. Это было не так просто. Поезда брались штурмом бегущими с фронта солдатами. Мне пришлось искать поезд на одном из запасных путей, но вагоны его уже так были переполнены, что не было возможности открыть их двери, так <как> все проходы тоже были заняты. Я влез в поезд через открытое окно, которое оказалось окном в уборную не первой чистоты. Но и это тоже было большим спортивным достижением. Поезд двигался медленно, поездка вместо обычных пяти дней тянулась десять. Причины были уважительные – не всегда была сигнализация в исправности.

Станцию Тихорецкую мы проехали на следующий день после того, как на ее перроне толпой разъяренных солдат были растерзаны в клочья два самых видных и популярных в России члена Государственной Думы, больших либерала и народника. Имя одного из них я помню до сих пор, его звали Караулов¹⁴⁸. На перроне еще можно было видеть следы их крови.

Учтя это и некоторые другие аналогичные обстоятельства, я постепенно стал изменять свой внешний вид. Из блестящего господина-врача, капитана в темно-коричневом наряде, я превратился в шофера военного транспорта с его обычной кожаной бараньей тужуркой.

В Таганроге, на этой грани между Северным Кавказом и Украиной, произошла задержка. Оказался взорванным железнодорожный мост, и несколько верст пришлось идти пешком. Тут я узнал о большевистском перевороте в Петербурге. Кто-то пустил слух, что Ленин убит, и толпа была этим еще больше разъярена, чем прежде. Этот взорванный белыми мост и этот слух о мнимом убийстве Ленина чуть не стоили мне жизни.

Вдруг кто-то заметил на моей военной фуражке офицерскую кокарду, которую я забыл снять. Кокарда черного цвета в отличие от такой же солдатской красного цвета. Толпа потребовала от меня ее снять и растоптать ногами, что я из-за врожденного упрямства отказался сделать. И, помимо всего прочего, я никогда не считал себя русским и не считал себя вправе топтать ногами те символы, которые вызывали в них внутренние несогласия. Еще немного, и меня бы постигла участь Караулова. Меня спас поезд, который в эту минуту двинулся, и все бросились занимать в нем свои места, предоставив меня моей судьбе неисправимого контрреволюционера.

Сейчас же, после моего прибытия в Петроград, я связался с Кишиневским, который, прежде всего, повел меня показать «казарму», в ко-

¹⁴⁸ Михаил Александрович Караулов (1878–1917), казачий подъесаул, депутат II и IV Государственной Думы.

торой был расквартирован отряд. Настроение у него было подавленное. А по дороге он успел мне рассказать, что ввиду перемены власти будущее отряда не обеспечено. И чтобы спасти его, ведутся переговоры с правительством о признании его как отряда самообороны на случай антиеврейских беспорядков.

Было ясно, что еврейский отряд, формируемый на основании приказа Керенского, не обязателен для Троцкого, главного военного министра¹⁴⁹.

Какова будет политика «комиссаров» по отношению к этому, не по их инициативе, созданному еврейскому отряду?! Мир с немцами в Бресте не был еще подписан, но в воздухе уже висело: «Если нет мира, то нет и войны. И если нет войны, то при чем тут еврейский отряд?» Могла быть только одна слабая надежда, что «комиссары» согласятся на «экспорт» этого отряда в Палестину. Если он им не нужен самим, то почему бы им не избавиться от него, согласившись на его высылку «на родину». Ведь такими же правами уже пользовались чехи, мадьяры, бывшие австрийские военнопленные, которых из далекой Сибири эшелонами переправили на их родину.

То, что отряд предназначен для Палестины, это разумеется само собой, но говорить об этом прямо – значило бы подвергнуть его существование опасности. Казарма – большая квартира где-то вблизи Невского проспекта, производила унылое впечатление.

Я попал туда ночью и застал лежавшими на койках не больше двадцати человек. Некоторые еще не спали, обмундирование на них было потрепанное. Помещение было запущенным. Ничего, кроме коек, не напоминало в нем военного учреждения. Нечто вроде этапного пункта с его случайными обитателями – немывтыми и с растрепанными волосами, без караульного, без дежурного, без доклада и без воинского приветствия. Не казарма, а сборный пункт «самообороны», как этого требовали условия «дипломатии», на которые мне намекал Кишиневский.

Но чувство врача, входящего в квартиру и уже в дверях сознающего, что речь идет о безнадежном случае, было тем чувством, которое охватило меня во время этого посещения. Казарма была, как весь Петроград того времени – напуганный, голодный, грязный, опустившийся и, несмотря на свое многолюдье, безлюдный.

На следующий день я встретился с его <отряда> начальником Трумпельдором. Это была моя первая встреча с этим уже тогда легендарным человеком. Он уже был после Галлиполи¹⁵⁰, о котором я, хотя и

¹⁴⁹ Трудности с формированием Еврейского отряда, или, как называл его И. Трумпельдор, легиона, начались еще при Временном правительстве. 18 августа 1917 г. он писал: «Хлопоты о легионе продолжаются, но легиона пока еще нет, а есть, как и была, надежда, что он будет. Московское Государственное совещание опять затормозило решение этого вопроса, но я думаю, что теперь уже близок день, когда он решится, и, Бог даст, решится положительно» (Институт В. Жаботинского, Архив И. Трумпельдора).

¹⁵⁰ Находясь в Египте (в начале первой мировой войны турецкие власти изгнали многих евреев, проживавших на территории Палестины, в Египет), И. Трумпельдор, отозвавшись на предложение англичан, принял участие в формировании военного еврейского подразделения, вошедшего в историю как «Отряд погонщиков мулов». Отрядом руководил полковник британской армии

находился в его близи, под Эрзерумом и у Багдада, во время войны имел только смутные представления, благодаря именно этим же обстоятельствам военного времени.

Встретились мы на специальном совещании, посвященном участи отряда, в одной из боковых комнат Центрального Комитета сионистской организации, которая еще не подверглась никаким гонениям и, несмотря на всю разруху, даже дальше продолжала издавать свой еженедельник «Рассвет».

Есть люди, которые, хотя этого или нет, занимают всегда половину комнаты, предоставляя вторую половину всем остальным. Трумпельдор принадлежал к этой породе людей, нарушающих все правила этой своеобразной геометрии. Скульпторы и художники, изображающие их портреты, должны себя чувствовать очень несчастными, так как в их распоряжении нет ничего, что можно прибавить от себя, разве – и это одно, что им остается – только «убавить».

На редкость энергичное, умное, уверенное в себе лицо солдата, и при этом – мягкие, наивные, почти детские глаза, и эта одна его рука, которая больше многих двух, и даже дюжины других рук. Говорят уста и плечи, говорят могучие плечи, а уста только им аккомпанируют. Но это общее впечатление «вожака» ничего не могло изменить: положение отряда было запутанное и почти безвыходное. Его не признавали «комиссары» ни де-юре, ни де-факто. Его касса была пуста, так как ему отказывали в ассигнованиях, а касса в военном учреждении – это еще больше, чем в учреждении гражданском. О его контрреволюционности еще пока не было официально объявлено только потому, что до него еще не дошла очередь.

Выхода не было. Вместо выхода – медленная, но верная агония. И, может быть, потому все наши разговоры в маленькой боковой комнате ЦК вертелись вокруг не конкретных, а все еще пока абстрактных вещей.

Один из них, и самый главный, был вопрос о сущности халуцианского движения. И тут я должен сознаться: я не во всем был согласен с Трумпельдором, и об этих разногласиях не жалею и по сей день. Так как именно этот вопрос исказил впоследствии всю сущность сионистской организации как «государства в пути», эти разногласия 1917 г. врезались мне хорошо в память.

Позиция Трумпельдора была: военные части базируются на особой халуцианской идеологии. Они тесно связаны с захватами позиции труда в Палестине, и поэтому они не могут находиться под опекой и под руководством сионистской организации. Хозяином всего этого дела может быть только то халуцианское движение, которое его питает своими идеологическими соками. Моя позиция была обратной: халуцианское движение есть только атрибут общей сионистской деятельности, ответственность за военные части, полную ответственность, как политическую, так и хозяйственную, должна нести на себе сионистская организация в своем целом, иначе «Гехалуц» превратится в государство, и при этом это второе государство – менее совершенное и правомочное, чем первое.

Д. Паттерсон, а Трумпельдор стал его заместителем. С мая по декабрь 1915 г. отряд принимал участие в боях на Галлипольском полуострове (европейская часть Турции – между Дарданелльским проливом и Саросским заливом).

Несмотря на эти военные разногласия, мы оставались друзьями. И потом, внезапно, наши встречи прекратились. Произошло то, что должно было произойти. Отряд был распущен НКВД¹⁵¹. Трумпельдор и Кишиневский отбыли в неизвестном направлении. Как я потом узнал, первый из них через Финляндию стал пробираться в Палестину. Кишиневский затаил злобу против большевиков за роспуск отряда и, будучи юнкером, вступил в Белую армию. Я же был предоставлен самому себе, и благоразумие требовало от меня пока только это – поскорее уничтожить находящийся в моем бумажнике этот драгоценный «исторический документ»: «Доктор Яков Вейншал, старший ординатор полевого госпиталя № <такой-то>, по приказу главковерха генерала Алексева...»

«ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КАВКАЗ»

От нечего делать я занялся вместе с другими организацией сионистической корпорации «Гедера», преимуществом которой было ее конспиративное существование. В общем, это была, однако, приятная во всех отношениях потеря времени. Написал в «Рассвете» две статьи перед самым его закрытием¹⁵².

Голод в Петрограде стал свирепствовать в размерах, не поддающихся описанию. Жители стали получать через каждые два дня двести граммов черной грязи, официальное имя которой было «хлеб». Пока у меня были деньги, я питался «халвой», которая почему-то исчезла с рынка последней. Я был в тягость моим дяде и тете, у которых жил, и искал способа вернуться на Кавказ. Представился для этого случай¹⁵³.

Стало известно, что в виде исключения из Петрограда, осажденного со стороны Финляндии ген. Юденичем, отходит в Грузию поезд Красного Креста с ранеными грузинскими солдатами и офицерами. Меня приняли пассажиром в этот поезд. Этот поезд постигла странная участь, и я разделил ее вместе с ним. Он шел медленно, и до Ростова мы были в опоздании на шесть суток. Здесь начались по приказам Струмзы всякие каверзы, и он закончил свое передвижение на Кавказ расстрелом в Армавире целого вагона со всеми пассажирами, так как при обыске там, якобы, были обнаружены ручные гранаты, – сорок человек. Причиной столь «скорой помощи» в поезде Красного Креста было открытие военных действий между Грузией и большевиками. Меня в этом вагоне не было, и это одна из при-

¹⁵¹ Описка: в то время (конец 1917 – начало 1918) этот государственный орган назывался еще ЧК.

¹⁵² Вейншал опубликовал в *Рассвете* четыре материала: «Эд. Бернштейн об еврействе в мировой войне» (1918, № 9, 17 марта, стлб. 23-25 – по поводу книги Ed. Bernstein, *Von den Aufgaben der Juden im Weltkrieg*, Berlin, 1917); «Наша провинциальная печать» (1918, № 10, 24 марта, стлб. 18-20); некролог, посвященный убитому в Ташкенте еврейскому общественному деятелю, известному сионисту С. А. Герцифелду, с которым был знаком по Кавказу (там же, стлб. 29-30); и «Еврейский пролетариат в Соединенных Штатах» (1918, № 14, 21 апреля, стлб. 16–18).

¹⁵³ Из Петрограда Вейншал выехал не раньше апреля 1918 г.: в очерке ««Седер» бе-Петроград а-адума» [Седер в красном Петрограде] (*Едиот Ахронот*, 8.4.1964) он описывает пасхальный *седер* в большевистском Петрограде в апреле 1918 г.

чин, почему я еще пишу сейчас эти строки. Меня спас ангел-хранитель. Этим ангелом оказался низкого роста старичок, крещеный еврей, австрийский барон, некто Фейгель, который имел и в Баку крупные дела, представляя фирму Ротшильда. Он был пациентом моего отца, узнал меня в поезде за одну станцию до Армавира и предложил мне в виду неблагоприятных *оменов*¹⁵⁴, сопровождающих наш поезд, свернуть с дороги и сделать привал на кавказских Минеральных Водах.

Но и тут не обошлось без осложнений. К десяти часам ночи на станции Пятигорск в наш вагон вошли красноармейцы в сопровождении казака и начали строгую проверку документов, сопровождая ее грозными и пьяными криками. Рядом с Фейгелем уселась его знакомая – молодая, очень красивая женщина, приемная жена одного бакинского миллионера-мусульманина, который ее взял напрокат из какого-то кафе-шантана. Она вдруг неестественно истерически рассмеялась. Патруль принял это на свой адрес и сейчас же устремился в наш угол. Я стоял в проходе и разговаривал с каким-то молодым офицером. Сам я был одет в кожаную тужурку и своим внешним видом больше всего напоминал военного шофера.

Первыми жертвами мести за смех стали мы. Офицер сейчас же был арестован. Я показал свои бумаги. Казак недоверчиво сказал: «Военный врач и одет, как шофер. Документы не возобновлены год». И потом решительно: «Арестован». Когда мы прибыли на конечную станцию в Кисловодск, ко мне подскочил какой-то мальчик 14 лет и, назвав меня, к моему удивлению, по имени, предложил свои услуги. Я передал ему заботу о своем багаже. Казак, который оказался вдребезги пьян, окружил нас вооруженными красноармейцами и поволок в курзал – шикарное курортное помещение, которое уже значительно поблекло от красной власти. Картина была живописная, совсем из «Капитанской дочки» Пушкина. За большим столом шел бесшабашный пир с девицами, только вместо Пугачева сидел какой-то разнузданный бородатый дядя в эполетах. Казак стал перед ним во фронт и продекламировал: «Арестовал двух контрреволюционеров. Оба офицера, один переодет. Отказались предъявить документы и оказали вооруженное сопротивление». Я пытался, что-то сказать, но бородатый начальник, который больше всего подходил под бывшего жандарма, был занят закуской и щипаньем за грудки своей соседки. Он был тоже вдребезги, по-русски, пьян. Я ожидал этого последнего: «К стенке!», но, по-видимому, бородатый был недоволен нарушенным праздником, плохо расслышал и грубо крикнул: «Не морочь головы, запри их в тюрьму». Казак принял это как отсрочку на двадцать четыре часа и не апеллировал.

Мы вышли в том же порядке, как вошли в курзал. Вдруг казак командовал: «Назад на станцию!» Я стал считать минуты, так как «станция» могла и быть последней в моей жизни. Я думал о своих родителях, которые, может быть, вынуждены будут годами искать меня, когда меня уже давно не будет. Теперь меня от них отделяло три или четыре государства распавшегося Кавказа с таким же количеством фронтов свирепой гражданской войны. Но мы действительно были доставлены на

¹⁵⁴ Омен – примета, предзнаменование (лат.).

станцию, где казак занялся разговорами по телефону. Улучив минуту, я подошел к начальнику станции и просил его записать у себя мое имя и оставил адрес моих родителей. Он записал и при этом сказал: «Вряд ли мне удастся, меня через час снимает с должности новая власть».

В это время вернулся казак и скомандовал своим стражникам: «Вперед!» Вдруг ко мне и к офицеру бросился какой-то моряк и крикнул: «Стой!» Зная, что советские моряки, всегда дорожа своим временем, предпочитают расправу на месте, я вдруг <посмотрел> в сторону казака и шагнул вперед, увлекая стражу. Но моряк распротер руки и преградил мне путь: «Стой, – кричал он, – этого дохтура я хорошо знаю, отпустите его – он наш». Я перестал понимать все происходящее вокруг. Никогда в жизни я не был на военном судне и не знал ни одного матроса, я был всем другим, но никогда – «своим». Казак набросился на матроса: «Вон отсюда, кто тебе дал право вмешиваться в дела Красной Армии!» Матрос огрызнулся: «Я от власти Советов». «Наплевать мне на твои советы! Здесь власть не Советов, а Красной Армии!» Матрос представился: «Я комиссар Краснов из Пятигорска». И здесь произошло чудо. Казак растаял и стал нежно жать матросу руки: «Счастлив, счастлив. Комиссар Краснов – сам! Отпустите врача». Я вышел из круга и стал просить за офицера: он не виноват! Но мне не удалось ничего для него сделать. Моряк и казак затеяли беседу, и я стал искать мальчика, которому оставил свой багаж. Но искать долго не пришлось. Он стоял тут же и гордо мне заявил: «Это я Вас освободил. Я – Рудня, я в комсомоле, и Краснов – мой покровитель».

Тут только я из его имени – Рудня – понял, кто был моим настоящим спасителем: это был сын акушерки-вдовы, матери многочисленного семейства, которой в Баку мой отец всегда посылал пациенток в те редкие случаи, когда она сама не была беременна. Добро за добро. Впоследствии этот мальчик сам стал комиссаром, прикомандированным к армии. Тут же, на перроне, мне взволнованно жал руки маленький Фейгель, насмерть испуганный всем происшедшим. Он же устроил меня в «кредит» в шикарном отеле «Скала», принадлежавшем шведу Адлеру, который тоже знал мою семью по Баку и даже играл у нас в доме нередко в преферанс.

Через двадцать лет вдруг в Тель-Авиве, уже глубоким стариком, у меня на квартире появился все тот же барон Фейгель. Несмотря на свое крещение, он приехал в Палестину справлять *сейдер*, и, конечно, только в Тиверии. На этом особенно настаивала его жена-великан, изнеженный отпрыск аристократической семьи Гольдустов.

Матроса я поблагодарил и обменялся с ним адресами. Он стал впоследствии моей самой большой аттракцией на Минеральных Водах, где я неожиданно для самого себя пробыл больше полугода. Аттракцией и приятелем одновременно. Обнаружилось, что он страдает язвой желудка, и вначале только она была нашим нейтральным связующим звеном. Потом к этому присоединились другие сентименты, в общем, он был неисправимый добряк и чудака одновременно.

В «Скале» было очень таинственно, как, впрочем, во всех больших отелях Кисловодска того времени. Я был пасынком и жил на шестом этаже, но зато обедал вместе с великими князьями, адмиралами, минис-

трами бывшего царского двора, даже с любовницей царя, балериной Кшесинской¹⁵⁵ – все были замаскированы без масок и старались не подымать голоса. Вдыхали только легко при частых налетах Шкуро¹⁵⁶, который расстреливал в городском парке «противоположную сторону», в том числе старика, еврея-врача, несмотря на его генеральский титул. Когда его сменяли красные, картина менялась. Французская речь умолкала, и она меньше резала слух своими невероятными оборотами, как, напр<имер>, *коман ву санте ву*¹⁵⁷. Тут же подвизался какой-то атлет, массажист, любимец пожилых аристократов, которым он всеми имеющимися в его распоряжении средствами возвращал их молодость. Я вздыхал по казавшейся мне тогда прекрасной племяннице Фейгеля, но из поведения ее рыжеволосой мамыши-ведьмы было ясно, что я не для ее дочери. Ошибка дочери состояла именно в ее излишней преданности той заповеди на скрижалях, которая предписывает именно почитание родителей. Скрепя сердце я завел другие знакомства, в том числе со взбалмошным студентом Рошалем¹⁵⁸, который был тогда сионистом и уже тогда считал себя гением. Впоследствии в Тель-Авиве, посещая русские фильмы, я не раз видел на экране его имя как их режиссера.

¹⁵⁵ Матильда (Мария) Феликсовна Кшесинская (1872, Лигово, пригород Петербурга – 1971, Париж), балерина и педагог. В книге воспоминаний, опубликованной в Париже (1960) описывает отъезд из Петрограда 13 июля 1917 г. на юг и свою жизнь в Кисловодске, в т. ч. – попеременный захват города то большевиками, то Шкуро (в русском переводе см.: М. Кшесинская, *Воспоминания* (перевод с французского Л. Папилиной), Смоленск, 1998, с. 281–305).

¹⁵⁶ Андрей Григорьевич Шкуро (Шкура, 1887–1947), военачальник, генерал-лейтенант (1919). В первую мировую войну командовал особым партизанским отрядом, который воевал на Персидском фронте и дислоцировался в тех самых местах, которые описывает Вейншал: Энзели, Казвин, Хамадан. В годы гражданской войны сформировал казачий отряд, который сражался на юге России, затем командовал Кубанской казачьей бригадой, конной дивизией и корпусом в армии генерала Деникина. После разгрома Белого движения эмигрировал. Во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. В 1945 г. задержан в Австрии англичанами и выдан советской стороне. Казнен. Автор книги *Записки белого партизана* (впервые вышла в Буэнос-Айресе в 1961, новейшее издание: А. Г. Шкуро, *Записки белого партизана*, Москва, 1991).

¹⁵⁷ *Comme vous, santé vous* – «как вы, как ваше здоровье?»

¹⁵⁸ Григорий Львович Рошаль (1899, Новозыбков, ныне Брянской обл. – 1983, Москва), советский кинорежиссер, сценарист, педагог; нар. артист СССР (1967). Первый снятый им фильм – *Господа Скотинины* (1927, по комедии Д. Фонвизина *Недоросль*), далее последовали: *Саламандра* (1928), *Петербургская ночь* (1934, по произведениям Ф. Достоевского), *Зори Парижа* (1937), *Семья Оппенгейм* (1939, по роману Л. Фейхтвангера), *Дело Артамоновых* (1941, по роману М. Горького), трилогия по роману А. Толстого *Хождение по мукам* (*Сестры*, 1957, *Восемнадцатый год*, 1958, *Хмурое утро*, 1959) и др. О кисловодском периоде в книге его воспоминаний сказано: «...я переехал в Кисловодск, где создал при Отделе народного образования театральную студию. Ставя спектакли (*Гроза*, *Фуэнтэ овехуна*) в Кисловодском театре, в Курзале, одновременно я организовал в этой студии экспериментальные действия», и далее идет рассказ о пантомимном представлении, условно отнесенном к эпохе Древнего Рима и изображавшем восстание рабов (Григорий Рошаль, *Кинолента жизни*, «Искусство», Москва, 1974, с. 58).

Вместе с Рошалем, который считал себя, конечно, и народным трибуном, мы решили, несмотря на Шкуро и Советы, которые <не соблюдали> свою ответственность за наше благополучие, организовать сионистский митинг в местном синаметографе вместимостью человек на двести. Были расклеены плакаты. Тема была о Палестине – взгляд и нечто. Собралось нас послушать человек шестьдесят. Вначале продекламировал с большим пафосом свою речь Рошаль, потом я произнес язвительную речь на тему о том, что не все вопросы может решить еврейский социализм с космополитическим уклоном. Все шло благополучно, но тут как на грех вошел в залу мой матрос Краснов и занял место в первом ряду, то самое, на котором сидел раньше я сам и оставил там «Рассвет» с моей статьей о Бернштейне. В это время записался <для произнесения> слова какой-то адвокат, наставительно поставил меня в известность, что он товарищ моего отца по студенческим годам и не ожидал от его сына такого явного антисоциалистического, контрреволюционного подхода к разным проблемам. Я печально смотрел в сторону моего матроса, ожидая бури, конца дружбы, и, после такого публичного доноса, худшего. Заметив матроса, публика начала таять. Я ответил в последнем слове оппоненту, не считаясь ни с чем. Когда я кончил, ко мне подошел Краснов и стал с жаром жать мне руки: «И статьи пишите и говорите гладко. Любо мне было Вас послушать». Я облегченно вздохнул.

Этот успех открыл меня и Рошалья, и мы на квартире у некоего Котлера, жена которого пыталась меня после шведских обедов *а ля табель*¹⁵⁹ со всеми яствами земли – своей фаршированной рыбой, решили приступить к завоеванию Пятигорска – большого города, сравнительно с Кисловодском. Было назначено большое собрание в пятигорской синагоге. К тому времени Краснов, как оказывается, был там <в Пятигорске> чем-то вроде министра культуры – комиссар синаметографов. Собралось пятьсот человек, синагога была набита до последнего места. Большая часть – горские евреи. Настроение было повышенное, и вдруг – мертвая зыбь: в синагогу вошел мой матрос и из уважения к святости места даже снял шапку. Я был единственный, который понял, что это никому не угрожает никакой опасностью. После доклада мы с ним снова разговорились. Он мне сказал: «Не мог выдержать, увидел Ваше имя на плакате и пришел послушать второй раз».

Но общее положение становилось все хуже с каждым днем. Отели пустели. Все стали разбегаться – даже радушная семья Котлеров, не говоря уже о балерине Кшесинской. У меня блеснула безумная мысль заняться спасением всех, кого я знал, пользуясь моей закадычной дружбой с матросом.

К этому времени приехал ко мне на Воды мой брат Абрам, или, вернее, я выехал его встречать в Астрахань, куда он прибыл пароходом из Баку. В Астрахани я был первые дни без денег, спал на берегу Волги с бурлаками, получил «кривую шею» и лечил себя чаем, так как денег хватало только на чай. Выручил меня из беды еврей по имени Итин, впоследствии почтенный гражданин города Хайфы. Деньги я ему вер-

¹⁵⁹ À la table – за столом (фр.).

нул впоследствии, но тут, на месте, в красной Астрахани, снова доклад, плакаты и публика, хлопающая ушами, моя речь – как аванс <осподоину> Итину за его сердечное гостеприимство.

Брат привез с собой деньги и рассказы о турецких зверствах над армянами в Баку. Мы вернулись рыбацким рейсом, не предусмотренным ни одним путеводителем, обратно на Воды. С матросом я продолжал встречаться, и у меня с ним были самые глубокомысленные беседы. Он меня все уговаривал не кончать жизнь самоубийством из-за того, что какая-то аристократка, племянница Фейгеля, имеет вместо сердца кусок льда. Иногда я с ним соглашался, иногда слабо возражал. Однажды он мне предложил компромисс, чтобы развлечься – поступить врачом в Красную армию. Я отклонил это предложение со ссылкой на то, что у меня, к несчастью, «царский диплом». Он согласился: «Царский диплом – это нехорошо». Но тут, подумав, что, возможно, в силу обстоятельств я должен буду об этом его попросить, я сказал: «Впрочем, у меня есть еще и другой диплом, швейцарский, федеративной республики». Краснов просиял: «Если хведаритовой, то все в порядке». Так этот вопрос и остался открытым.

Я посвятил в свои планы Фейгеля. Он их одобрил. Получить через моего матроса два товарных вагона, погрузить на них всех наших знакомых, до тридцати человек, двинуться до берега Черного моря, а там – в Крым и на Украину, где стояли немцы и поэтому не было места гражданской войне с ее красными и белыми развлечениями. Моей личной амбицией было покорить упрямое сердце его племянницы, превратив себя в мага-командира тайного эшелона беженцев, ищущих спасения. Тут я мог показать себя рыцарем без страха и упрека и утереть нос ее рыжеволосой мамаше. Сверх ожидания все пошло гладко. Спасая меня от самоубийства на романтической почве и не видя для меня другого исхода <кроме как> показать себя рыцарем, комиссар синемаграфов города Пятигорска, матрос балтийского флота Краснов выхлопотал для меня у своих приятелей две теплушки. Нарядившись соответствующим образом, с платками на головах, там уселись дамы, а за ними и мужчины семейств Фейгеля, Барских, Шифринов, Лейтесов – сливки некогда бакинского еврейского общества. Рошаль еще раньше исчез с горизонта, справедливо рассчитывая на свой иммунитет: его брат не то был расстрелян белыми в Кронштадте во время матросского бунта, либо сам расстреливал белых в роли комиссара. У него был большевистский *ихес*¹⁶⁰. Впоследствии я его встретил в Баку уже не сионистом, но зато талантливым режиссером художественного театра миниатюр, таким же взбалмошным, каким он был раньше.

Для своей личной безопасности я обзавелся документом, который полковой печатью Красной армии удостоверял, что я полковой врач, направляюсь в отпуск, и все выданное мне оружие сдано обратно в полной исправности. Этим фантастическим документом меня снабдил Фукс, мой товарищ по петроградской «Гедере», который вдруг вынырнул в Пятигорске в роли письмоводителя красной дивизии.

¹⁶⁰ Родословная (идиш).

Вагоны, к моему собственному изумлению, двинулись в путь. Я оценил мешки с вещами моих попутчиков в несколько хороших миллионов фунтов. Но мой матрос не был предателем, и нас не задержали. Начальник станции удовольствовался какой-то мелочью. Матрос действовал бескорыстно. Особенно я был рад присутствию Шифринов, братьев моего школьного товарища, – один из них впоследствии стал заметным французским кинорежиссером, другой – популярным парижским издателем книг. На свою Дульцинею я, конечно, не смотрел, я <вроде бы> не замечал ее присутствия.

С небольшими приключениями – в два дня пути – мы добрались благополучно до Туапсе, прекрасного греческого городка на Черном море¹⁶¹. «Миллионеры» устроились в большой гостинице, я с братом – в гостинице попроще, где случайно обретался и полевой отдел Красной армии. Порт был пуст: кроме военных лодок, ни одного судна. На следующий день начались осложнения. Комиссар города и порта, молодой еврей, побывавший в Австралии в роли конферансье мюзикхолла, нанес официальный визит дамам в платочках, укрывшимся в большом отеле, нашим спутницам, и, хотя галантно пытался очаровать их своими артистическими дарованиями и особенно своим баритоном, все же, наконец, понял, что для большего успеха проще всего всех подозрительных новоприбывших в отель взять под домашний арест. Я и брат были единственными на свободе, нас не включили в черную статистику, так как мы не жили вместе с остальными. Из-за тонкой перегородки стены мы могли слышать все, что делалось в полевом штабе. Оказывается, на город с юга наступали сильные и хорошо вооруженные силы грузинской армии, подкрепленные белыми частями. От нечего делать мы склонялись по городу и его окрестностям, установив два несомненных факта. Первый – что самое лучшее турецкое кофе в мире подается в кофейнях Туапсе. Во-вторых, в нем самые красивые девушки на свете – античные грации древней Греции. И неудивительно: греки здесь живут еще с эпохи Перикла. За городом я раз наткнулся на своего старого фельдфебеля из бакинского Запасного полка, который возлагал на меня столько надежд в лечении его от сифилиса. Он был теперь не у дел, рад, что спас свою шкуру от солдат, которых тиранил, и мирно занимался фермерством. Вспоминали с ним прошлое – общие ночевки у двери уборной и прочий люкус солдатской жизни.

Однажды, по возвращении в город, мы услышали странный гул, и белые облачка стали падать на соседние горы. Город был под обстрелом. На улицах свистели пули. Я предложил брату зайти в ближайший магазин и там переждать события. Мы вошли в маленькую лавчонку, которая претендовала быть писчебумажным магазином. Хозяин лавки, почтенный еврей, с еще более почтенной бородой, узнав, что мы из Баку, прямо спросил нас, не знаем ли мы случайно доктора Вейншала, который раньше проживал в Тифлисе. Получив утвердительный ответ, он с гордостью поведал нам, что он, а никто другой на *брит мила* его

¹⁶¹ Туапсе возник в 1838 г. как укрепление Вельяминовское, современное название город получил в 1896 г.

старшего сына выкупил его на *пидьон ха-бен*¹⁶². Так как старшим сыном был я, то речь шла обо мне. Так я встретил человека, которому юридически принадлежал.

Через несколько минут перестрелка затихла, и мы вышли на улицу, сердечно попрощавшись с человеком, существование которого можно было предполагать без надежды его когда-либо встретить, и особенно при столь необыкновенных обстоятельствах.

Навстречу нам шли люди в белых повязках. Это были не красные и даже не белые, это была гражданская милиция города, который никому не принадлежал. Красные бежали, грузины еще не вошли. Но они не заставили себя долго ждать. К порту подкатил шестиместный автомобиль с офицерами полевой разведки – усталыми, торжествующими, потрепанными. У них было хорошее настроение. Воспользовавшись этим, я получил у них тут же разрешение заарендовать один из рыбацких катеров для поездки в Крым с людьми, которых комиссар города держал под арестом в большом отеле. Офицеры махнули рукой: «Валайте в Крым, никакого разрешения не нужно!»

На следующее утро мы отплыли, заплатив баснословную сумму денег. В море вместо обещанных нам хозяином лодки двух дней мы прокачались четыре. Не хватило продуктов, воды. Негде было растянуть ноги. Моя Дульцинея страдала меньше остальных, так как я, ее рыцарь, устроил ее в тени под рулем и доставал для нее воду. Остальные жарились на солнце и ходили полуголые. Заметив, что ей некуда прислонить голову, я сел рядом с ней, и она без всякого протеста приняла мое предложение воспользоваться моим плечом как подушкой. Я ощутил на себе одобрительный взгляд ее красноволосой мамыши.

Конечно, четыре дня в рыбацком катере, битком набитом людьми и без достаточного количества воды, было путешествие утомительное. Но не для меня, я чувствовал себя отмщенным, сама судьба перевесила весы в мою пользу. О, эта мамаша, она меня больше злила, чем мне действительно нравилась ее дочка. А главное, я чувствовал себя совсем Робин Гудом в новом полусоветском издании.

Но, наконец, мы прибыли в Тамань – место, воспетое Лермонтовым и проклятое нами. На палубу катера вошел полковник с хлыстиком и мило заявил: «Господа, не волнуйтесь, мне здесь всего надо расстрелять нескольких красных мерзавцев и жидов». Это был полковник Каштанов, глава разведки и застенка Белой армии, занимавшей Кубань.

По соглашению с немцами, все продолжавшие прибывать в Крым пароходы из Совдепии должны были заходить для политического карантина в эту Тамань, место, где до сих пор можно найти старые еврейские гробницы эпохи Второго Храма. Но я не думал о гробницах. Я

¹⁶² Дословно: выкуп сына-первенца (иврит). Древний еврейский обычай, согласно которому первенец у матери может быть откуплен от обязательства быть посвященным Богу: «Все, разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному, который в двадцать гер» (Чис. 18: 15-16).

вдруг вспомнил, что в моем бумажнике аккуратно сложена четвертушка бумаги, выданная мне услужливым Фуксом о моей принадлежности, очень почетной, к Красной армии и о моем оружии, которое сдал в полной исправности и которого я никогда не имел. Такой документ практически там, где полновластным хозяином был Каштанов, означал повешение в двадцать четыре часа. Я удовлетворял бы двум его условиям – я для него был «красный» и, кроме того, и главное: жид. Я незаметно вынул эту бумагу и бросил ее в море, перегнувшись через перила. На это никто не обратил внимания, хотя судно было уже оцеплено часовыми. Но проклятая «командировка» долго не хотела тонуть, я проклинал хорошее качество ее бумаги, так плохо впитывавшей воду.

Нас спустили на берег. Положение от этого стало не лучше, а гораздо хуже. У Каштанова были свои идеи. Он расстреливал не буржуев за их буржуазность, для того чтобы легче было завладеть их имуществом, а только – с той же целью – вешал всех богатых людей – безразлично, к какому сословию они бы себя ни причисляли. Техника была несколько более сложная, чем у красных в то время: «виновных» он заставлял «сознаваться» под пытками. Тамань воняла кровью.

Нас держали в Тамани уже неделю, и этому, казалось, не будет конца. Вдруг у моего брата, измученного дорогой, начала подниматься температура, и я боялся себе в этом сознаться, что у него начинается тиф. Я решил зайти в канцелярию к Каштанову с просьбой ускорить отъезд в Керчь, лежащую по ту сторону залива. Писарь отказался меня впустить. Я начал настаивать. И здесь повторилась та же картина, как с казаком в поезде у Кисловодска. Он вбежал, как ужаленный, в комнату Каштанова и доложил ему с пафосом, что вот этот врач непочтительно о Вас отозвался и вообще пытается проникнуть к Вам силою. Каштанов как настоящий садист-эстет сладко улыбнулся и попросил меня сесть. Я объяснил ему мою просьбу, сослался на болезнь брата и опроверг злостные измышления писаря. Но мне это мало помогло: Каштанов решил покончить с еще одним «жидом». Мое преимущество было <в том>, что я не имел с собой ценностей и для меня жаль было веревки. Каштанов начал издали: откуда ему вообще знать, что я военный врач, – теперь каждый еврей обзаводится всякими документами; что он хочет тут же на месте убедиться, что я врач, иначе я буду отдан под полевой суд за несоответствующее поведение в месте большого военного значения; что я не заслуживаю никаких снисхождений; какой я показываю пример солдатам – оскорбляю в их присутствии их начальника, – с такими людьми, как я, кончают даже без суда. В ответ я вынул из кармана медицинскую трубку – мое единственное вещественное доказательство, что я врач. Каштанов рассмеялся. Ночь, проведенная им в застенке, и богатая добыча вчерашнего дня превратили его в сытого кота. Прочтя мне раз нотацию, как надо себя вести, он распорядился поставить на моем паспорте отметку на выезд в Керчь. Я предъявил паспорт и моего брата. И тут он позеленел: «Почему паспорт новый?!» Он был на этот раз прав: у моего брата был новый паспорт по той простой причине, что он покинул Швейцарию в том же самом знаменитом запломбированном вагоне, в котором ехали в Россию, с разрешения немцев, господы большевики с Лениным во главе. Каштанов, как опыт-

ная собака-ищейка, почувствовал, что в этом новом паспорте что-то неладно. Я его успокоил первым невинным замечанием, которое мне пришло в голову: совесть моя была чиста, мой брат никогда не был большевиком.

Я вернулся к больному брату с двумя подписанными паспортами. Он уже бредил. Одна фраза была: «Ты так долго не возвращался. Я уже хотел взять бритву и пойти перерезать Каштанову его горло». Он тогда не знал, как он был прав и как мое горло было близко от «бритвы» этого негодяя. Через три дня пришло из Керчи судно. Пассажиров, получивших разрешение, выкликали по имени. Наши имена были последними: держа в руках больного брата, я в эти тягостные минуты ожидания и сомнения проклинал себя за все прошлые мои авантюры, за всю эту рискованную поездку, где я вправе был рисковать своей шкурой, но не его здоровьем. Я глубоко презирал себя за тот романтический подвиг, который раньше казался мне таким прекрасным.

На пароходе я столкнулся снова со своей Дульциней. Теперь она была как воск. Просила ехать с ней дальше в Киев. Просила писать. Она ждала с моей стороны ясного объяснения. Я осведомился о здоровье ее матери. Она поняла и дала мне понять, что мать в полном порядке. Я ей ничего не обещал, кроме ответа на письма, при условии, если здоровье моего брата мне это разрешит. Она была разочарована, но я уже тогда готов был дать себе зарок, что в случае выздоровления моего брата мой *кофер*¹⁶³ будет отказ от нее. Так рухнуло первое предсказание, сделанное мне в мои студенческие годы философом Кляцкиным: «Ты женишься на христианке, ты никогда не будешь в Палестине, и ты никогда не будешь говорить на иврите». Отец Дульциней был поляк, мать – еврейка. Одно из мрачных предсказаний Кляцкина не сбылось.

В Керчи я определил брата в Еврейскую больницу. Эпидемия тифа свирепствовала. Вначале болезнь брата протекала нормально. Я даже, по просьбе местных сионистов, выступал в синема с докладом о Бальфуровской декларации. Но потом положение стало безнадежным. Ряд еврейских врачей, вызванных мной на консилиум, считали его жизнь на часы. И вдруг, как это бывает при тифе, он стал медленно оживать, и через несколько дней опасность миновала. Я его сам переносил в ванную комнату для ежедневных охлаждающих омований. При этом я заразился сам. Вначале я не сдавался. И один свой доклад в синема прочел с температурой в 39. Я помню мою тезу до сих пор: «Война – это грозный, темный и грязный туннель истории, но путь ее от этого укорачивается, и часто в течение нескольких лет достигается то, о чем бесплодно мечтали целое столетие. Так было с сионизмом и с этой мировой войной». Я думаю, что то же самое я сказал бы и сейчас при совершенно нормальной температуре. Разница только в том, что тогда я на следующий день слег в постель и пролежал в ней ровно сто дней, так как тиф возвращался три раза с перерывом в неделю. Я не был имунен. На десерт я получил желтуху, и ноги мои от слабости сердца распухли, как подушки. Ухаживал за нами доктор Тривус, который потом тут же сам погиб от того же тифа.

¹⁶³ Буквально: медные деньги (идиш); здесь: плата.

Из палаты часто выносили мертвых, так как тиф тогда был необыкновенно тяжелый. Но были и комические сцены. Зная, что я врач, сестра милосердия просила меня разрешить ей дать моему соседу, еврею-простаку, снотворное. Не желая вмешиваться в лечение, я дал ей совет дать ему порошок соды. На следующий день пациент хвалил мое чудесное снотворное, и дежурный врач, по его же просьбе, повторил тот же порошок с содой. На следующий день мой сосед сказал мне: «Ваше лекарство слишком крепкое, мне все время снился страшный сон, будто объявлена мобилизация».

Это меня рассмешило. Я видел более страшные сны, и не во сне, а наяву. Один из таких снов наяву произошел, когда я и брат оставили Керчь и двинулись в Одессу. Немцы оставили Керчь и медленно уходили, уступая свои позиции белым. В нашем вагоне сидел какой-то полковник, <который> «вешал жидов десятками на каждом дереве». Вдруг заметив у меня врачебную военную звезду, он сказал: «Странно, значок инженера, – а как еврей может быть военным инженером?» Я бросил в его морду газету и назвал его мерзавцем. Началась свалка. После болезни я еще весь был желтый и еле передвигал распухшие ноги, – это было заранее проигранное сражение. Он бы меня зарубил шашкой. В это время поезд остановился в Джанкое. Я взглянул на перрон – если там белые, я пропал, если там еще немецкие солдаты, то скандал окончен вничью. На перроне стоял немецкий патруль при оружии.

В Севастополе, в кафе на берегу моря, где мы ждали парохода в Одессу, какой-то еврей страстно уговаривал купить у него несколько ящиков с гвоздями. Он говорил, что он продаст их мне дешево, и был очень огорчен, когда я встретил его предложение без должного интереса.

Кто мог подумать тогда, что спустя тридцать с лишним лет мне придется столкнуться в уже независимом Израиле с семьей белого казачьего генерала, близкого родственника генерала Краснова¹⁶⁴, из круга того же Шкуро и Каштанова. Он уже был глубоким стариком, и в Израиль его заставила приехать его родная дочь. Ей вздумалось во второй раз выйти замуж за еврея, мечта которого была поселиться именно здесь. Через десять дней внучка этого именитого аристократа-антисемита, чисто русская по происхождению, уже лепетала по-еврейски: «Ма зе? Ве ма еш?»¹⁶⁵. Это была, может быть, одна из самых неожиданных встреч в моей жизни в Палестине.

Генерал меня спросил: «Тиверия и Капернаум принадлежат вам или арабам?» Я ему объяснил, что оба этих места <находятся> в Израиле. На это он мне сказал: «Это хорошо, хочу их повидать». Я старался не вспоминать прошлое. Я охотно говорил с ним о стране как Святой Земле – как для него, так и для меня. В моем полном забвении прошлого была моя месть. Он искал здесь, у нас, у тех, кто были, по словам мельничихи из Маштагов, «убийцами Христа», последнее свое убежище. Он мог его иметь без того, чтобы ему были поставлены ка-

¹⁶⁴ Петр Николаевич Краснов (1869, Петербург – 1947, Москва), генерал от кавалерии, политический деятель, писатель.

¹⁶⁵ Что это? И в чем дело? (иврит).

кие-либо условия. Мы с ним могли говорить свободно о Назарете, Мигдале, Латруне, Бетлехеме и даже о Голгофе, что в *Эмек Мацлева* [Долина Креста]. Я был корректным хозяином, он – гостем, и это все. Мы просто поменялись ролями, и я не хотел следовать дурному примеру его родичей.

Но тогда, после переезда из Севастополя в Одессу, это был вопрос жизни и смерти: кому достанется здесь власть – белым, красным, зеленым или просто пестрым. Мы с братом постучались в дом Усышкина. Если он не знал по конгрессам нас, то он хорошо должен был знать нашего отца.

Тогда были другие конгрессы и другие делегаты, их выбирали или их товарищи, или – еще чаще – они сами выбирали самих себя, чтобы внести свою лепту в общее дело. Теперь это трудно себе представить, потому что конгрессы почти поголовно состоят из людей, находящихся в служебной и материальной зависимости от общественных или партийных организаций – людей, не вносящих лепту, а ее изымающих. Отношения между сионистами самими больше напоминали отношения между масонами, чем между конкурирующими друг с другом и интригующими чиновниками. Было меньше, чем теперь, демократии, но и зато гораздо меньше коррупции. Конечно, не все было идеально. То тут, то там прорывалась слепая злоба, зависть и клевета. Однажды после выступления на одном из митингов во время конгресса я вернулся на свое место в зале рядом с моим отцом. Он со смехом мне рассказал, что его толстый сосед шепнул ему на ухо страшный секрет: «Я знаю этих Вейншалов. Большие мошенники, особенно их отец. Я их знаю из Галиции». Этот сосед должен был быть один из духовных прадедов процесса Арлозорова – та же слепая злоба, клевета во имя клеветы. Колючая иерихонская роза рабской морали уже с самого начала, должно быть, требовала целой Ниагары чистой воды, чтобы снова расцвести. После всего сказанного станет понятным, почему Менахем Усышкин широко открыл нам двоим – мне и моему брату – двери своего дома.

Усышкин был олицетворением упрямства в сионизме. И это много, потому что сионист того времени, чтобы стойко выдержать все неудачи и всеобщую насмешку, должен был быть уже сам по себе очень упрямым. Он этим сам очень гордился. В его доме было очень «весело»: у одних ворот стояли петлюровцы, у других – махновцы, и обе стороны поливали двор градом пуль из своих пулеметов.

Вдруг на одесском рейде появилось военное французское судно, которое внесло в город некоторое успокоение. Через пару дней на квартиру к Усышкину явился молодой журналист-еврей, который назвал себя Бловицем. Он все время ссылался на свои *ихес*. Он сын знаменитого журналиста Бловица, изобретателя интервью. Он интервьюировал испанского короля, римского папу и даже Бисмарка. Его отец, сидя под столом во время Берлинского конгресса, первый сообщил миру о его содержании¹⁶⁶. Это был первый в мире журналистский скуп [сенсация]. Потом

¹⁶⁶ Имеется в виду Берлинский конгресс 1878 г., созданный по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления позиций Рос-

ему первому пришла в голову гениальная идея посылать свои сообщения не почтой, а по телеграфу. Его сын предстал перед Усышкиным не с пустыми руками. Он принес с собой телеграмму, якобы перехваченную доставившим его в Одессу военным французским судном. В этой телеграмме весь мир оповещается, что, как следствие Бальфурской декларации, в Палестине уже организовано первое еврейское правительство. Тот же текст на следующий день появился и в местной печати: «министр-президент Вайцман, военный министр Жаботинский» и т. д. По нисходящей степени. Упоминалось также и имя Усышкина в роли министра земледелия. Усышкин был, видимо, этим недоволен. Он тут же категорически заявил: «Я беру на себя министерство внутренних дел».

Я и брат сразу невзлюбили этого Бловица, называя его Блефичем. Особенно настраивало нас против него то, что он ежедневно одалживал у Усышкина деньги, которые, по нашему мнению, можно было уже считать пропавшими. Но в глазах хозяина дома авторитет Бловица был непоколебим, и спорить с ним на эту тему было бесполезно. Как-то раз Усышкин меня и брата пригласил вместе со своей семьей на оперу. Давали «Гугенотов» с их церковной музыкой¹⁶⁷. Я спросил Усышкина, разрешил ли бы он в Иерусалиме на положении министра внутренних дел постановку «Гугенотов». Он тут же ответил: «Ни в коем случае. "Гугенотов" ни за что». Я спросил, какая участь постигнет патриотическую оперу Глинки «Жизнь за царя». На это я получил ответ: «"Жизнь за царя" – да!»

Из многих картин тогдашней гражданской войны в Одессе я лично был свидетелем только одной. Во время пальбы из ружей и взрывов бомб, проходя по главному проспекту, я вдруг услышал звон разбиваемого стекла в одном из окон большого дома. В ту же минуту оттуда плавно спустилась и упала к моим ногам изящная дамская пуля. В этом доме, очевидно, происходила своя, частная гражданская война.

Оправившись от болезни, мы с братом воспользовались зашедшим в одесскую гавань пароходом «Николай», который доставлял на Кавказ возвращающихся из немецкого плена русских солдат. Он нас благополучно доставил в Батум. Проездом через Тифлис я вдруг вспомнил, что ровно год тому назад по забывчивости не вернул доктору Штрейхеру, председателю тифлиских сионистов, ключ от его квартиры. Он весь год пролежал у меня в кармане. Он был со мной в Персии, в Петрограде, в Минеральных Водах, в Туапсе, в Тамани, в Керчи, в Одессе – молчаливым попутчиком этой странной одиссеи. Теперь я вернул его в полной неприкосновенности его законному хозяину, извинившись за свою рассеянность.

сии на Балканах, для пересмотра условий Сан-Стефанского мира (Сан-Стефанский мир, подписанный в Сан-Стефано, близ Стамбула, 3 марта 1878 г., завершил Русско-турецкую войну). Россия, оказавшаяся без международной поддержки, была вынуждена пойти на уступки, в результате чего 13 июля 1878 г. был подписан Берлинский трактат, пересмотревший границы стран балканского региона.

¹⁶⁷ Музыка Джакомо Мейербера, еврея по национальности.

<ПАЛЕСТИНА, ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ>¹⁶⁸

Я принял предложение *Куппат-Холим* переехать в Тель-Авив и оставил Иерусалим без сожаления.

Тель-Авив был тогда уже большим городом. Что-то около пятидесяти тысяч жителей¹⁶⁹, по левую сторону улицы Алленби непроходимые дюны и изредка запущенные виноградники. Сама Алленби, часто прерываемая незастроенными участками, – не больше чем два десятка одноэтажных, криво стоящих домиков. Но это был город: почта, полиция, суд, муниципалитет – все помещалось в одном домике из шести комнат на Шдерот-Ротшильд. Когда его снесли и на этом месте поставили *андарту*¹⁷⁰, я посчитал это варварством: дом мог бы остаться исторической достопримечательностью. Там было все, в том числе и городская тюрьма, пожарная команда и даже *Маген-Давид Адом*. Это были ясли Тель-Авива – лучшая для него *андарта*. Город изобиловал большими лагерями палаток и наскоро сколоченных *цирифов*¹⁷¹, расположенных на дюнах. Они были не только на его окраинах, но и в его центре. В одном из таких барачков, через крышу которого просачивался дождь, я принимал здесь первых больных – на углу улиц Алленби и Мазе. Тель-авивцы уже тогда очень гордились своим городом и часто шутили: «Иерусалим – это город вечного прошлого, Хайфа – город вечного будущего, Тель-Авив же – город вечного настоящего». Мой отец, который тоже переехал в Тель-Авив, получив место городского санитарного врача, объясняя свой адрес, полусмешливо говорил: «Я живу на углу... улицы Алленби и Средиземного моря...»

Настроение в городе было приподнятое, несмотря на кризисы, которые следовали один за другим. Пение на улицах до поздней ночи, или, вернее, до раннего утра. Пляски хоры – без особенного торжественного повода. Дизенгоф на своей белой лошади¹⁷², с хлыстом в руке, который символи-

¹⁶⁸ В сокращенном виде этот фрагмент был впервые напечатан в газете «Вести» от 14.02.2002 (еженедельное приложение «Окна»).

¹⁶⁹ Я. Вейншал переехал в Тель-Авив в 1924 году. В 1925 г., на который пришелся пик четвертой *алии*, устремившейся в основном в единственный тогда чисто еврейский Тель-Авив, число жителей в городе насчитывало 34.000 человек. Правда, из-за разразившегося в 1926 г. кризиса, который удалось преодолеть только к 1930 г., в приросте населения Тель-Авива наблюдался резкий спад. Прежде всего это произошло из-за общего уменьшения *алии*, а также по причине массовой безработицы в городе: в поисках работы вчерашние горожане устремлялись в сельское хозяйство или вовсе покидали страну, – выезд из Тель-Авива приобрел в это время угрожающие размеры. Так, с 1926 г. по 1929 г. население Тель-Авива увеличилось всего на 2000 человек (для сравнения: с середины 1924 г. до конца 1925 г. оно выросло примерно на 14 000).

¹⁷⁰ *Андарта* (иврит) – памятник, монумент. На месте описываемого мемуаристом дома сооружен памятник основателям Тель-Авива.

¹⁷¹ *Цриф* (иврит) – барак.

¹⁷² Меир Дизенгоф (1861–1936), один из основателей еврейского квартала *Ахузат-Байт*, ставшего началом Тель-Авива, и первый мэр этого города (с 1921), которым он, исключая 1925–1928 гг., оставался до конца жизни. О белой лошади Дизенгофа вспоминают многие мемуаристы, ср.: «Городской транспорт представляли собой маленькие автобусы и повозки, запряженные лошадьми, а

зировав жезл правителя, ежедневно объезжающего свои владения, всегда в хорошем настроении, несмотря на безработицу и то, что бакалейные лавки, функционируя как банки, почти исчерпали долгосрочный и беспроцентный кредит своим клиентам, выдаваемый без всяких, однако, лир¹⁷³ и векселей. Город в трансе – занятый своими нелепыми постройками в самых различных стилях мира и, главным образом, купанием в море, на самом прекрасном пляже. В нем было что-то от пляски святого Вита¹⁷⁴.

Я помню один дом, в котором было пять стилей, начиная от древнеегипетского, через рококо, мавританский и два модерна. И это никого не шокировало. Был «дом-лодка», был «дом-пароход», был дом «китайская пагода», был «пьяный дом», который подмигивал своими косыми окнами, – чего только не было! Мы в шутку называли его главную площадь «Пляс де Катр Газоз»¹⁷⁵ и место, где разместились его первые два кафе, – в подражание парижскому Монпарнасу, – «Нон парноссе»¹⁷⁶. Одна синема, она же

мэр Тель-Авива, Меир Дизенгоф, ездил по городу верхом на великолепной белой лошади» (Голда Меир, *Моя жизнь. Автобиография*, Книга I <Jerusalem> Библиотека – Алия, 1990, с. 87); художник Нахум Гутман вспоминает, что первоначально под мэром был осел, смененный затем той самой лошадей (Нахум Гутман, Эхуд Бен-Эзер, *Меж песками и небесной синью*, Издательство «Библиотека-Алия», Молодежная серия, Иерусалим, 1990, с. 58-59).

¹⁷³ Лира (livre) – распространенное название денежной единицы в странах средиземноморского побережья и ближневосточного региона: в Италии, Мальте, Египте, Турции и др., хотя содержание ее в разных странах различно. Название денежной единицы в Палестине осталось со времени турецкого владычества. 1 лира равнялась 100 грušим или 1000 милиям. Чтобы представить реальную стоимость лиры, приведем некоторые данные, относящиеся к 1934 г., но характеризующие также и описываемое время (конец 20-х гг.): проезд в городском автобусе стоил 5 миль, книга стихов Бялика (448 страниц) стоила 750 миль, билет в театр – от 35 до 150 миль, на симфонический концерт – от 49 до 200 миль, обед или ужин в хорошем ресторане – свыше 100 миль; более крупные покупки: за 300 лир, выплата которых могла быть растянута на 20 лет, можно было купить двухэтажный дом с окружающей его площадкой – в районе, воспринимавшемся тогда как предместье; тому же, кто предпочитал жить в самом центре города, вблизи моря, трехкомнатная квартира стоила 225 лир, которые нужно было внести во время строительства (или платежами – по 6 лир в месяц в течение первых пяти лет и 3 лиры в месяц в течение следующих 15 лет) (сведения приводятся по книге: *Тель-Авив бе-решита, 1909–1934*, Иерусалим, 1944, сс. 169-170 [на иврите]).

¹⁷⁴ Saint Vitus, христианский мученик, живший в Италии примерно между 286 и 305 гг. Согласно легенде, в возрасте 7 (или 12) лет он, его наставник и кормилица были подвергнуты суровому испытанию на верность христианству, которое с честью выдержали (праздник этих трех святых отмечается 15 июня). С тех пор Saint Vitus пользуется в христианском мире славой исцелителя различных болезней, изгоняемых из организма с помощью ритуальной пляски, сопровождаемой судорожным подергиванием тела. Впоследствии пляской Святого Вита (St Vitus' dance), или хореей Сиденгама (chorea minor от греч. choreia – «танец») в медицине стали называть нервное заболевание, характеризующееся расстройством телесных движений, которое в своем крайнем проявлении не без юмора именуется «folie des muscles» («помешательством мышц»).

¹⁷⁵ «Площадь четырех киосков с газированной водой».

¹⁷⁶ Игра слов, построенная на созвучии названия района в Париже (Montparnasse) и еврейского слова рапаса – «заработок, пропитание».

зала для массовых митингов – «Эжен», и один ресторан, т. е. штаб-квартира всех партий – левых, правых и центра, ресторан Альтшуллера¹⁷⁷, одинаково пригодный и для Рутенберга, и для Жаботинского, и для Арлозорова, и даже для Бялика. И сам Альтшуллер, этот еврейский Тарас Бульба, наводящий гигиену и модернизацию в своем буфете с его шестью столиками... Котлеты подаются только на вилке, но в виду некоторых технических трудностей они нанизываются на упрямую вилку и снимаются с нее на тарелку пальцами. Альтшуллер, держащий свой ресторан открытым часто до четырех утра, общий любимец города, третейский судья в свирепых партийных разногласиях, – символ здорового общественного мнения и честной народной мудрости.

И тут же таинственная *квуца* «Траск», потешающая себя и весь город своими невероятными выходками. Опустошающая чужие кухни, с кошачьими симфоническими концертами у окон новобрачных, с похищениями горшков с цветами с балконов слишком доверчивых хозяек, с аккуратным посещением всех свадеб – с этим неизменным: «Мы приглашены другой стороной». *Квуца* «Траск», во все тайны которой я никогда не мог проникнуть, но из среды которой вышла пара впоследствии талантливых артистов. Тель-Авив, про который англичане с презрительной гримасой на лице говорили: «Галиция у моря», хотя сами они не имели ни малейшего представления о Галиции. Тель-Авив, страдающий избытком энергии и высоким напряжением всех своих эмоций. Недаром его традиционные пуримские вечера, которые неизменно каждый год устраивались, и носили эти два странных названия: «Одеф мерец»¹⁷⁸ и «Бал высокого напряжения»¹⁷⁹.

И его сплетни... Они не были столь ужасны, хотя вполне оправдывали шутку того времени: все ускоряющее передачу сведений с места на место начинается с «приставки» «тел»; после изобретения телеграфа был изобретен технически более совершенный телефон, потом пришла очередь телевизора, но нет ничего более совершенного для молниеносной и массовой передачи слуховых и зрительных впечатлений одновременно, чем последнее изобретение – «ТЕЛЬ-АВИВ».

Я прожил в этом городе больше тридцати лет. Он увеличился с тех пор в десять раз, за это время успел столько же раз изменить свое внешнее и внутреннее лицо, но я продолжаю его видеть таким, каким видел его в первые годы. И, встречаясь на улице, мы, старые тель-авивцы, как если бы это были диковинные допотопные животные, улыбаемся друг другу, как будто нам одним известен секрет той странной метаморфозы, которая постигла на наших глазах этот город наших надежд. Я знаю упрямцев, таких, как Агадати, этого Аполлона, покровителя муз старого Тель-Авива, который до сих пор живет в своем

¹⁷⁷ О кафе-ресторане Альтшуллера см. также в воспоминаниях Н. Гутмана (Or. cit., с. 189).

¹⁷⁸ Дословно: «Излишек энергии» (иврит).

¹⁷⁹ Слава о тель-авивских пуримских карнавалах, неизменной королевой которых была жена Вейншала Эсфирь (Эстер), перешагнула границы Эрец-Исраэль, см., например, описание одного из них в русской эмигрантской газете *Последние Новости*, издававшейся в Париже: Ф. Я., «Свиток Эсфири», *Последние Новости*, 1928, № 2594, 29 апреля, с. 4.

цирфе, и он для него краше, чем Версальский дворец. Иногда можно узнать старого тель-авивца по его несколько для него уже узкому и короткому смокингу. И один раз, кто-то неизвестный мне, отказался от поездки в автобусе и стал вместе со мной ждать очереди на такси под предлогом «хочу постоять рядом со старым тель-авивцем». И я его понял, потому что наша старая любовь к городу связывала нас и теперь как бы круговой порукой.

Каждый из нас должен был бы быть в чем-либо первым. Там, в *голусе*, не случайно каждый второй где-либо председательствовал, был ответственным секретарем, казначеем или просто почтенным общественным деятелем. Эта энергия осталась как вне приложения. Но она быстро нашла выход. Ежедневно, как грибы, вырастали все новые, самые диковинные общества – профессиональные, научные, спортивные, благотворительные – вплоть до кружка эсперантистов и любителей собирания старых марок. Каждый хотел и стал именно этим первым через 2000 лет. Один собирал древние монеты, другой коллекционировал чучела птиц, третий искал таинственную манную крупу, четвертый с совершенно непостижимой энергией превратил свой дом в грандиозный склад всех вышедших до сего времени старых еврейских газет. Это были лорды с их хобби – лорды несуществующего государства. Таков был в общих чертах тот Тель-Авив, в который я тогда попал.

Романтический город на песке и из песка. Город, про который мой Ярдени¹⁸⁰ вспоминает с вожделием: «Тогда любовь девиц не измерялась количеством километров и на галлоны бензина, как сейчас». Когда какой-нибудь фонарщик, который по вечерам с маленькой лесенкой за плечами и с баком нефти шел заправлять в какой-то заброшенной Нордии свои лампы в фонарях, он говорил: «Тут я сам себе Рутенберг». Город, воздвигший примус на положение семейного языческого Бога. В отличие от толстокожего Иерусалима и раболепствующей Хайфы он всегда был городом непокорных мятежников и вольнодумцев. Недаром англичане из всех еврейских представителей больше всего считались с угловатым, с медвежьими манерами Дизенгофом. Ни от кого они не могли ожидать настоящих сюрпризов, как именно только от него, с его автономной городской полицией, которая была бельмом в их глазу. Англичане любили только те сюрпризы, которые они готовили сами. С Дизенгофом им было трудно даже меланхолически потягивать свое виски, им, должно быть, казалось, что он, как бы невзначай, наступит им на их мозоли тут же под столом. И Тель-Авив уже с самого начала не любил англичан, отвечая им в этом полной взаимностью. Он не мог им простить это «Stop emigration!» И мой Ярдени по каждому поводу, если ему предлагали что-либо не по его вкусу, вместо слова «нет» пускал в ход это: «Stop emigration!» Даже когда ему предлагали за тот же пиастр выпить третий стакан сладкого *газоза*. И общий его вывод был очень ясен: «Я, доктор, скажу Вам правду: я антисемит на англичан».

Поэтому нет ничего удивительного, что я сейчас же по приезде в Тель-Авив оброс молодыми людьми, наэлектризованными пропагандой

¹⁸⁰ Близкий знакомый мемуариста.

парижского «Рассвета», в котором печатались мои собственные корреспонденции из Иерусалима, возмущенными самомнением и близорукостью официальных еврейских заправил. Скоро таких удальцов, желавших «дать бой», набралось не меньше тридцати человек – разных способностей и разных возможностей, которые вместе со мной протянули обе руки Жаботинскому. Приличное общество вначале все наши выступления принимало за глупую шутку. Но потом, когда англичане дали понять, что такие шутки им не по вкусу и что мы – самые опасные мятежники, нас зачислили в *уэтервельт*¹⁸¹, чем мы даже отчасти гордились. Нам ставили в вину все наши грехи – нашу безответственность, незнание еврейских традиций, невежество в еврейском языке и даже нашу материальную бедность. Мы были не *гезельшафтсфейг*¹⁸².

Время от времени нас пробовали увещевать, и я сам помню, как один заслуженный лидер увещевал нас в том, что Бар-Кохба не национальный герой, а сумасшедший, погубивший своими опасными фантазиями когда-то наше государство. Для меня это был шок, так как я не знал, насколько еще гнило все вокруг. И было очень гнило. Однажды я обратился к Бялику с предложением выразить публичное порицание тем американско-европейским кругам, которые предоставили в распоряжение Советской России миллионы долларов на колонизацию евреями Крыма и этим подчеркивали свое пренебрежение ко всему тому, что делается сейчас в Эмеке¹⁸³. Он категорически отказался. Он не видел в этой Крымской Уганде¹⁸⁴ ничего предосудительного, никакого преступления против нации. Я был взбешен, я думал, что встречу в нашем большом национальном поэте нашего Эмиля Золя и получу Жакюзь¹⁸⁵. Я чуть при этом ему не сказал: «Как жаль, что вы так не похожи на ваши же стихи».

Пресса упорно замалчивала или искажала наши выступления, подчеркивая этим всю нашу незначительность. Но мы знали, что это не так, так как время от времени наши товарищи по секрету передавали нам, что, вызвав их в полицию по какому-либо случайному поводу, им

¹⁸¹ От немецкого *Wetterwelt* – дословно: «грозовой мир»; здесь: бунтовщики.

¹⁸² Т. е. «отвергнутые обществом»; от немецкого *gesellschaftsfähig* – признанный (принятый) в свете.

¹⁸³ В 1924 г. аграрное отделение Джойнта (American Jewish Joint Distribution Committee – Американского объединенного еврейского комитета по распределению фондов) заключило договор с советским правительством о крупных денежных вкладах в колонизацию евреями Крыма. По этому проекту, Джойнт закупал земли для заселения их евреями. Парижский *Рассвет*, в которой сотрудничал Вейншал, выступил с рядом материалов, критикующих этот проект, см., в частности: И. Тривус, «Колонизация евреев в России», *Рассвет*, 1925, № 4, 25 января, с. 3-4.

¹⁸⁴ Вейншал иронически связывает колонизацию Крыма с «угандийским планом», в соответствии с которым британское правительство в 1903 году предложило Всемирной сионистской организации создать еврейское поселение на территории одной из своих колоний в Восточной Африке (часть территории современной Кении).

¹⁸⁵ Имеется в виду знаменитое открытое письмо Э. Золя «J'Accuse» («Я обвиняю»), адресованное президенту Франции Ф. Форю (13 января 1898), в котором шла речь о невинности Дрейфуса.

предлагали за солидное вознаграждение стать «информаторами». И несмотря на то, что многие из них были на положении безработных, они вежливо отклоняли заманчивые предложения.

Через несколько месяцев Жаботинский созвал первую ревизионистскую конференцию в Париже, на которой я явился представителем нашей палестинской группы¹⁸⁶. На эту поездку мне было ассигновано 10 фунтов, это было в первый и последний раз в моей жизни, когда, к моему стыду, я частично покрыл свои расходы по общественным делам не из своего личного кармана, а за счет других.

В Париже я, к моему удивлению, встретил среди делегатов из различных стран почти весь состав центрального комитета «Гехавера», в том числе Якова Гофмана, Меира Гроссмана и Йосефа Шехтмана. Из «Молодой Иудеи» я был один, но тот толчок, который она дала «Гехаверу», заставило его изменить орбиту вращения, и здесь, в этом кафе «Пантеон», где собралась эта первая конференция, сюда упали первые метеориты распавшегося, но не исчезнувшего «Гехавера». Для меня было ясно, что Жаботинский получает в наследственное владение ряд преданных организаторов, неплохих журналистов, толковых ораторов и прекрасных пропагандистов. Ему не нужно начинать сначала, он может сразу приступить к большой работе. Мой оптимизм я выразил в своей статье в «Рассвете», посвященной этому съезду. Ее идея была в том, что эта первая конференция «Гацоара» в кафе «Пантеон» войдет в пантеон истории сионизма.

Объективному еврейскому историку решать, насколько эта идея была лишь пустым преувеличением. Несмотря на видимый оптимизм, Жаботинский все же был в подавленном настроении. Ему очень не хотелось вступать обратно в Сионистскую организацию, из которой он считал себя окончательно выбывшим. Он не хотел купить шекель. Моя идея избрать его делегатом на ближайший конгресс казалась ему химерой. Палестина, финансово зависимая от тех денег, которые собирает на нее Вейцман, никогда не решится на подобного рода дерзость, как демонстративное избрание его противника на конгресс. Я, по его мнению, преувеличиваю недовольство Тель-Авива английской политикой, — он будет забаллотирован и политически скомпрометирован именно в глазах Англии. Я настаивал, несмотря на то, что вся наша «армия» в Тель-Авиве не превышала трех дюжин. Наконец, Жаботинский весьма неохотно уступил и протянул мне шекельную книжку: «Вы покупаете шекель первый, я — второй, и это Вас связывает».

Жаботинский был избран на конгресс — тактически я оказался прав: Тель-Авив хотел его. Но тогда, когда я выписывал этот шекель из общей книжки, у меня было, и осталось до сих пор, горькое чувство совершенной непростительной ошибки. Внешнему эффекту эфемерной избирательной победы был принесен в жертву динамизм неограниченного в своем развитии ревизионистского движения.

Конференция была, как все конференции, с речами, резолюциями, митингами и банкетами. Мне пришлось выступить на публичном

¹⁸⁶ Первая ревизионистская конференция в Париже проходила с 26 по 30 апреля 1925 г.

собрании в Сорбонне. Я охарактеризовал общее положение в Палестине в одной комической фразе. Я сказал: «Когда Вы выходите первого мая на улицу и хотите взять папиросу в зубы, то вам вдруг начинает казаться, что к вам тут же подойдет английский полицейский и арестует вас за нарушение святости этого дня».

В распорядителе банкета я узнал того самого студента из «Гехавера», который на первом моем конгрессе в Базеле проповедовал единственно спасительную для сионизма идею – создание в Иерусалиме библейского театра. На этом же банкете в своей речи я подчеркнул, что, помимо политической стороны, движение должно иметь и явно реформистский уклон, цель которого освободить раз навсегда наш народ от традиций гетто, препятствующих его нормальному культурному развитию. Я призывал к *культуркампфу*¹⁸⁷. Я не знаю, был ли Жаботинский доволен этой моей речью. Я в ней ясно намекал, что предстоящему еврейскому *синедриону* придется серьезно заняться и реформой обрядовой стороны религии, там, где она ставит непреодолимые препятствия полному национальному возрождению. Возможно, что я зашел слишком далеко, и Жаботинский промолчал мне эту мою вольность. Но я о ней не жалею, так как я всегда, должно быть, был больше реформистом, чем ревизионистом.

Тогда же в Париже я разыскал своего старого приятеля Морица Левенсона, корпоранта из Тифлиса, который, благодаря своему увлечению масонством, вертелся среди правящих кругов тогдашней Франции. Трескучие фразы политическо-партийной полемики были не для него – он искал более короткого пути. По его мнению, после того как Декларация Бальфура была скомпрометирована Белой книгой Черчилля¹⁸⁸, мы должны начать искать сближения с Францией и ее интересами на Ближнем Востоке. Жаботинский был для него англофил. Он решил действовать на собственный страх и риск. Через несколько месяцев я узнал, что он умер от воспаления легких. У меня было мало друзей в моей жизни – он был один из первых, и я его быстро потерял.

Вернулся я в Тель-Авив вместе с моей женой Эсфирью, которую я взял в собой в Париж не без трепета. Работал я в учреждении, принадлежавшем организационно моим политическим противникам, которые смотрели косо на мои политические «заблуждения», и я был для них не больше, чем еретик. В довершение всего, на мое место, на время полученного мною отпуска, назначили поэта Черниховского, который был врачом-хирургом с гораздо большим стажем, чем я, и прибыл в Палестину в положении стесненного в средствах эмигранта, требующего не-

¹⁸⁷ От немецкого *kulturkampf* («культурная война»). Термин, возникший в период борьбы между правительством О. Бисмарка и католической церковью (1872–1880), отстаивавшей сепаратистскую антипрусскую идеологию.

¹⁸⁸ В Белой книге, опубликованной в 1922 г., объявлялось о создании королевства Трансиордания под управлением эмира Абдаллы и его отделении от Эрец-Исраэль. Одновременно с этим здесь, по существу, ликвидировалось основное требование Декларации Бальфура о создании еврейского национального очага, поскольку идея образования израильского государства («превращение Палестины в еврейскую страну в такой мере, в какой Англия является английской») отвергалась как невозможная.

медленного устройства. Я уже считал себя безработным. К моему удивлению, мои больные и даже всегда сдержанная по отношению ко мне администрация «левого» *Кунат-Холима* встретили меня как «машаха». Черниховский, прекрасный человек и умница, которого я искренне любил и уважал, сам радостно встретил мое появление. Он никак не мог приспособиться к специфическим условиям местной медицинской работы, где часто приходится иметь дело с неврастениками и тратить свою энергию на пустяки и при этом не терять самообладания.

За первой победой – избранием Жаботинского на конгресс, последовала вторая и третья. Несмотря на протест со стороны Жаботинского, который все еще не верил в наши силы, мы одержали победу на выборах в *Асефат Ганевхарим*¹⁸⁹, в *ирию*¹⁹⁰ Тель-Авива, и снова в *Асефат Ганевхарим*. Партия росла, и к ней примкнули тысячи из кругов восторженной и жертвенной молодежи. Для меня это было большой нагрузкой. Я председательствовал в Центральном Комитете партии, был членом *ирии* Тель-Авива и, после перевода газеты «Цафон» в Тель-Авив, редактировал и этот еженедельник, тираж которого не превышал иногда и сотни экземпляров.

Для того, чтобы сбалансировать свой скудный бюджет в *Кунат-Холим*, я должен был еженедельно писать две статьи. Однажды пришлось даже составить для местного издателя – от доски до доски – экономический журнал, за который он вместо обещанных пятнадцати фунтов уплатил мне всего пять. При этом я принимал, конечно, сотни больных в амбулатории и часто, очень часто через пески Тель-Авива должен был делать гораздо больше, чем десять визитов в день. От всего этого я не уставал, однако, так, как от бесплодных заседаний в партии, в *ирие* и, больше всего, в этой богадельне для политических инвалидов, имя которой было *Ва'ад Галеуми*. В какой-то момент я даже был самой популярной личностью в Тель-Авиве. И в этом меня убедила юмористическая песенка, адресованная мне поэтом Авигдором Гамеири для сатирического театра Кум Кум¹⁹¹, над которой потешался весь город.

С моими работодателями у меня были самые бурные столкновения в *ирие* Тель-Авива. Они хотели меня заставить, используя финансовое давление, голосовать вместе с ними «за *Гистадрут*», членом которого я как врач автоматически состоял. На одном из заседаний я получил от секретаря местного отдела *Гистадрута* угрожающее письмо. Я не поленился взять слово, огласить его содержание и, разорвав письмо в клочья, бросить его в лицо отправителя. Это дерзкое поведение, однако, всегда больше способствовало моему служебному иммунитету, чем ему вредило. Однажды я выбросил из своего кабинета самого админис-

¹⁸⁹ *Асефат а-Нивхарим*, или *Ва'ад Леуми* (Национальный комитет) – исполнительный орган Собрания депутатов евреев подмандатной Палестины. Создан в 1920 г., только 1 января 1928 г. получил официальный статус, просуществовал до 1948 г.

¹⁹⁰ *Ирия* (иврит) – муниципалитет.

¹⁹¹ «Кумкум» – сатирический театр, возникший в Тель-Авиве 1 мая 1927 г. и просуществовавший около двух лет, до начала февраля 1929 г.

тратора амбулатории за то, что он бестактно попытался убедить меня в том, что я не могу рассчитывать на все те привилегии, которыми пользуются врачи, разыгрывающие из себя социалистов. Он был так поражен этой моей выходкой, что на многие годы перестал во мне видеть подходящего партнера для своих вечных злостных интриг против всех остальных врачей.

Там, где касалось политической совести, я был невыносимо дерзок. Один раз меня на улице остановил почтенный гражданин, председатель Союза промышленников, пресмыкавшийся перед партийными секретарями *Гистадрута*. Ему пришла в голову нелепая мысль спросить меня же мое мнение о нем. Должно быть, он страдал манией величия и жадой *кавода*. Я его огорошил кратким замечанием: «Мое мнение: ты шабес-гой *Гистадрута*». Странно, что отношения между нами от этого не стали хуже, чем были раньше.

В *ирие* Тель-Авива меня больше всего интересовал туризм и связанные с ним возможности. Ко всеобщему недоумению, я был одним из первых апологетов пуримского карнавала. Мне выговаривали, в особенности члены муниципалитета из рядов учителей гимназии Герцлия, что празднование карнавалов несовместимо со сбором пожертвований за границей на *Керен Гаесод*, рекламирующий нашу бедность и нашу несчастную жизнь¹⁹². Я эту точку зрения отвергал как ханжество и не успокоился до тех пор, пока не спровоцировал поцелуй городского головы царице Эстер, гордо шествующей во главе первого многотысячного карнавала.

Заручившись поддержкой крайне левых, я провел революционное постановление муниципалитета о создании городской биржи труда, которое так никогда и не обрело жизненной плоти из-за махинаций партийных секретарей *Гистадрута*, которые видели в своих частных биржах труда прекрасный способ для взимания профессиональных налогов и орудие личной власти. В результате нашего – моего, и в особенности моего товарища Ицхака Беньямини, – пребывания в *ирие Гистадрут* потерпел поражение на ближайших выборах, и Дизенгоф торжественно вернулся на покинутый им пост городского головы¹⁹³. Гистадрутовские функционеры скомпрометировали себя земельными спекуляциями. Впрочем, не только они одни смотрели на городское самоуправление как на дойную корову. То, что делали другие, меня сейчас не интересует, я готов покаяться только в собственном грехе.

Однажды, после того как ряд земельных участков был расхищен партийными организациями, я случайно, за отсутствием Беньямини,

¹⁹² *Керен а-Есод* – Основной фонд [Всемирной сионистской организации и Еврейского Агентства] (возник в 1920 г.). Пожертвования, которые поступали в этот фонд от евреев всего мира, шли на разнообразные нужды, связанные с заселением Эрец-Исраэль, организацией *алии* и абсорбции.

¹⁹³ Речь идет о выборах в мэрию Тель-Авива в декабре 1928 г., когда М. Дизенгоф вернулся на свою должность, которую покинул 24 декабря 1925 г. в знак протеста против принятого городским советом решения («за» – 19, «против» – 10) об отмене оплаты за школьное обучение и в муниципальных детских садах. Тогда мэром стал Давид Блох-Блюменфельд (1884–1947), представитель Гистадрута, остававшийся на этой должности три года.

попав на заседание правления *ирии*, должен был голосовать вместе с левыми за постройку дома с правом на торговые лавки. Строительство было не совсем законным, поскольку вторгалось во владения Большой синагоги. Взамен этого нашему ревизионистскому Брит [Союзу] Трумпельдора давали участок земли «для столярных и слесарных мастерских». Судьба меня жестоко наказала за эту махинацию. Впоследствии меня самого, живущего в районе синагоги, лишили лучшей моей комнаты, переделав ее в лавку под предлогом, что синагогальный район уже давно нарушил этот принцип без лавок. И я один из первых был его нарушителем. Я испытал на себе самом это нарушение закона как бы наподобие бумеранга.

Не менее любопытны были мои переживания в *Va'ad Galeumi*. Но прежде, чем их описать, я должен дать краткую характеристику моему брату Абраму, без которого мы никогда бы не проникли в это святая святых еврейской беспомощности и растерянности. Так как все, что происходило в недрах святая святых, сознательно окутывалось ненарушимой тайной, наше отношение к нему и занимающим его вопросам подвергалось самой строгой газетной цензуре. Главным дальнбойным орудием нашей группы палестинских ревизионистов был мой брат Абрам, к словам которого прислушивались даже самые заядлые наши противники. Скромный, строго логичный, приветливый и остроумный, он располагал к себе каждого. И у него вскоре создалась репутация не только одного из самых талантливых адвокатов, но и konsekвентно мыслящего, неподкупного политического деятеля радикального образа мысли. Ему можно было смело поручить разрешение самой сложной политической проблемы, без страха, что он уклонится дать прямой на нее ответ, и если даст, то всегда будет строго соответствовать обстоятельствам места и времени. Ровный, невозмутимый характер он унаследовал от матери, радикальность и энергию от отца. В Палестине он перенял практику одного известного арабского адвоката, который переехал на жительство в Ливанон [Ливан] и который тоже высоко ценил в нем все вышеперечисленные качества.

Изучив в совершенстве арабский язык, подобно тому, как отец в свое время татарский, он пользовался среди своих арабских клиентов полным доверием. Он особенно прославился своим весьма сложным процессом против мандаторного правительства, представляя интересы семьи бывшего турецкого султана Абдул-Гамида, претендующего на собственность миллионов *дунамов* государственной земли. Он выиграл этот сложный процесс в целом ряде местных инстанций перед английскими судьями, которые должны были отдать должное его юридическим познаниям и таланту. Я, со своей стороны, вспоминая нашу детскую комнату в Баку, наше увлечение «Молодой Иудеей», когда имя того же султана Абдул-Гамида воспринималось нами как имя всесильного демона, никак не мог освоиться с тем, что именно на долю моего брата выпала миссия выступить единственным защитником его попранных прав. Я и мой отец могли при этом с полным правом воскликнуть: «O tempora! o mores!»

Мир перевернулся вверх ногами. Партийный агитатор с промыслов, укравший, чтобы затем получить выкуп, моего дядю Давида, посылает

на смерть сотни тысяч, и мой брат, скромный гимназист из того же Баку, и при этом еще сионист, представляет интересы такого же кровавого деспота в восточном стиле, каким является теперь этот Сталин. Ведь еще так недавно, при нашем первом посещении Палестины, мы все-навсего были обладателями жалких красных билетов с правом пребывания здесь не более трех месяцев – по старому декрету все того же всесильного Абдул-Гамида, перед которым трепетала вся Турция. Что сказала бы на это маленькая, худенькая гимназисточка А., с которой я поссорился и для которой сионизм был только глупой утопией, и вместе с ней миллионы других евреев?

Политические выступления моего брата в *Va'ad Галеуми* произвели на присутствующих такое впечатление, что сейчас же после образования государства те же самые люди, которые встречали его речи ледяным молчанием, сразу предложили ему занять пост члена Верховного суда. Он это отверг, и отвергал повторно, потому что не мог простить этим же заправилам нового государства их старых правонарушений морального порядка и не видел для себя никаких возможностей пресечь их в будущем, даже при условии занятия им поста верховного судьи. Он их слишком хорошо знал. Наше пребывание в *Va'ad Галеуми* было для нас тяжелым испытанием. Мы сидели часто, до боли сжав зубы. Наша идеальная маштагинская Иерихонская роза не хотела расцвести в этой грязной лужице, в которую стекали все грязные потоки *голуса*, тупое раболепство перед английским *пурицом* и перед вейцманской торбой для подаяний, всегда туго набитой деньгами.

Англичане упорно загоняли сионизм в тупик, регулярно организовывая кровавые столкновения между арабами и евреями, систематически разоружая вторых для того, чтобы показать их всему миру как слабейшую сторону. После каждого из таких событий они невозмутимо посылали сюда следственную комиссию, которая, надев толстую повязку на глаза и извращая факты, суживала систематически перед сионизмом возможности своевременной реализации. *Va'ad Галеуми*, как и все прочее, слепо подчиняясь примирительной политике Вейцмана, танцевал при этом *майофес* и после каждого кровавого столкновения утешал себя новой возможностью для сбора денег за границей с евреев, потрясенных всем происходящим. Несмотря на громадные суммы, поглощаемые *Аганой*, она всегда оказывалась почти небооруженной, причем это не было также так важно, так как заправила из *Va'ad Галеуми* строго внушала ей держаться пассивно и выступать только в случае прорыва линии защиты. Это была позорная картина. *Va'ad Галеуми* жаловался правительству на арабские зверства, зная отлично, что за них несет исключительную ответственность то же правительство. О прямой жалобе в Лондон или в Лигу Наций не могло быть и речи. Только один раз под прямым давлением Рутенберга был устранен с поста правительства тот самый чиновник, которому Киш¹⁹⁴ столь до-

¹⁹⁴ Фредерик Герман Киш (1888–1943), представитель еврейской экзекутивы в Иерусалиме (с 1923 г.) и глава Политического департамента, позднее глава Иерусалимской экзекутивы.

верчиво вручил секретную переписку Сохнута, справедливо считая его главным режиссером кровавых нападений.

В России мне никогда не приходилось быть свидетелем еврейского погрома. Армяно-татарская распря приучила меня к тому, что там, где правительство заинтересовано в распрях двух наций, они налицо. Меня не удивляло и не возмущало отношение к нам англичан. Меня удивляло и возмущало отношение к ним евреев. Они сами как бы напрашивались на повторение событий, оставляя главного виновника безнаказанным. В лучшем случае *Ва'ад Галеуми* питали баснями, что Вейцман при свидании с Верховным комиссаром у него в кабинете грозно стучал по столу. Даже если это было и так, то – без широкой огласки в мире – в этой истерике я не видел никакой пользы для нас и никакого вреда для Верховного комиссара.

Если бы я вел тогда дневник, то какие-то его страницы должны были выглядеть примерно так:

Сегодня я вернулся с моим братом Элизером из Иерусалима. Мог и не вернуться. При въезде в Рамле наш автомобиль толпа забросала камнями. Наш шофер остановил машину, схватил гаечный ключ и, делая вид, что у него в руке револьвер, бросился на толпу, которая с испугом разбежалась. Но наше положение стало более серьезным, когда вдруг сзади к нам стала быстро приближаться машина с четырьмя арабами, вооруженными винтовками. Мы успели въехать в Рамле первыми. Остановились у входа в английскую полицию. Мой брат заставил английского полицейского составить протокол о нападении. Потом он ему указал на следовавшую за нами машину с арабами, которые открыто носили оружие, в то время как нам это было строжайше запрещено. Нашим оружием был гаечный ключ. Он пожал плечами: эти арабы из Газы, один из них служит в полиции. Я успел разглядеть лицо этого араба, оно удивительно напоминало лицо бакинского Алексея, профессионального убийцы...¹⁹⁵

* * *

После долгих и мучительных переговоров, наконец, *Агана* согласилась передать нашей молодежи часть фронта осажденного со всех сторон Тель-Авива. Нам передали охрану улицы Яркон, там, где она ведет к мечети на берегу моря. В нашем распоряжении было около тридцати подростков, четыре револьвера и несколько десятков патронов. В выдаче оружия нам было отказано, так как его не хватало и на других участках фронта. Амбиции *Аганы*, как выяснилось, значительно превышали ее боевую способность. Помимо улицы Яркон, на нас выпало наблюдение за местностью, куда входил отрезок границы с Яффой в полкилометра шириной. Если бы арабы двинулись, от нас бы осталось мокрое место. Ночью адвокат Беньямини предложил мне проверить положение. Мы зашли далеко вперед, обсуждая угрожающий нашей мо-

¹⁹⁵ Далее идет речь о погромах, учиненных арабами Палестины в августе 1929 г.

лодежи риск. Вдруг мы очутились у самой мечети, уже за границей Тель-Авива. Навстречу нам подкатила машина с арабами. Мы остановились и не подали ни малейшего признака испуга. Он был сибиряк, я – кавказец. Игра шла на психологию. Мы были без оружия, у арабов оно было. Еще минута и нас пронзили бы пули. Но арабам вдруг показалось, что они попали в засаду, – в этом их убедили два наших молчаливых силуэта. Они поспешно повернули машину назад. Ничто меня не заставило так полюбить Беньямини, как это совместное переживание.

* * *

Вальтер Мозес¹⁹⁶ ранен пулей на границе, защищая город. Я бросаю все и иду в больницу узнать о его положении. К счастью, этот один из немногих аристократов и философов в этой стране получил пулю в колено. Я крепко жму ему руку. И иду «сражаться» с Ирмой¹⁹⁷. У него фантастическая идея, которая уже вот-вот будет приведена в исполнение. Он нагрузил на *трак*¹⁹⁸ до двадцати своих «курсантов» с небольшим количеством легкого оружия и хочет пробиться из Тель-Авива защищать Иерусалим. По моему мнению, их всех прикончат в Рамле, через которое они не смогут пробиться. После долгих убеждений он соглашается занять позиции у *ихунат Шапиро*, которая обстреливается арабами из *пардесов*. Через шесть часов результаты: нападение арабов отбито. Отряд Ирмы нагнал на них страх, и у них впечатление, что такой же Ирма и на других участках фронта. Но у него потери. У одного курсанта пулей раздроблена рука, другой остался без глаза. Машина с его ранеными передала на моих глазах какую-то пожилую женщину.

* * *

Поздно ночью, весь черный от пыли и пороха и падая с ног от усталости, приезжает из Иерусалима Бен Хорин¹⁹⁹. Он прорвал на своей машине, с помощью двух револьверов, две, если не больше, блокады. Он проехал через Моцу сейчас же после того, как арабы вырезали всю семью Маклефа, оставив в живых незамеченного в люльке ребенка (будущий *раматкаль*)²⁰⁰. По его словам, Иерусалим – в порядке. Там ходят

¹⁹⁶ Вальтер Мозес (1892–1955), экономист по образованию (закончил Берлинский университет). По прибытию в Эрец-Исраэль в 1926 г. основал сигаретную фабрику; впоследствии занимался собиранием художественного антиквариата и организацией художественных галерей и выставок.

¹⁹⁷ Ирмиягу Гальперин (1901–1962), один из руководителей обороны еврейского *ишува*. Я. Вейншал написал о нем роман «Игта» (1968).

¹⁹⁸ От английского *truck* – грузовой автомобиль.

¹⁹⁹ Илиягу Бен Хорин (1902–1966), деятель ревизионистского движения в Палестине.

²⁰⁰ Арье Лейб Маклеф (1876–1929) приехал в Палестину из Гродно в 1891 г. Арабы убили его жену Батью Хаю (1877), их сына Авраама (1907), дочерей – Минну

дикие слухи об участии Тель-Авива. Засыпая на стуле, он говорит: «Моя ближайшая статья будет называться «Я убил», пусть меня за нее англичане посадят в тюрьму».

* * *

Моя квартира уже несколько дней напоминает собой один из полевых штабов. Так как почти нет оружия, сюда сносятся и здесь раздаются толстые палки с вбитыми в них гвоздями тяжелые бутылки с песком, и здесь же они передаются дальше. Через окно я вижу, как тащит сын Альтшуллера – Тараса Бульбы – что-то вроде оглобли – это его оружие. Я вдруг начинаю видеть людей другими, чем они видели еще так недавно самих себя. Те, кто разыгрывал из себя «зверей» в строю, непоколебимых начальников, лежат на кроватях и чуть ли не с холодными примочками на лбу, другие, которые казались такими робкими, демонстрируют чудеса храбрости. Ничто так не смывает с лиц психологический грим, как опасность. И вдруг неожиданность: двое, которые в обычное время не были бы в состоянии убить мухи, под странным секретом сознаются мне, что вошли в такое бешенство, что, ворвавшись в арабский дом, перестреляли всю семью, в том числе женщин и детей. Я смотрю на них – они говорят правду, их лица мертвецки бледны; я слушаю их исповедь, и я ее не понимаю.

* * *

Вайзель²⁰¹ тяжело ранен, прободение легкого и общее заражение. Тут я вспоминаю, что, прощаясь со мной накануне отъезда в Иерусалим, он мне сказал: «Еду сражаться за Стену Плача, мы ее не сдадим муфтию. Но завтра меня там убьют...» Он мне сказал это так просто, как если бы дело шло о его ближайшей статье или реферате. Это было не первое его сражение за Стену Плача. У этой Стены, одетый в молитвенный талес, он вместе с группой евреев вступил в потасовку с английской полицией, которая вдруг начала наводить здесь, в угоду муфтию, новый порядок. Дело кончилось в кабинете генерала Сторрса, губернатора Иерусалима²⁰². Вайзель, не снимая талеса, громко стучал по столу перед носом этого римского Петрония. В результате растерявшийся Сторрс, узнав, что Вайзель одновременно и корреспондент американской прессы, пригласил его посетить английское военное судно, и на следующий же день. Тогда же, у той же Стены

(1905) и Ривку (1910). Оставшийся в живых Мордехай (1920–1978) впоследствии возглавлял Генеральный штаб Армии Оборона Израиля (1952–1953).

²⁰¹ Вольфганг (Зев) фон Вайзель (1896–1974), врач и писатель; деятель ревизионистского движения.

²⁰² Роберт Сторрс (1881–1955), военный губернатор (1917–1920) и комиссар (1920–1926) Иерусалима.

Плача, некто С. отпустил какому-то зазнавшемуся арабу звонкую опещину. Этим арабом оказался иерусалимский муфтий Джамиль Эль Гусейни²⁰³. Если бы это знал тот же С., то он отпустил бы ему две оплеухи сразу. Теперь Вайзель между жизнью и смертью.

* * *

Четвертый день кровавых событий. Еврейский Хеврон перестал существовать. Десятки изувеченных трупов. Начальник английской полиции в Хевроне получает от английского короля медаль, и в срочном порядке. Какую роль играет при этом наш полковник Киш? В политике, как в медицине, кровопускание должно быть частичным и строго размеренным. Если подняться на крышу, то, должно быть, можно увидеть прибывающее из Мальты военное судно. Я поднимаюсь на крышу. Вдали белеет корпус военного судна. Это – «голубь мира». Мой сын, которому семь лет, говорит мне: «Зачем евреям нужна Палестина, она такая маленькая, они должны лучше взять Сирию, она больше...» Он в эти годы увлекался географическим атласом.

Моего младшего брата Элиезера, неожиданно и к своей радости, наша семья встретила в Палестине. Он опередил нас больше, чем на год. Я не видел его с тех пор, когда в дни объявления войны 1914 года помог ему в Мюнхене захватить место в поезде, шедшем к русской границе и набитом немецкими резервистами.

Он пробыл в Баку недолго и потом с большими приключениями, через Балканы, вернулся в Цюрих заканчивать свое образование в политехникуме. Гражданская война в России прервала с ним связь, и мы все около четырех лет не имели о нем никаких сведений. Студент-иностранец в Цюрихе, не получающий из дому денег, – немалая трагедия, в особенности если иметь в виду холодную во всех отношениях Швейцарию и гордый и независимый характер моего брата, который никогда не искал бы помощи со стороны. И он действительно пробил себе путь к благополучному окончанию политехникума самым необыкновенным путем. Он основал в Цюрихе нечто вроде вечерней школы математических наук для неуспевающих студентов Южной Америки. К его счастью, они оказались там в количестве, обеспечившем его жизнь и даже плату за обучение.

Одна из самых комических историй, которую мне пришлось от него слышать об этом периоде его жизни, заключалась во внезапном приглашении, которое он вдруг получил от бакинского миллионера Р., случайно попавшего в Цюрих. Приглашение было на обед в одном из самых шикарных отелей города. В результате этого милостивого гостеприимства мой брат сам должен был оплатить свой счет за обед, который равнялся его недельному заработку. Миллионы часто пропорциональны скупости. Мой брат, у которого был веселый характер и

²⁰³ Хадж Амин эль-Хусейни (1893–1974), лидер националистического движения палестинских арабов.

широкая натура, чуть было не предложил этому Р., принявшему в его судьбе столь «сердечное» участие, расплатиться и за него. Он охотно простил миллионеру эту бестактность. Но когда впоследствии брат столкнулся с этим самым Р. в Палестине, он неизменно сохранял в беседе с ним едва уловимую ноту превосходства.

Мой брат приехал в Палестину не один. С ним вместе сюда стекались люди третьей *алии*. Во многих отношениях она была гораздо более интересная и красочная, чем вторая, состоявшая большей частью из эгоистичных, узколюбых фанатиков-профессионалов от политики. Мой брат и его товарищи – адвокат Беньямини, инженер Тувим, адвокат Фарбштейн, агроном Бравый и многие другие, засучив рукава работали месяцами на прокладке *квншей* под палящим солнцем. Они не делали из этого для себя никакой рекламы или идеологии и не ложились тяжелым непосильным бременем на тощую сионистскую кассу из собираемых по всему свету медяков. Им было весело и радостно в этой добровольно избранной роли чернорабочих. Таких, как они, тогда в стране были сотни. Вторая *алия* же разыгрывала из себя аскетов, уделяла собраниям столько же внимания, сколько и работе, и всегда ораторствовала о приносимых ею непосильных личных жертвах. Все ее мысли были заняты вопросами социального обеспечения – вне зависимости от трудоспособности. Люди третьей *алии* ненавидели собрания, верили в то, что наилучшее обеспечение будущего – вера в собственные силы. Они никому не приносили жертв, кроме как самим себе, и это обходилось дешевле. Они не были сухими идеологами, а всего лишь ее величества истории спортсменами.

В этом отношении не было никакой разницы между моим братом и тем самым Ярдени, который полуголым приехал на одном пароходе со мной в Палестину. Вместо тупого, всенивелирующего коллективизма их кумиром был полный личного напряжения красочный индивидуализм. Ярдени как-то мне сказал: «Я тоже хочу в киббуц, но он будет у меня дома, я буду иметь десять детей... И это будет мой киббуц!» И он почти достиг этой предельной для него цифры семейного коллективизма.

Тайна – художественная тайна – третьей *алии* затерта саморекламой второй. Я пытался ее спасти в своей повести «Ярдени», но она по многим причинам осталась незаконченной. И это жаль, потому что именно люди третьей *алии* в гораздо большей степени характеризуют наш положительный национальный тип, чем все те десятки тысяч партийных и хозяйственных *шнореров*, которые в геометрической прогрессии расплодила вокруг себя вторая *алия* по рецепту *халуки*, давность которому четыреста лет. Теперь она почему-то присвоила себе гордое имя «социализма».

Карьера моего брата только иллюстрирует это положение. После шоссе Хайфа-Назарет он принял участие в строительстве фабрики Шеман и возводил первый волнорез в Хайфской гавани. Потом занялся планировкой больших участков земли, которые приобретались Геулой при большом личном давлении с его стороны. Он помнил, как смеялся Хяц Давид над этими акулами – и они не были ему так смешны. Он удвоил Тель-Авив своего времени, присоединив к нему кварталы Бецалель, Шеулу и весь *лев* [сердце] Тель-Авива. Колония Бней-Брак – дело

его рук и его воображения. И Тель-Бенъямин, и Рамат-Ган, где имеется улица его имени. У меня в квартире он купил на свой собственный страх и риск Ханиту²⁰⁴, вручив молчаливому шейху как задаток свои личные пять тысяч фунтов, рискуя потерять их целиком. И, действительно, чуть не потерял свои деньги, потому что все ответственные сионистские инстанции категорически отказались принять у него эту покупку, которую он считал стратегически необходимой.

То, что его влекло к этой земле – близость границы с Леваном, всех остальных пугало, в том числе и самого Вейцмана. Мой брат остался победителем: Ханита была куплена, наконец, Национальным Фондом и сыграла свою историческую роль именно в дни освободительной войны, но уже тогда, когда его не было в живых. Он первый явился на это место перенимать землю у арабов, несмотря на большую личную опасность. Но ревнивая вторая *алия* не позаботилась о том, чтобы сделанные при этом фотографические снимки попали в альбом той же его Ханиты, несмотря на то, что они были и в ее распоряжении. Еще одна маленькая иллюстрация к одной большой повседневной фальсификации. Я не перечислил здесь и пятой доли того, на что уходила энергия этого моего брата, постоянно занятого вопросами водоснабжения, парцелляции, приобретением земельно-стратегических позиций. За несколько дней до его смерти Рутенберг отверг подготовленную им покупку Шейх-Джераха в Иерусалиме, который обеспечивал евреям свободный доступ на Скопус.

У многих людей третьей *алии* были такие же размах и воля к большому творчеству, как у моего брата. Одним из них был Вальтер Мозес, который оставил Тель-Авиву одну из самых богатейших в мире археологических коллекций финикийского стекла стоимостью в пару миллионов долларов, причем он сам был человеком среднего достатка.

И это не случайность, что именно моему брату Элизеру, столь чуждому крикливой партийной позы, пришлось в голову основать эту таинственную ложу 26-и, в которой многие из этих могикан третьей *алии* могли дышать свободно горным воздухом больших принципов и больших дел, в противовес мелкому торгашеству и продаже в розницу тех же принципов многими остальными. Здесь, в этой ложе, впервые шел бой за принцип *тоцетет Гаарец*²⁰⁵, выдвинутый упрямым Вальтером Мозесом или за проект тель-авивской гавани, выдвинутый инженером Тувимом. Ложу интересовало все, вплоть до поднятого Розовым вопроса о задержке постройки шоссе на дороге Тель-Авив–Хайфа, которую англичане, обманывая евреев, решили, при почти полном равнодушии *Ва'ад Галеуми*, провести через Дженин, минуя даже Петах-Тикву.

Если все это может служить некоторой иллюстрацией нравов того времени и той среды, в которой мы все тогда вращались, то хотя бы уже поэтому заслуживает упоминания. Люди, стоявшие у кормила еврейского представительства, казались нам всем неисправимыми провинциала-

²⁰⁴ Ханита – кибуц в Верхней Галилее у границы с Ливаном (основан в 1938 г.).

²⁰⁵ Произведено в стране (иврит). Речь идет о поощрении местной промышленности.

ми, невежественными в самых элементарных вопросах общественного благополучия, лживыми эгоистами, развращенными бесконтрольным поступлением денег из-за границы. Большие герои маленького местечка, несущие с собой повсюду удушливый запах гетто... Мы недооценили их жадности к власти любой ценой и всеми средствами, что было их тайным непобедимым оружием.

На этот дефицит политической культуры я обратил внимание во время моего пребывания в Иерусалиме. В госпитале моя роль сводилась к положению сестры милосердия в штанах, и у меня много было времени для размышления и для моих корреспонденций из Палестины в «Рассвет». Напрасно я убеждал себя в том, что я, по-видимому, переживаю неизбежную фазу каждого новоприбывшего, не получившего должное удовлетворение своим амбициям. Мой отец спокойно переносил тот суровый экзамен нашей трудоспособности, который нам учинила новая страна. Отец был, наконец, рекомендован на пост колониального врача в Реховоте. Он начал здесь с «Маштагов». На этот раз без лошади, и в пожилом возрасте, он мерял своими ногами те же дюны, что и на Апшероне. И мать снова попала в общество кур и сельского обихода и очень гордилась тем, что один из ее гусей ходит за ней по колонии как настоящий паж и проявляет мыслительные способности, достойные профессора.

Тогдашние заправилы, в большинстве новички в деле организации медицинской помощи, «самоназначенцы», чтобы не ставить самих себя в неловкое положение, исповедовали теорию, что старые врачи уже успели все позабыть и поэтому все директорские посты должны быть по преимуществу предоставлены зеленой молодежи. Результаты этой опасной теории тут же сказались в массовых выписываниях сальварзана как панацеи при малярии. Я и отец с нашим опытом Кавказа с его миллионными случаями малярийных заболеваний, сами неоднократно перенесшие эту болезнь, с ужасом наблюдали все эти эксперименты во славу новой самодельной науки. К счастью, года через три молодые заведующие госпиталиями, несмотря на свое классовое самосознание, а иногда уменье танцевать хору, вернулись к старому хинину. Моему отцу просто не стеснялись давать понять, что он слишком стар, чтобы занять ответственный медицинско-административный пост. Он был всего только в своей жизни школьным, карантинным, эпидемическим, железнодорожным, сельским, военным, тюремным и лазаретным врачом и принимал не менее шестидесяти больных в день – этого было мало. Он не танцевал хору, и особенно этой салонной хоры в кабинетах *халуцов* новой невежественной администрации. Тут же на его глазах директором самого большого медицинского учреждения был назначен врач, который имел шестимесячный врачебный стаж. Но он безропотно переносил эту свою судьбу.

Дело было не в амбиции, а в чем-то более серьезном. Рыба воняла с головы. Напрасно также я старался себя убедить в том, что мое критическое отношение ко всему, что мне приходилось наблюдать, есть все та же старая «палестинская болезнь», над которой я сам потешался в детстве при первом посещении Палестины. Все обвиняют всех

вокруг, кроме самих себя. Я не долго был в Иерусалиме – всего девять месяцев, но я успел поставить диагноз: «граммофон испортился». Так называлась юмореска, помещенная Иоганом Байром, моим старым приятелем, в «Рассвете». Чопорное еврейское общество приглашает на *парти*²⁰⁶ в саду еще более чопорных английских чиновников, и вдруг *панчер*: нет танцев, так как граммофон испортился. И нет других тем для взаимного контакта, как не может быть между баранами и козлами. В своих корреспонденциях в «Рассвет» я высмеивал это невежественное еврейское представительство, которое ничем не интересовалось, как только своими «ад гом»²⁰⁷. Я не встретил ни одного человека, который хотел бы что-либо слышать о важности покровительственных таможенных ставок для развития индустрии, о пагубной системе сертификатов вместо общепринятой системы индивидуальных аффидевитов, о том, что окончание *кадастра*²⁰⁸, который англичане затянули больше чем на двадцать лет, – искусственный тормоз для наших земельных покупок, и, как это ни дико теперь звучит, – туризм, спорт и археология были мелочами жизни, в которых уважающие себя политики не могут видеть серьезной национальной символики. Мозги этих салон-сионистов были опьянены присутствием Герберта Самуэля²⁰⁹ – «еврея на иерусалимском престоле», – и не видели того, как у них из-под носа выкрадывается одна позиция за другой.

К Жаботинскому меня тянула не только его политическая программа, а прежде всего его политическая грамотность. Он был нормальным человеком, Гулливером по отношению ко всем этим лилипутам. На мои корреспонденции обратили внимание, «Рассвет» в Палестине расхватывался. Жаботинский мне как-то сказал: «На Вас многие жалуются за Ваши письма из Палестины. Я сам не знаю, что Вы пишете: это не корреспонденции, это не фельетоны, это не эссе, это черт знает что... Но пишите Вы хорошо, и поэтому прошу Вас писать дальше».

Представитель экзекутивы полковник Киш, познакомившись с содержанием этих же статей, пришел к прямо противоположному мнению: особенно его задевало мое полное пренебрежение к философским талантам наместника Герберта Самуэля и к той операции, которой он подвергся на седьмой день своей жизни. Для меня он был первый в этой *Хевра Кадиша* сионизма.

К моему удивлению, он вызвал меня к себе. Беседа была очень забавная. Он меня пытался направить на путь истинный и даже наизусть цитировал чуть ли не целые страницы из Ахад-Гаама – в доказательство своей лояльности к сионизму. Я никак не мог отделаться от

²⁰⁶ От французского слова *partie*: прием, вечеринка, в которой участвуют две супружеские пары.

²⁰⁷ От английского *at home*: у себя, в своем доме; здесь: «свои», «домашние».

²⁰⁸ От франц. *cadastre*: роспись земельной собственности; имеется в виду описание земельных ресурсов Палестины.

²⁰⁹ Герберт Луи Самуэль (1870–1963), верховный комиссар Палестины в 1920–1925 гг.

впечатления, что если бы этого Киша с его прошлым в Интеллидженс²¹⁰ послали бы в Судан, то он с таким же пафосом читал бы каждому *псуким* [стихи] из Корана. Когда он заметил, что моя крамола неисправима, он, улыбаясь, назвал меня «консулом Жаботинского», и был прав, так как я был тогда не только первым, но и единственным ревизионистом в стране. Тогда генерал Сторрс, издеваясь над аляповатостью Усышкина, рассказывал всему Иерусалиму, что в его честь на званом обеде была подана английская соль.

Киш хотел меня сразить «английским сахаром», удостоив личной секретной аудиенции в своей квартире – с виски и английскими папиросами. Но мы не нашли общего языка. Смотря на него, я почему-то вспомнил ту маштагинскую кошку, которая так неудачно была посажена на куриные яйца. Киш был такой же политической кошкой. Его все кругом считали очень глупым, я с этим никогда не соглашался. Он был достаточно умен, чтобы именно тех, которые его считали глупым, самих превращать в глупцов. Глупость тоже понятие относительное. Впоследствии эта моя теория подтвердилась. Когда до меня дошел слух, что сейчас же после Хевронского погрома Киш передал секретарю правительства Луку²¹¹, главному виновнику погрома, копии всей секретной переписки *Сохнута* с его лондонским отделом, я был взбешен. Я обратился к моему другу Кастелянскому, который тогда состоял экономическим экспертом *Сохнута*, и сказал коротко: «Киш – предатель!» На это Кастелянский, встав с места и открыв заднюю дверь кабинета, впустил в него хорошо знакомого мне человека. При этом он сказал: «Доктор о Кише того же мнения, что и Вы». Этим вошедшим был родной брат Хаима Вейцмана.

Не менее любопытен и второй эпизод. Это было тогда, когда я состоял членом *Va'ad Galeumi*. На одно из его заседаний Киш в своем портфеле принес и огласил только что изъятый им из правительственной типографии закон, подлежащий немедленному опубликованию. Закон о Стене Плача. Все почтенное собрание было польщено этим доверием, которое ему оказывает дипломатический атташе, допуская такую индискрецию, как оглашение еще не изданного закона. Но я сразу почувствовал обман. Закон начинался словами: «После получения согласия арабского Национального комитета, представляющего мусульман всего мира, и еврейского *Va'ad Galeumi*, представляющего палестинское еврейство... промульгируется...» Дальше шли параграфы, регламентирующие еврейскую молитву у Стены Плача, открывающие широкую возможность для всяких придинок, напр<имер>: нельзя оставлять в расщелинах Стены петиционные записочки к Богу, свечки и все в таком роде. Я понял, что Киш уже ранее обещал правительству безусловное согласие на этот закон со стороны *Va'ad Galeumi* и теперь действует нахрапом, рассчитывая на эффект своей «индискреции». Провал этого и всякого другого закона правительства о Стене Плача обозначал бы дискредитацию англий-

²¹⁰ От английского *Intelligence Service*: разведывательная служба.

²¹¹ Гарри Чарлз Лук (1884-1969), секретарь губернатора Иерусалима (1920-1924) и Первый секретарь британской администрации в Палестине (1928-1930).

ской политики в Палестине. В этом случае вступали бы в силу параграфы, предусматривающие присылку в страну нейтральной третьей комиссии под председательством Швеции. В этом случае все эти поощряемые властью нападения арабов на евреев не окупились бы и действовали бы как бумеранг на головы все тех же англичан. Для меня было ясно, что Киш спасает Англию от вмешательства Швеции в этом щепетильном вопросе – какими мерами культурное правительство обеспечивает свободный доступ к святым местам, если оно само не заинтересовано в разжигании национальных и религиозных распрей своих подданных. Я пытался это объяснить своим почтенным коллегам по *Va'ad Galeumi*, но для них это казалось китайской грамотой. Я был в отчаянии – они слепо шли в расставленную им Кишем западню. Возможно, что взамен обещались лишние сертификаты или денежные выдачи на помощь безработным, иначе я никак не мог объяснить себе поведение на этом заседании членов Рабочей партии. Тогда я пустился на хитрость и стал критиковать детали закона: «записочки», «свечки». Это произвело сильное впечатление, особенно на *мизрахим*²¹². И они присоединились к моему бунту: «Не хотим этого закона! Не дадим согласия!» Киш проиграл сражение, он должен был бросить в корзину принесенный им закон, уже готовый к печати. Он был бледен и зло смотрел в мою сторону. Он был прав: я его не щадил в своих выступлениях, спрашивая в них с недоумением: «Кого, собственно, в этой стране представляет полковник Киш – председатель Иерусалимской экзекутивы, назначенный на этот пост Хаимом Вейцманом?»

Но на самом деле, у меня к нему лично не было никаких претензий. Он выполнял добросовестно ту роль, которая на него была возложена. Меня здесь, в этом *Va'ad Galeumi*, как и во всем вокруг, оскорблял только все тот же дефицит политической культуры. И чтобы еще больше пояснить эту мысль, я привожу еще один довольно комический случай, относящийся к тому же периоду.

После погрома англичане для успокоения умов прислали в Палестину некоего полковника Канига, героя войны берберов против французов в Северной Африке и поэтому несомненного друга арабов. Арабы действительно встретили его торжественно – коврами, цветами, восторженными криками, но только в Луде, где он вышел из вагона поезда. В Яффе встреча была уже более прохладной. Суровой в Назарете. И в Цфате почтенного героя встретили ругательствами и даже градом камней. Арабы просто догадались, зачем приехала сюда эта верная опора тайного английского Интеллидженса. Раскрыв через неделю газету, я обратил внимание на то, что осиротелый Каниг встретил другого английского полковника из той же Интеллидженс и мирно разъезжает с ним по стране, посещает все еврейские стратегические пункты и дает советы, каким образом их укрепить. Этим вторым полковником был наш Киш. Один представлял арабов, другой евреев, дружба между обоими нациями торжествовала победу. Со мной случился припадок

²¹² *Мизрахим* (иврит) – восточные. Речь идет о евреях – выходцах из стран Востока.

смеха – одна рука того же Интеллидженса пожимала руку другому. Но мой смех быстро прошел, когда я понял, что арабы поняли то, что не в состоянии были понять евреи, которые охотно открывали этим двум гостям свои маленькие военные тайны, так как больших у них никогда не было.

Я расстался с Иерусалимом без сожаления. Я чувствовал себя в той комнате, в которой жил в госпитале, вдали от жены и сына, которые были вместе с отцом в Реховоте, как в тюрьме, и вышел из нее в еврейское общество, как если бы это было собрание политических кокаинистов. Моим другом был старый американский журналист Котлер, который один раз огорошил меня тем, что показал мне мой этюд «Штаны араба», переведенный на идиш и напечатанный в американской газете под незнакомым именем. Он был удивлен, что эта литературная кража не только меня не огорчила, но, напротив, как бы подбодрила: есть, значит, что красть.

Вторым моим другом был профессор Должанский²¹³, с которым я работал. Он был «мой»: воевал со всеми, повсюду и всегда, несмотря на свои семьдесят лет. Когда я уехал из Иерусалима, у меня в кармане было выданное им, как председателем медицинского общества, полномочие приступить в Тель-Авиве к изданию научно-медицинского журнала «Гарефуа». Я оправдал его доверие и вместе с моими коллегами первые номера этого органа издал в Тель-Авиве. Ему импонировала моя энергия.

В этот момент я испытал приблизительно то же, что на Урале, в гостях у дяди Леонида, когда мне было тринадцать лет. Он – широкоплечий гигант, заведовал соляными копиями в Илецкой Защите, месте, прославленном восстанием Пугачева. У него за столом к ужину сидело, считая всех его детей и прислугу, не меньше тридцати человек. И среди них – однажды случайно заехавший начальник ташкентской дороги с красавицей дочкой, на три года старше меня. Пили кумыс, и от его алкоголя кружилась голова. Я упорно избегал смотреть в сторону красавицы. После ужина дядя отдал мне и своему старшему сыну приказ взять фонари и провести гостей к специально поданному для них поезду. Стоя на ступеньках вагона, девушка вместо того, чтобы подать мне на прощание руку, как это она сделала по отношению к моему двоюродному брату, отпустила мне без всякой видимой причины звонкую пощечину. Я был счастлив: она заметила мою игру в «невнимательность». Это была не пощечина, это был комплимент. Я сказал Котлеру: «Это не плагиат, это комплимент...»

²¹³ Яков Должанский (1864–1928), профессор медицины; в Палестине с 1921 года. См. о нем в журнале «Солнечное сплетение» (Иерусалим), № 16-17 (2001), сс. 181–198.

НОВЫЕ ВОРОТА

Наталья ЭТИНГОФ. «Портреты сухой кистью» [Рассказы]. – Иерусалим, «ALPHABET», 2000.

Мемуарной литературы все прибавляется на полке, а интерес к ней не ослабел. Оправданность этого интереса подтверждает и новая книга – «Портреты сухой кистью» Натальи Этингоф. Ее воспоминания печатались и ранее, в 90-е годы, в журналах. Теперь перед нами книга о ее близких: «Мне хотелось, чтобы их жизнь продолжалась не только во мне! И тогда я начала писать эти портреты, надеясь хоть как-то сохранить черты дорогих мне людей, их судьбы – такие разные и в чем-то схожие, ведь жили они в страшное и горькое время, именуемое теперь «сталинской эпохой» (из предисловия).

Перипетии частных человеческих жизней разворачиваются, переплетаясь и с центральными событиями, и с течением обыденной жизни тридцатых-сороковых. Из естественного соединения бытовых подробностей и политической ситуации складывается представление об эпохе. Загадочная «сухая кисть» – тоже черта эпохи. Оказывается, эта живописная техника, о которой автор рассказывает с юмором, помогла выжить множеству людей, подобно ей самой и ее отцу, уволенных и исключенных отовсюду! Они стали писать кабинетные портреты вождей – официальный спрос на них был велик, а именно «сухая кисть дала нам возможность печь портреты с необыкновенной скоростью», – признается автор. Но и тут роковая грань 58-й статьи подступала совсем близко: вот у юной Наташи в хорошо сделанном на первый взгляд портрете Сталина вдруг проступает хищная тигриная морда... Не исчезает и в следующих попытках, словно наваждение. Приходится «переквалифицироваться» на К. Е. Ворошилова...

Наталья Этингоф – театральная режиссер, выпускница ГИТИСа, участница художественной жизни Москвы и других городов, у нее интереснейший опыт, и в ее рассказах отразилась историко-культурная ситуация тех лет. Интонация естественна и убедительна – она стремится рассказать, как всё было *тогда*. Прекрасной рассказчице это удается, мы ощущаем: люди *тогда* так думали, *тогда* так понимали.

В разворачивающемся повествовании мы постепенно знакомимся и с богатой личностью самого автора, с духовными ее истоками. Она рассказывает о своей работе в театре, открывает «тайны ремесла» с такой увлеченностью, которая захватывает и нас, читателей. Это очень тепло написанная книга, ее теплом постепенно проникаемся и мы, невольно входя в подробности далеких судеб. К настроению и тону абсолютно применимы строки Жуковского: ««О милых спутниках, которые наш свет / Своим сопутствием для нас животворили, / Не говори с тоской: их *нет*, / Но с благодарностию: были». Доброта исходит и от ее героев. Почти всегда перед нами одна и та же история – как в бесчеловечных условиях люди оставались людьми: «тетя Маша» и «тетя Женя» – сестры Мухаринские, историк и поэт Лев Андреевич Ельницкий («История ополченца»), Учитель – режиссер Василий Григорьевич Сахновский, – «пронесшие свет в своих душах до

самого конца», как пишет автор. Людьми, совместившими в себе разные эпохи, предстают в книге писатель Александр Серафимович и Евдокия Никитина, хозяйка знаменитого салона «Никитинские субботники».

Прошлое вышло многослойным, уходя порою к отдаленным истокам – к детским годам родителей, отрывочным впечатлениям собственного детства. Главы об отце получились подлинно аналитическими, глубоко психологическими, – тут, кажется, не без влияния его сложной и неординарной личности талантливого человека. Автор хорошо чувствует людей, потому так интересно читать, например, рассказы о студенческой юности. Перед нами история духовного и душевного становления молодого человека: обстановка и веяния времени, быт, столкновения разнонаправленных влияний в студенческой среде. Наталия Этингоф тонко передает особенности самоощущения своих современников. Всё это с напряженным драматизмом выступает, например, в рассказе о нелегкой судьбе ее подруги Саши.

В книге много динамики, остроты, великолепно построенных диалогов, удачных деталей. Характеры всегда выразительно очерчены, даже эпизодические. Мне кажется, влияние профессии, привычка к действенной работе с драматургией, составляет самое оригинальное качество повествовательной манеры Наталии Этингоф: «люди и положения» описываются в книге еще и глазами режиссера.

Книга «Портреты сухой кистью» убеждает, что те приметы времени, которые, может быть, иной раз кажутся незначительными, «мелкими», «частными», «субъективными», – очень важны на самом деле: без них картина эпохи безжизненна, бесцветна и, в общем-то, безлика.

Стилистика книги отражена и в прекрасном оформлении и иллюстрациях художницы Маши Айнбиндер.

Валентина Брио

Виктор ГОЛКОВ. «ПО ТУ СТОРОНУ СУДЬБЫ» [стихи] – Тель-Авив, «БИБЛИОТЕКА МАТВЕЯ ЧЁРНОГО», 1996.

Многие лучшие тексты Виктора Голкова восходят чуть ли не к вертинской романсовости:

*Боли нет в прощанье запоздалом
и надежды не заметно в нём.
Жизнь как будто небо над вокзалом
залита серебряным огнём.*

Причем романсовая подоплека первых двух строк адекватно выражает один из главных и стимулов, и мотивов творчества автора – ностальгии. Необходимо отметить, однако, что ностальгия эта продуктивна и не скучна. Она как сладкий дым оставленного в прошлом прошлого, которое, по меньшей мере, источник искусства, а в сущно-

сти – источник нас самих. Глубокая укорененность поэта в российской культуре продуцирует другой компонент его поэтической речи – русскую народную песенность с ее частым пренебрежением логической четкостью ради чувства, имеющего быть выраженным:

*Косила старый город
железная коса,
и сажей белый ворот
испачкала роса.
Торжественно вещали
о прошлом дорогом
и медленно нищали
на сотню верст кругом.
И струи дыма эхо
переходило вброд...
И ширилась прореха
у городских ворот.*

Уверен, что Голков не пользуется вышеозначенными интонациями в качестве сознательно применяемого приема, да и вообще не вымучивает стихи; они у него, наверняка, плод вдохновения, поиска Б-га «только когда Он рядом». Автор в подавляющем большинстве случаев не сбивается. Речь его свободна, равно значительна и в высоком, и в низком стилевом строе.

Некоторая неровность в подборе текстов позволяет предположить, что у автора просто «рука не поднялась» на давнишние вещи, стесненность же в средствах повлекла крайнюю простоту полиграфического исполнения, парадоксальным образом расширившую объем книги.

Виктор Голков, обходя соблазны стилистических наворотов, идет по пути «впадения» в ту самую «неслыханную простоту» и гармоническую точность, которые в последнее время вновь возвращаются на подобающее им место в списке приоритетов русской поэзии. Кажется, авангард достаточно расчистил (от самого себя в том числе) пространство для подобного обновления.

Дмитрий Байдак

ШАТЕР КНИГИ

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2000 году¹

Иерусалимский журнал №№ 3-6. [Журнал израильской литературы на русском языке]. Иерусалим: Издание творческого объединения «Иерусалимская антология». Подготовка к печати: Скопус. – 288 с. Тел. 972-2-6434005, 972-2-6432962, 972-2-6720025, 972-54-745322.

Горенко Анна. Стихи. Библиотека журнала «Солнечное сплетение». Составитель: Евгений Сошкин. – Иерусалим: Beseder Ltd. – 80 с. Тел. 972-2-6232852.

Кафка Франц. Процесс. [Ил. Л. Эйдус: 32 цв. ил.] – Иерусалим: Филобиблон. – 292 с. Тел. 972-2-6769388.

Рахматуллаев Джамал. Обретение истины. Книга памяти. [Кино-сценарии, письма, фотографии]. – Иерусалим: Скопус. – 158 с. Тел. 972-2-6432962.

Ришон. [Альманах литературного клуба. Шеф-редактор и составитель: Геннадий Седов]. Ришон ле-Цион: издание литературного клуба. – 198 с. Тел. 972-3-9675690.

Ротенберг Вадим. «Образ Я» и поведение. Иерусалим: Культурно-религиозный центр для евреев из России – МАХАНАИМ. – 232 с. Тел. 972-2-6256006.

Словарь пословиц и поговорок на семи языках. [Русский-английский-немецкий-французский-испанский-итальянский-латинский]. Составитель: Исай Золотницкий. – Иерусалим: Филобиблон. – 248 с. Тел. 972-2-6769388.

Яблонович Исаак. Незабываемое прошлое. [Воспоминания]. – Иерусалим: авторское издание. – 104 с. Тел. 972-2-5854783.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2001 году²

Беркович Михаил. Берега. [Стихи, эпиграммы, пародии]. – Иерусалим: авторское издание. – 240 с. Тел. 972-8-6736821.

Валье Натали. Зеркало Симоны. [Роман; обложка: Галина Блейх]. – Иерусалим: Verba publishers. – 352 с. Yakinton St. 573/25, Jerusalem 93844. Тел. 972-2-6453110. E-mail: natvale@yahoo.com

Гиора Хагит. Ближневосточные сказки. – Иерусалим: ЛИРА. – 256 с. Тел. 972-2-6719203.

Голков Виктор. Парад теней. [Стихи]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 84 с. Тел. 972-3-6316469.

«22». №№ 119-122. [Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле]. – Тель-Авив: Москва-

¹ Начало списка см. в №№ 7–9 «Иерусалимского журнала».

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1–3 «Иерусалимского журнала»; в 1999 году – №№ 4–8.

² Начало списка см. в № 9. Продолжение списка – в следующем номере.

- Иерусалим (подготовка к печати: Меркур). – 224 с. Тел. 972-3-7394525.
- Закошанская Л.* Мир музыки для детей: В звуках, картинках, рассказах, стихах и сказках. [Цв. ил. (вкл. «Блокнот»: воспроизведение текстов, записанных на 2-х компакт-дисках, прилагаемых к книге)]. – Иерусалим: Филобиблон. – 164 с. Тел. 972-2-6769388.
- Замский Женя.* Мои друзья – компьютер и Интернет. Книга для детей и родителей. – Иерусалим: Скопус. – 104 с. Тел. 972-2-6424072.
- Каминский Юрий.* Мгновенья света и свирели. [Стихи; дизайн: Иван Лангбурд]. – Холон: Мория. – 172 с. Тел. 972-3-6591887.
- Катулл Гай Валерий.* 33 стихотворения. [Пер. Рахели Торпусман; Ил. Зелия Смехова]. – Иерусалим, Филобиблон. – 92 с.: Тел. 972-2-6769388.
- Лезинский Михаил.* Люди и звери. [Проза]. – Иерусалим: S-press. – 176 с. Тел. 972-4-8629149.
- Марина и Даниэль.* Объять необъятное... [Рисунки: Эфраим Аелов, Марк Вчерушанский]. – Петах-Тиква: DANINAR. – 240 с. P.O.Box 2115, Petah-Tikwa 49120, Israel. Тел. 972-9-8650724.
- Мойбер Светлана.* Кружение. [Стихи и рисунки]. – Иерусалим: авторское издание. – 80 с. Тел. 972-2-5389071.
- На крыльях хрупких вдохновенья.* [Поэтический альманах]. Общество взаимопомощи онкологических больных в Иерусалиме «Любовь к жизни». – Иерусалим: Скопус. – 112 с. Тел. 972-2-5857753.
- Островский Матвей.* В поисках танахического. [Сборник статей]. – Иерусалим: авторское издание. – 104 с. Тел. 972-2-6432962.
- Сухарев Дмитрий.* Холмы. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. «Библиотека Иерусалимского журнала». – 160 с. Тел. 972-2-6432962.
- Сыркин А. Я.* Пути персонажей и авторов (Толстой, Достоевский и другие). – Иерусалим: Филобиблон. – 248 с. Тел. 972-2-6769388.
- Трахтман Э.* Кризис. Свидетельство участника. [Воспоминания]. – Ариэль: авторское издание. – 114 с. Тел. 972-3-9068650.
- Тыктин Нахум.* Карусели. [Стихи]. – Иерусалим: авторское издание. – 112 с. Тел. 972-4-6974312.
- Френкель Владимир.* Размышления в пустом кафе. [Стихи]. – Иерусалим: Филобиблон. – 88 с. Тел. 972-2-9990106.
- Ханан Владимир.* Однодневный гость. [Стихи]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 202 с. Тел. 972-2-6793507.
- Черкасский Леонид.* Я рядом с корнем души успокою. Монологи востоковеда. [Мемуары]. Иерусалим: Скопус. – 240 с. Тел. 972-9-7450307.
- Чечик Феликс.* Прозаизмы. [Стихи]. – Иерусалим: Скопус. – 96 с. Тел. 972-9-8658066.
- Шмуэль Сэкрит.* Таинство звуков. [Сборник стихотворений]. Иерусалим: авторское издание. – 84 с. Тел. 972-2-5860146.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

Издатели и авторы, желающие опубликовать в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, могут прислать эти сведения в редакцию.

ИМЕНА

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция – 1970, Иерусалим). Один из основоположников современной израильской литературы на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобелевской премии по литературе (1966). В Иерусалиме его именем названа улица в районе Гив'ат-Ораним; в районе Тальпиот находится дом-музей писателя; его архив хранится в Национальной библиотеке.

В «ИЖ» опубликованы рассказы Агнона «К отчему дому» и «Овадия-Увечный» (№№ 2, 5; перевод Светланы Шенбрунн) и «Союз любви» (№ 8; перевод Зои Копельман).

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Закончила филфак МГПИ. Репатрировалась в Израиль в 1991 году. Автор книг для детей, поэтических сборников и книги-альбома об отце – Меире Аксельроде (1993). Стихи Е. А. и ее переводы (с идиша и других языков) включены во многие антологии. Лауреат премии Союза писателей Израиля. Живет в Араде.

В «ИЖ» опубликованы подборка ее стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3) и рецензии на книги Юрия Шаркова (№ 5) и Якова Хромченко (№ 7). В Библиотеке ИЖ вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне». (2000).

Дмитрий БАЙДАК родился в 1966 году в Перми. После десятилетки отслужил в армии и поступил в местный университет на юрфак, откуда ушел через год. Провел полгода на истфаке. Работал на разных работах. Стихи публиковались в коллективном сборнике ОДЕКАЛ (Общество детей капитана Лебядкина) под редакцией В. Кальпиди и в альманахе ОДЕКАЛа «Штоф». Репатрировался в 1993 году. Автор книги стихов «Ветер полнолуния» (1999). Живет в Ришон-Леционе.

Илья БАЙБИКОВ родился в Москве в 1971 году, прожил там между Соколом и Полежаевской вплоть до репатриации (в 1991 году) в Израиль, где впервые осознал себя человеком, зависимым от литературы. Студент отделения славистики Еврейского университета в Иерусалиме. Помощник редактора журнала «Наш Скопус». Живет в Маале-Адумим.

Улдыс БЕРЗЫНЬШ родился в Риге в 1944 году. Изучал библейские тексты в Шведском теологическом институте в Иерусалиме. Переводчик ТАНАХа и израильских поэтов на латышский язык. Автор сборников «Памятник козе» (1980), «Неудавшееся покушение» (1991), «Похитители велосипедов» (1999) и др. Лауреат премии Балтийской Ассамблеи. Живет в Риге.

Илья БОКШТЕЙН (1937, Москва – 1999, Тель-Авив). Жил в Москве. В 1961 году был заключен на 5 лет в лагерь (Потьма, Мордовия). С 1972 года жил в Тель-Авиве. По его словам, «ничем, кроме сочинительства, не занимался». В Израиле вышла книга «Блики волны» (Мория, 1986). Около 50 публикаций в ли-

тературной периодике Израиля и других стран. Стихи включены в антологии русской поэзии «Гнозис» (1982), «У Голубой Лагуны» (1984), «Мулета» (1985), «Оксфордская» (1985 и 1990), «Поэт – Поэту» (1998). В «ИЖ» опубликованы его стихи (№ 3), переводы из Гейне (№ 5) статьи и заметки о нем – Леонида Финкеля (№№ 2, 3); Александра Верника (№ 3); Валерия Коренблита и Мины Лейн (№ 5). В *Библиотеке ИЖ* вышла книга Ильи Бокштейна «Быть я любимым хотел» (2001).

Валентина БРИО родилась в Витебске, много лет жила в Вильнюсе. Репатрировалась в 1990 году. Филолог, автор статей по истории русской и польской литературы и еврейской культуры Вильно. Сотрудник кафедры славистики Еврейского университета. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы рецензии **В. Б.** на сборник «Быть евреем в России» (№ 2); книгу Льва Лившица «Вопреки времени» (№ 5) и книгу Вениамина Клецеля и Зинаиды Палвановой «Иерусалимские картинки» (№ 8); статья «Иерусалимские стихи польских поэтов» (№ 9).

Сюр ГНОМ родился в 1955 году в Киеве. Был моряком, археологом. В Израиле приехал тридцать лет назад. Пишет с пятнадцати лет, почти не публиковался. Живет в Тель-Авиве.

Алиса ГРИНЬКО родилась в 1937 году в Москве. Окончила Московский авиационный институт (1960). Работала в НИИ. Автор книги прозы «Где кончается небо» (Москва, «Советский писатель», 1990; вышла под псевдонимом «О. Любимова»). Репатрировалась в 1999 году. Живет в Иерусалиме.

ДАРИЙ I, царь державы Ахеменидов (522 – 486 гг. до н. э.). Во время его царствования евреи завершили строительство Второго Храма (Книга Эзры: 4: 24; 5: 5; 6: 1 и т. д.).

Марк ЗАЙЧИК родился в 1947 году в Ленинграде. Репатрировался в 1973 году. Автор книг «Феномен» (1985), «Сделано в СССР» (1988), «Иерусалимские рассказы» (1996), «Новый сын» (1999), «Жизнь Бегина» (2001). Редактор еженедельного приложения «Окна» к газете «Вести». Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы рассказы **М. З.** «Долг Карабаса» и «Навык и память» (№ 2), заметки «Министр Перес и писатель Солженицын» и радио-интервью с Иосифом Бродским (№ 9).

Михаил ЗИВ родился в 1947 году в Ленинграде. Репатрировался в 1992 году. Стихи печатались в литературной периодике России, Израиля и Германии, а также в сборниках «Поэты Большого Тель-Авива» (1996) и «Левантийская корона» (1999). Работает водителем. Живет в Тель-Авиве.

В «ИЖ» опубликована подборка его стихов «Зарисовки на пленэре». (№ 4).

Рав Ицхак ЗИЛЬБЕР родился в Казани в 1917 году. Сын раввина, получивший «подпольно» традиционно еврейское воспитание, с детства учивший с отцом Тору, рав Ицхак приехал в Израиль, когда ему было уже за пятьдесят. За плечами остались нелегкое и необычное детство без обязательной для каждого советского ребенка учебы в школе, в отрочестве – работа в слесарной мастерской, в юности – рабфак и университет, потом работа учителем математики, война, несколько лет лагерей, и всегда – твердое противостояние внешнему нажиму и вера в поддержку Всевышнего.

Рав И. З.: «Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас».

Ольга Авия КАСЬЯНЕНКО родилась в Ленинграде в 1948 году. Воспитывалась и училась на правом берегу Невы. Художник 36 детских книг. Репатрировалась в 1990 году. Работы находятся в частных коллекциях Израиля, Японии и Китая. Рисует, преподает, иногда – экспонирует свою художественную графику. Живет в Иерусалиме.

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять лет провела «в отказе». В Иерусалиме живет с 1987 года, здесь окончила Еврейский Университет по специальности «Ивритская литература» и занимается исследованиями в этой области, преподает. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (Москва – Иерусалим, 1998).

Подготовила к публикации в «ИЖ» фрагмент из романа Фриды Каплан «Поколение пустыни» (№ 5). Здесь же статья З. К. «В новый край идешь ты...», в № 8 – статья «Из теснин» (о Шае Йосефе Агноне), а в № 9 – «Последний из Могикан» (о Гершоне Шофмане). В ее переводе опубликованы рассказы Иегуды Амихая, Биньямина Таммуза (№ 7) и Ш. Й. Агнона (№ 8).

Александр ЛАЙКО родился в 1938 году в Москве, где жил до 1990 года. Автор книг стихов «Анапские строфы» (Москва, 1993), «Московские жанры» (Мюнхен, 1999) и «Другой сезон» (Берлин, 2001). Стихи А. Л. включены в антологию «Самиздат века» (1997). Живет в Берлине. Редактор альманаха «Студия». В «ИЖ» опубликована подборки его стихов «На Brusendorfer музыка играет» (№ 2) и «На Фридрихштрассе веет сквознячок» (№ 9).

Юрий ЛЕВИНГ родился в 1975 году в Перми. Репатрировался в 1992 году. Докторант Еврейского Университета. Автор публикаций в израильских и американских журналах и научных сборниках, один из комментаторов Полного собрания сочинений В. Сирина. Редактор литературного отдела шестого тома серии «Еврейство русского зарубежья». Редактор (вместе с Ю. Завьяловым) университетского журнала «Наш Скопус».

Живет в Ащдоде. В настоящее время преподает в Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес).

В «ИЖ» № 2 опубликована его статья «Набоков, который рядом».

Сергей МОРЕЙНО родился в 1964 году. Переводит с немецкого, польского, латышского. Стихи, переводы, эссе печатались в рижских журналах «Родник» и «Даугава», в таллинском «Вышгороде», в «Дружбе народов», «Иностранной литературе», «Октябре», «Знамени», «Искусстве кино», «22».

Автор книг «Орден» (1999), «Клубназначенныхвстреч» (1999), «Зоомби» (2000) «Контрабанда», (2000). Живет в Москве и Риге.

НЕХЕМИЯ [в русской традиции – **Неемия**], сын Хахальи, персонаж (и автор?) библейской книги «Эзра и Нехемия». Виночерпий при дворе персидского царя Артаксеркса I в Сузах, **Н.** был по собственной просьбе назначен наместником Иудеи. В 445 году до н. э. прибыл в Иерусалим, где ему удалось побудить народ к восстановлению городской стены. В 432 г. до н. э. был вызван к царю в Сузы. Воспользовавшись его отсутствием, иерусалимская знать во главе с первосвященником попыталась ликвидировать реформы **Н.** в области гражданского и религиозного законодательства. Вернувшись, он восстановил все введенные запреты и предписания, и еще в течение нескольких лет продолжал оставаться персидским наместником в стране. В Иерусалиме имя Нехемии носит улица в Бухарском квартале

Владимир ХАЗАН родился в 1952 году в Минске. Репатриировался в 1992 году. Сотрудник Еврейского университета. Автор научных публикаций и книг, в том числе: «Тема смерти в лирических циклах русских поэтов XX века» (1988); «Ахматова, Мандельштам: набросок к диалогу» (1992). Составитель двухтомника Довида Кнута, (1997 – 1998). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 2 опубликовал со своими комментариями переписку Якова Рабиновича и Иссахара Йозля.

Владимир ХАНАН родился в 1945 году в Ереване. Жил в Ленинграде и Царском Селе. По образованию историк. Репатриировался в 1996 году. Печатался в России, Литве, Америке, Франции, Германии, Австрии, Югославии, Израиле. В 2001 году вышла книга стихов «Однодневный гость». Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 2 опубликована его рецензия на книгу Павла Лукаша.

Шуламит ШАЛИТ родилась в Литве. После окончания Литинститута им. Горького работала в периодических изданиях Москвы, Вильнюса, Риги, Еревана. Репатриировалась в 1980 году. Заведующая отделом библиографии Центральной библиотеки Рамат-Гана. Ведущая радиопрограммы РЭКА «Литературные страницы». Принимала большое участие в создании в Рамат-Гане Музея русского искусства им. Цейтлиных. Автор монографии «С одним я народом скорблю...» (Иерусалим, «Скопус», 1995). Статьи **Ш. Ш.** публиковались в сборниках «Евреи в культуре Русского Зарубежья» (составитель М. Пархомовский; Иерусалим, 1992–1996). Живет в Тель-Авиве.

Иосиф ТРУМПЕЛЬДОР (1880, Пятигорск – 1920, Тель-Хай), герой русско-японской войны, во время которой был тяжело ранен и потерял левую руку, однако отказался от демобилизации, возвратился на фронт и продолжал участвовать в сражениях; несмотря на еврейское происхождение, ему было присвоено офицерское звание; соратник Жаботинского, легендарный командир еврейской самообороны. В 1912 году прибыл в Эрец-Исраэль, работал в с.-х. поселениях Галилеи. В 1915 году вместе с британским полковником Д. Паттерсоном сформировал в Египте из изгнанных турками евреев «Сионский корпус погонщиков мулов», принимавший участие в военных действиях на Галлипольском полуострове. После расформирования корпуса, в 1917–1919 гг. участвовал в создании Всеобщей федерации еврейских солдат и еврейского полка в России. В 1919 вернулся в Эрец-Исраэль. Смертельно ранен во время перестрелки с арабскими боевиками возле поселения Тель-Хай.

В Иерусалиме в честь Трумпельдора названа улица в центре города «А-Гидэм» (в переводе с иврита – «Однорукий»). В имени популярнейшего иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» – аббревиатура названия созданной в 1923 году международной молодежной организации «*Брит Йосеф Трумпельдор*» [Союз им. Иосифа Трумпельдора].

ЭЗРА [в русской традиции – **Ездра**, «книжник, сведущий в законе Моисеевом»]. Священник из рода Аарона, главный персонаж библейской книги «Эзра и Нехемия». Согласно Талмуду, основоположник раввинистического иудаизма, ставший связующим звеном между пророками и *зугот* [т. н. «первыми мудрецами»]. Помимо авторства книги, носящей его имя, составил генеалогические списки, вошедшие в книгу «Хроники». Соратник Нехемии в борьбе за национально-религиозную консолидацию во времена возвращения евреев из вавилонского плена. Прибыл в Иерусалим из Вавилонии «на седьмой год правления Артахшасты» (Артахсеркса I), в 458 году до н. э., с поручением от персидского царя доставить в Храм «серебро и золото, которое царь и его советники пожертвовали Богу Израилеву... и добротные даяния от народа и священников», а также «поставить правителей и судей». Согласно Иосифу Флавию, Эзра похоронен в Иерусалиме. Здесь его именем названа улица в Бухарском квартале.

Наталия ЭТИНГОФ родилась в 1913 году в Тбилиси. В 1930 г. поступила на режиссерский факультет ГИТИСа, училась в аспирантуре у В. Г. Сахновского, работала режиссером в театрах Ярославля, Костромы, Риги. С 1993 г. живет в Иерусалиме. Мемуарные очерки печатались в журналах «Зеркало», «Новый журнал» (Нью-Йорк).

СОДЕРЖАНИЕ

СИОНСКИЕ ВОРОТА

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. Кофе под «Хронику дня». *Стихи*. 3

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

МАРК ЗАЙЧИК. В нашем регионе. *Повесть* 10

ИЛЬЯ БАЙБИКОВ. Обстоятельства образа действия. *Стихи* 51

АЛИСА ГРИНЬКО. Жизнь наша. *Рассказы* 54

ЮРИЙ ЛЕВИНГ. Солнцестояние, четверг. *Стихи* 83

ВЛАДИМИР ХАНАН. Три рассказа 89

ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. Обида и замешательство верующего еврея.
Размышления о странных рассказах Ш. Й. Агнона 101

Шай Йосеф АГНОН. Из «Книги Деяний». *Перевод З. Копельман* 109

ХРИСТИАНСКИЙ КВАРТАЛ

УЛДЫС БЕРЗЫНЬШ. Лето святых. *Стихи* 124

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

МИХАИЛ ЗИВ. Поселения. *Стихи* 128

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ОЛЬГА КАСЬЯНЕНКО. Из одного – в другое 137

ХОЛМ ПАМЯТИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР. «Получилось, что я стал рассказывать...»
(*мемуары, окончание*). 149

ШУЛАМИТ ШАЛИТ. Билет до станции «Забудь» 212

СЮР ГНОМ. Шел по городу волшебник 220

АЛЕКСАНДР ЛАЙКО. Илюша 228

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ЯКОВ ВЕЙНШАЛ. Воспоминания (*окончание*). 232

НОВЫЕ ВОРОТА

Дмитрий БАЙДАК и Валентина БРИО
о книгах Виктора ГОЛКОВА и Наталии ЭТИНГОФ 280

ШАТЕР КНИГИ

Издания 2000 – 2001 годов 283

ИМЕНА

Авторы и персонажи 285

**ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



**В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999-2001 гг. вышли книги:**

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Новая одноименная повесть, рассказы и монологи

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Новые стихи поэтессы и новые картины художника

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Поэзия, проза и драматургия

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА.

«Иерусалимские картинки»

Стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»

Новая книга стихов

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»

Избранные публикации для новых читателей. 1-я часть

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Новая книга стихов

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий»

Проза и стихи

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

27 израильских художников в специальном выпуске «ИЖ»

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЕВОЙ

Новая книга стихов Евгении ЗАВЕЛЬСКОЙ

Новая книга стихов Владимира ДРУКА

Новые повести и рассказы Григория КАНОВИЧА

Первая книга прозы Марины МЕЛАМЕД

Новая книга стихов Зинаиды ПАЛВАНОВОЙ

Новая книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ

Новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA - www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра АДОНИНА, Анатолия БАРАТЫНСКОГО, Лиоры БАРШТЕЙН, Николая БЕЗЗУБОВА, Лей ЗАРЕМБО, Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА, Бориса КАРАВАНОВА, Бориса КАРАФЕЛОВА, Бориса КИНКУЛЬКИНА, Вениамина КЛЕЦЕЛЯ, Григория КОЭЛЕТА, Эммануила ЛИПКИНДА, Ителлы МАСТБАУМ, Михаила МОРГЕНШТЕРНА, Бориса ЛЕКАРЯ, Зелия СМЕХОВА, Сергея ТЕРЯЕВА, Якова ФЕЛЬДМАНА, Давида ХАНАНА, Юлии ШУЛЬМАН, Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ, Михаила ЯХИЛЕВИЧА и других мастеров искусства.

**НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

**АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Лучшие стихи израильских ивритских поэтов, пишущих для детей,
в переводах Елены АКСЕЛЬРОД, Владимира ДАНЬКО,
Лорины ДЫМОВОЙ, Бориса КАМЯНОВА, Вадима ЛЕВИНА
и других поэтов

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя
Jerusalem Anthologia
по адресу:
**Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297
Jerusalem 91322**

**Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку**

«Иерусалимская Антология» благодарит
Клару и Владимира КРАСНОШТЕЙНОВ (Нью-Джерси),
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА (Иерусалим),
Виктора ЛУФЕРОВА (Москва), Якова ЛИВШИЦА (Иерусалим),
Григория КАНОВИЧА (Бат-Ям), Дмитрия СУХАРЕВА (Москва),
Ехиэля ФИШЗОНА (Нокдим), Игоря ЦЕСАРСКОГО (Чикаго),
Велвла ЧЕРНИНА (Кдумим), Клару ЭЛЬБЕРТ (Иерусалим)
за поддержку журнала.

**Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило),
банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo),
Bank Napoalim**

*Любые пожертвования
будут приняты с благодарностью*

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 10, 2002
ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/L

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Semion Grinberg, Svetlana Schoenbrunn (Editors of this Issue),
Yuly Kim, Zinaida Palvanova, Dinah Rubina, Roman Timenchik

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Assistants Editor and Correctors – **Margarita Shklovsky, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support – **Binah Smekhova, Olga Aksyutina, Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky, Victor Gopman, Gregory Gordin, Shaul Kotlarsky, Svetlana Moiber, Anton Mukhin, Ilan Riss, Boris Shtein, Linah Vilensky**

SCOPUS Publishing House

TSUR OT Printing House

With the support of Absorption Ministry; Culture Ministry; Center for the Absorption of Outstanding Immigrant Artists; Culture Department and Absorption Department of Jerusalem City Council; Jerusalem Russian Municipal Library

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2001. All rights reserved.

Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone/Fax: 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6432962; 972-2-5384914

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru
Liah Krentcel – 7-095-4318386

in Petersburg: **Olga Krupenye** – 7-812-312 5465

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; bolotin55@mail.ru

in New-York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com

in Chicago: **Alexander Blinsein** – 1-847-6761134; rmasis1@home.com
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@wanadoo.fr

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

In ISRAEL:

Lyuba Seryogina – *Afula*, 972-6-6492095

Olga Kravchenko – *Arad*, 972-7-9971014

Samuel Kushnirov – *Ariel*, 972-3-9365452

Leonid Sheinkman – *Herzliya*, 972-9-9502681

Vitaly Kabakov – *Kfar Saba*, 972-9-7673293

Michael Basin – *Khaifa*, 972-4-8213657

Michael Gil – *Lod*, 972-8-9201291

Mark Pavis – *Rekhovot*, 972-8-9353758

CONTENTS

ZION GATE

ELENA AXELROD. Coffee and Daily News. *Poems*

LION GATE

MARC ZAYCHIK. In Our Region. *Story*

ILIYA BAYBIKOV. Adverbial Modifier of Place. *Poems*

ALICE GRINKO. Our Life. *Short Stories*

YURI LEVING. Solstice, Thursday. *Poems*

VLADIMIR KHANAN. Three Short Stories

ZOYA KOPELMAN. Resentment and Dismay of
a Religious Jew. Reflections on Shai Agnon's "Strange" Stories

SHMUEL YOSEF AGNON. From "The Book of Deeds"
Translated by Z. Kopelman

CHRISTIAN QUARTER

ULDYS BERSYNOSH. The Summer of Saints. *Poems*

Translated by S. Moreino

JAFFA GATE

MICHAEL ZIV. Settlements. *Poems*

BETZALEL STREET

OLGA KASYANENKO. From One into Another

MEMORY HILL

Rabbi ITZCHAC ZILBER. "It's Happened That I Began Recollecting.

SHULAMIT SHALIT. "My Old Friend Came Back to Me..."

SYUR GNOM. A Wizard Was Strolling Through the City

ALEXANDER LAYKO. Ilyusha

ZHABOTINSKY STREET

JACOB WEINSCHAL. Memoirs

NEW GATE

Reviews by Dmitry BAYDAK and Valentina BRIO

of books by Victor GOLKOV and Natallya ETINHOFF

SHRINE OF THE BOOK

Publications of the Years 2000-2001

NAMES

Authors and Characters

תוכן העניינים :

שער ציון

ילנה אקסלרוד. קפה בליווי "חדשות היום" - שירים

שער האריות

מרק זייצייק. באזורנו - נובלה
אליה בייביקוב. נסיבות של צורת פעולה - שירים
אליסה גרינקו. חיינו - סיפורים
יורי לוויןג. מפנה השמש, יום ה' - שירים
וולדימיר חנן. שלושה סיפורים
זויה קופלמן. עלבוננו ומבוכתו של יהודי מאמין
הרהורים בסיפוריו המשונים של ש"י עגנון
ש"י עגנון. מתוך "ספר המעשים" - סיפורים
מעברית - זויה קופלמן

הרובע הנוצרי

אולדיס ברזינש. קיץ של קדושים - שירים

שער יפו

מיכאיל זיו. יישובים - שירים

רחוב בצלאל

אולגה קסיאננקו. מזה - לאחר.

הר הזכרון

הרב יצחק זילבר. יצא שהתחלתי לספר... " (זכרונות, סוף)
שולמית שליט. "שב אלי ידיד ותיק"
סיור גנום. "התהלך בעיר קוסס"
אלכסנדר לאיקו. איליושה

רחוב ז'בוטינסקי

יעקב ויינשאל. זיכרונות - סוף.

השער החדש

דמיטרי ביידק וולנטינה בריאו
על ספריהם של ויקטור גולקוב ונטליה אטינגוף

היכל הספר

פרסומי 2001-2000

שמות

יוצרים ודמויות

כתב-עת ירושלמי 10. 2002

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

**אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"**

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי), שמעון גרינברג, רומן טימנצ'יק, (עורך הגיליון)

יולי קים, זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, סבטלנה שנברון

מזכיר - לאוניד לוינזון

ציירת - סוסנה צ'רנוברובה

עריכה והגהה - מרגריטה שקלובסקיה, לובה ליבזון

תמיכה לוגיסטית וטכנית - בינה סמחובה, אולגה אקסיוטינה,

מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברוששטיין,

ויקטור גופמן, גרגורי גורדין, סבטלנה מויבר,

אנטון מוכין, שאול קוטלרסקי, אילן ריס, בוריס שטיין

הוצאה לאור: "סקופוס" הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



המרכז לקליטת אמנים עולים

משרד לקליטת העלייה,

משרד התרבות והספורט



עיריית ירושלים

אגף התרבות,

הרשות העירונית לקליטת עליה

והספרייה הרוסית העירונית בירושלים

© 2001 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 055-766722, 054-745322, 02-6720025, 02-5384914

E-mail: review@antho.net

